

- [Джеймс Оливер Кервуд](#)

- [От автора](#)
- [Глава 1](#)
- [Глава 2](#)
- [Глава 3](#)
- [Глава 4](#)
- [Глава 5](#)
- [Глава 6](#)
- [Глава 7](#)
- [Глава 8](#)
- [Глава 9](#)
- [Глава 10](#)
- [Глава 11](#)
- [Глава 12](#)
- [Глава 13](#)
- [Глава 14](#)
- [Глава 15](#)
- [Глава 16](#)
- [Глава 17](#)
- [Глава 18](#)
- [Глава 19](#)
- [Глава 20](#)
- [Глава 21](#)
- [Глава 22](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)

- [23](#)
  - [24](#)
  - [25](#)
  - [26](#)
  - [27](#)
  - [28](#)
  - [29](#)
  - [30](#)
  - [31](#)
  - [32](#)
-

**Джеймс Оливер Кервуд**  
**На равнинах Авраама**  
**(Трудные времена)**

Я уже высказывал свое глубокое убеждение в том, что романист — не историк, и его нельзя судить как такового, хотя страницы его книг могут отражать более истинную и подлинную историю народа и времени, чем любое историческое исследование. В историческом романе верность фактам часто заставляет писателя сгустить краски в некоторых эпизодах между романтической завязкой и ее разрешением, но случается и так, что развитие интриги допускает поэтические вольности, которые романисты унаследовали из времен древности и которые позволяют им гораздо глубже заглянуть в будущее, чем доводы холодного рассудка. В «Равнинах Авраама» я старался столь же неуклонно придерживаться истины, как и в моем первом историческом романе «Черный охотник». Возможно, мне доставляет гораздо большее удовлетворение, чем моим читателям, сознавать, что Мария-Антуанетта Тонтер и ее воинственный отец жили и любили именно так, как я рассказал об этом; что Катерина Булэн и ее доблестный сын были плоть от плоти, кровь от крови своего времени; что Тайога и Шиндас, Серебряная Тучка, Лесная Голубка и Мэри Даглен (Малиновка) — не порождение досужей фантазии и что «Равнины Авраама», так же как «Черный охотник», — роман о жизни, какой она была, а не какой могла бы быть. Понимая ограниченность своих возможностей, я сознаю, что мне лишь частично удалось вернуть к жизни тех мужчин и женщин, историю которых я почерпнул из материала, имевшегося в моем распоряжении.

Собирание этого материала стало одним из самых захватывающих приключений моей жизни. Неторопливое путешествие по выжженной земле невозвратного прошлого: чтение писем, написанных рукой тех, кто более ста пятидесяти лет назад сошел в могилу; грезы наяву над пожелтевшими манускриптами, начертанными священниками и мучениками; встречи со святыми сестрами монастыря урсулинок и благочестивыми монахами Квебека, ревниво берегущими сокровища пионеров Нового Света — своих единоверцев, и, наконец, снятие покрова, скрывающего любовь, ненависть, трагедии и счастье почти забытого периода нашей истории, отмеченного рождением американской и канадской нации, а также событиями, потрясшими два великих народа и сделавшими их тем, чем они являются в наши дни.

Хотя «На Равнинах Авраама» и «Черный охотник» по сюжету не связаны друг с другом, я считаю, что вместе они дадут более точные портреты выведенных в них мужчин и женщин, более полную картину описанного в них времени, чем взятые в отдельности. Данный роман начинается примерно тогда, когда заканчивается предшествующий: первый завершается эпизодами, следующими за битвой при озере Святого Георга, второй — на Равнинах Авраама. Анна Сен-Дени и Нэнси Лобиньер из «Черного охотника» играют определенную роль в судьбах Марии-Антуанетты Тонтер и Джимса Булэна из «Равнин Авраама». Так связаны во времени соответствующие эпизоды этих романов.

Все мы — я говорю о народе в целом — очень плохо знаем нашу историю. Самые человечные, живописные и драматические ее страницы погребены под горами писаний, признающими только великое и близкое к великому. Лучшее тому подтверждение можно найти в забытом всеми отчете одного из офицеров, который под командованием полковника Анри Буке принимал участие в набеге на Потаенный Город<sup>1</sup> индейцев, описанный в «Равнинах Авраама», в «освобождении» белых пленников и в переселении их в лагерь, куда мужчины и женщины из близлежащих провинций приходили искать своих пропавших близких. Этот замечательный документ был напечатан в разделе провинциальной переписки Пенсильванского Регистра в «1765 году и с тех пор пребывает в полном забвении, несмотря на то что проливает гораздо более яркий свет на индейский характер, чем все написанное по этому поводу.

Ниже приводится часть этого отчета.

«Сперва индейцы выдали только двадцать пленников, пообещав освободить и остальных. Полковник, не веря обещаниям, немедленно предпринял поход в самое сердце их земли, где получил от индейцев большое число пленников, в том числе детей, рожденных белыми женщинами, но эти малыши были настолько дикими, что их принесли в лагерь связанными по рукам и ногам, поскольку иначе их невозможно было вывести из вигвамов. Теперь было выдано двести человек, но мы предполагали, что оставалось, по меньшей мере, еще сто пленников, рассеянных по разным племенам.

Словами не описать радость, страх, разочарование, ужас, ожидание, подавленность — в каждом лице отражались самые противоречивые чувства. Сцена встречи не поддавалась описанию. Мужья находили жен, родители — детей, сестры — братьев. Брат обнимал нежную подругу своих детских игр — теперь мать детей-индейцев. Как отличалась одна от другой стихийно возникшие группы: одни, не понимая языка вновь обретенных близких, не могли высказать свои желания; другие отыскивали детей, которых считали давно умершими; некоторые, словно живые символы нерешительности, стояли в полном отчаянии. В последний раз обнимая своих бывших пленников, индейцы проливали потоки слез и в знак любви и привязанности отдавали им то немногое, что имели при себе. Они обратились с просьбой к Буке и получили разрешение сопровождать отряд до Питсбурга. Во время этого перехода индейцы охотились и отдавали оленину бывшим пленникам. Среди последних находилась девушка, уроженка Виргинии, покорившая сердце одного молодого минго. Едва ли кому доводилось видеть пример большей любви, преданности, постоянства. Молодому минго посоветовали остерегаться родственников своей возлюбленной. Он ответил: «Я буду жить под ее взором или умру в ее присутствии... Кто будет жарить оленину?.. Кто поблагодарит его за мягкий мех?.. Никто! Олень убежит... Мех никто не тронет... Минго не может больше охотиться». Полковник отпустил индейца со щедрым подарком. Каждый пленник с сожалением покидал индейцев. Индейские дети лили слезы и считали белых варварами. Ночью несколько женщин убежали, чтобы вернуться к своим друзьям-индейцам. Одну молодую женщину близкие несли связанной, опасаясь, что она тоже убежит. Не было ни единого случая, чтобы какую-нибудь женщину индейцы силой принудили выйти замуж, тем самым оскорбив ее чувства. Им предоставили свободу выбора, и если они предпочитали остаться одинокими, им никто в этом не препятствовал. Среди пленников находилась молодая женщина, чье положение вызвало всеобщий интерес. Судьба распорядилась так, что она попала к индейцам в совсем раннем возрасте. Она оказалась в племени, обитавшем очень далеко от поселений белых. С годами она утратила всякую надежду на возвращение домой. Ее приняли в семью индейского вождя. Хрупкость ее фигуры и нежность лица произвели сильное впечатление на одного молодого индейца племени. Он стал часто навещать ее и помогать по хозяйству. Сочувствием ее горю, старанием облегчить заботы и бесконечными знаками внимания он завоевал сердце девушки. Они поженились. Пошли дети. Они были счастливы — она жила любовью мужа и детей. Когда она услышала, что ее хотят вернуть родным, горе ее не знало границ. Она рассуждала так: «Жена индейца, мать детей-индейцев, могу ли я войти в дом моих родителей; будут ли мои родители добры ко мне, примут ли они с любовью моих детей, захотят ли мои бывшие друзья знаться с женой индейского вождя, не станут ли они избегать меня? А мой индейский муж, который был так добр ко мне, разве могу я покинуть его?» Нет, она не предаст его! И ночью вместе с мужем и детьми она бежала из лагеря. Когда об этом сообщили полковнику Буке, он приказал не посылать погони: ведь эта женщина будет более счастлива со своим индейским вождем, чем с родителями, которым ее хотели вернуть.

По возвращении из экспедиции полковник Буке без промедления получил чин и

содержание генерал-майора, главнокомандующего армией его величества на юге Америки».

Моя прабабушка была дочерью индейца из племени могавков, и я с вполне простительной гордостью и удовлетворением предлагаю читателям скромную иллюстрацию благородной стороны индейского характера, который за протекшие века подавили эгоизм и предубеждение белого человека.

Индеец был самым любящим сыном, самым преданным другом, самым верным патриотом своей страны.

Ограбленный, поработанный, униженный, он умер дикарем.

Оуссо, Мичиган

20 ноября 1926 года Джеймс Оливер Кервуд

# Глава 1

Солнечным майским днем 1749 года собака, мальчик, мужчина и женщина миновали редкую дубовую рощицу Тонтер-Хилл и гуськом двинулись в сторону девственного леса к западу от реки Ришелье и озера Шамплен. Первой трусила собака, за ней следовал мальчик, за ним — мужчина; женщина шла последней.

— Все не как у людей, — проворчал Тонтер, наблюдая за ними. — Только глупец может ходить так по бескрайней стране, которая кишмя кишит дикарями. Мужчина должен шагать во главе своих близких, зорко глядя по сторонам и держа ружье наготове, женщине следовало бы идти за ним и тоже быть начеку, ну а мальчику и собаке место в конце колонны, если их вообще берут в такое путешествие, — тем более что вечер уже не за горами.

Тонтер, одноногий воин-помещик, — это с его мельницы, расположенной в долине, возвращались четверо путников, — провожал женщину оценивающим взглядом, в котором светилось затаенное вождение. Станный человек Анри Булэн, думал Тонтер. Пожалуй, он немного не в своем уме, а может, просто дурень. Однако это не помешало ему стать счастливым супругом Катерины, женщины с обворожительным лицом, прекрасной фигурой и чистым, непорочным сердцем. Джимсу повезло, что у него такая мать. Даже собаке чертовски повезло. К тому же индейской собаке — никчемному подлизе. Чтобы какое-то лишенное души четвероногое получало пищу из ее рук, чувствовало на себе ее ласку, видело ее улыбку, — а Тонтер не раз видел, как она улыбается!

Пока Тонтер смотрел, как они пересекают принадлежащие ему пойменные луга и приближаются к лесу, его деревянная нога на несколько дюймов ушла в мягкую землю. Король оказал ему немалую честь, сделав первым в длинном ряду воинственных баронов, поселившихся на берегах Ришелье, чтобы сдерживать натиск англичан и их краснокожих союзников. Он был главным хранителем водного пути к самому сердцу Новой Франции. Нагрять сюда англичане со своими дьявольскими приспешниками — могавками и сенеками, — им прежде всего пришлось бы сразиться с ним. Ни один генерал не мог бы удостоиться большей чести. Почет. Богатство. Неограниченная власть над обширными владениями. И все же... Он завидовал Анри Булэну.

День шел на убыль. Майские тени росли и вытягивались к востоку. Солнце еще струило свои лучи, заливая все вокруг мягким золотистым сиянием; оно уже не жгло, не слепило, но, подобно играющему морю, волнами теплого воздуха и арабесками танцующих испарений окутывало землю, спокойно дышавшую миром и радостью. Так было с самого утра. Так было все последние дни. Прошли теплые дожди, и из земли показались зеленые побеги. Две недели назад, в четверг, прогремел первый гром; с тех пор бывали ветры, небо иногда заволакивали темные тучи — но лишь по ночам. С каждым рассветом вновь пригревало солнце, вили гнезда и пели птицы, распускались цветы, все ярче зеленел неподвижный лес.

В царившей вокруг тишине явственно слышалось мирное жужжание пчел; оно сливалось со звонкой симфонией бегущей воды, в бесчисленных ручейках и потоках стремящей свой путь к пойменным лугам Ришелье. Все замерло в полном безветрии — не колыхнется лист, не дрогнет ветка, — но кажется, все вокруг дышит жизнью: на вершине холма и в долине правят бал духи цветения и роста, песнь цветов, буйство благоуханий, почти неуловимые человеческим ухом, неразличимые глазом.

Птицы в этот час поют тихо. Утро слышало их звонкую песнь — гордый, бесстрашный вызов пернатых менестрелей духам тьмы. Но когда подкрадываются сумерки, гаснет» солнце и постепенно опускается вечер, в смиренных голосах сладкозвучных певуний звучат ноты благодарности и молитвенного благоговения. Из зарослей доносятся серебристые трели дрозда;

их подхватывает малиновка, и голоса птиц сливаются в сдержанной мелодии возвышенного гимна. Под ногами хрустят цветы, устилающие землю белыми, розовыми и голубыми коврами. Цветы, птицы, покой, мир, залитый лучами закатного солнца, синева улыбающегося неба над вершинами деревьев и... собака, мальчик, мужчина и женщина, которые держат путь на запад.

Тонтер завидовал троим из них, даже собаке.

«Кличка у пса вполне подходящая, — подумал Тонтер, — ведь это и впрямь инвалид, а не собака». Пес был куда больший инвалид, чем сам надменный барон с обрубок вместо ноги и грудью, изукрашенной ударами шпаги, которые человека обыкновенного наверняка свели бы — в могилу. Пес был крупный, костистый и поджарый; мышцы лишь кое-где покрывали его острые ребра, что объяснялось природными особенностями, а не плохой кормежкой. Характер у него был ласковый и дружелюбный настолько, что не полюбить его при первом же знакомстве было просто невозможно. Лапы у него были громадные, морда длинная и тощая, уши носили следы бесчисленных сражений с собратьями. От хвоста осталась половина, точнее, обрубок, которым можно было вилять. Ходил он сильно хромя, от этого все его длинное тело неуклюже подергивалось. У Тонтера не было ноги, а у пса передняя левая лапа была заметно короче. Этого жизнерадостного калеку, простодушного и милого, Катерина однажды, словно озаренная внезапным вдохновением, назвала Лихим Воякой.

Итак, Тонтер был почти прав, считая собаку инвалидом, но в своем другом предположении он ошибался. Душа у собаки была, и принадлежала она мальчику, ее хозяину. На этой душе был огромный шрам, оставленный голодом и жестоким обращением в индейском лагере. Там четыре года назад собаку увидел Анри Булэн и из жалости забрал умирающее животное с собой, чтобы подарить Джимсу. Ружейные приклады и пинки оставили незаживающую рану, которая превратила пса в неутомимого, вечно настороженного охотника за лесными запахами и звуками.

Он всегда был начеку, даже тогда, когда день полнился пением птиц и ласковым шелестом ветра в траве и листьях. Вот и сейчас, ковыляя во главе колонны, он зорко смотрел вперед, словно не доверяя царящим кругом тишине и покою. Время от времени он оборачивался и поднимал глаза на хозяина. Лицо мальчика было озабочено, глаза печальны; и собака, наконец догадавшись о его чувствах, вопросительно заскулила.

При крещении мальчику дали имя Даньел Джеймс Булэн, но мать всегда звала его Джимс. Ему было двенадцать лет, и весил он на двадцать фунтов больше, чем его пес.

Лихой Вояка, которого для краткости звали просто Воякой, тянул на шестьдесят фунтов, если верить весам на мукомольне Тонтера. Даже в толпе бросилось бы в глаза, что мальчик и собака принадлежат друг другу, — ведь если Вояка был изрядно потрепан, то и у мальчика был довольно воинственный вид.

— Да он нарядился, словно дерзкий, нахальный пират, который собирается похитить мою малышку и потребовать за нее выкуп! — крикнул сверху Тонтер, и отец Даньела рассмеялся вместе с бароном. И потом — что еще хуже — Тонтер медленно поворачивал его в разные стороны, будто прикидывая, чего он стоит; очаровательная маленькая Мария-Антуанетта смотрела на них, надменно вздернув свой изящный носик, а Поль Таш, ее гадкий кузен из большого города Квебека, стоял у нее за спиной и строил ему рожи. А ведь он так готовился к встрече с Марией-Антуанеттой, так старался не ударить в грязь лицом, если попадетс ей на глаза! Это была настоящая трагедия. Утром, когда они собирались на мельницу Тонтера, Джимс надел новую куртку из оленьей кожи, взял свое ружье, которое было на два дюйма длиннее его самого, и заткнул нож за пояс. Кроме того, у пояса покачивался рог с порохом, а за спиной висели самые драгоценные сокровища — ясеневый лук и колчан со стрелами. Несмотря на теплый день, его голову покрывала енотовая шапка с длинным фазаньим пером, поскольку она



выглядела гораздо лучше, чем легкая полосатая. Вояка гордился воинственным видом хозяина и никак не мог понять, отчего мальчик вдруг так изменился и возвращается домой с на редкость серьезным и унылым лицом.

Анри Булэну не терпелось описать жене недавнюю сценку, тем более что сын отошел достаточно далеко и не мог слышать его слов. Но Анри всегда и во всем видел прежде всего либо положительную, либо смешную сторону. Потому-то Катерина и вышла за него замуж — хотя были, конечно, и другие причины, — и сейчас любила его еще сильнее, чем пятнадцать лет назад, когда Джимс еще не появился на свет. Потому-то и девственный лес с деревьями, цветами и притаившимися на каждом шагу опасностями любил Анри Булэна. Но было тому и еще одно объяснение: он сам любил жизнь — любил жадно, безоглядно, с той простодушной доверчивостью, из-за которой Луи-Эдмон Тонтер, суровый хозяин обширных поместий, почитал его глупцом и предсказывал, что однажды его скальп вместе со скальпом его жены и сына украсит вигвам какого-нибудь дикаря.

Идя следом за собакой, мальчиком и мужчиной, Катерина Булэн созерцала свой маленький мир радостно, гордо и без тени страха. Она была глубоко убеждена, что ни один мальчик не сравнится с ее сыном и ни один мужчина — с ее мужем. Готовность бросить вызов любому, кто усомнится в этом, всегда горела в ее темных глазах, сиявших огнем любви и преданности. Увидав ее в этот момент, всякий непременно заметил бы и даже почувствовал, что она счастлива. Как Тонтер наедине с собой, втайне ото всех раздувал огонь своей страсти, так и Катерина, зная, что ее мужчины не видят, какие чувства отражаются на ее лице, со счастливой улыбкой и бьющимся сердцем смотрела на тех, кто был ей дороже всего. Желание сохранить в душе укромный уголок, скрытый даже от самых близких людей, и, словно святыню, беречь в нем частицу счастья объяснялось тем, что она была англичанкой, а не француженкой. Свое английское имя Даньел Джеймс унаследовал от деда — школьного учителя в Новой Англии, а в последние годы жизни агента квакеров в Пенсильвании. На границе этой далекой провинции Анри Булэн нашел Катерину и женился на ней за два года до смерти ее отца<sup>2</sup>.

«И все эти пятнадцать лет ты молодеешь с каждым днем и с каждым часом становишься все прекрасней, — часто говорил он ей. — Представляешь, какой будет ужас, когда я состарюсь и согнусь в три погребели, а ты останешься такой же девочкой, как и была».

Катерина действительно не выглядела на свои тридцать пять лет. Неувядающую прелесть ее облику придавали девически-нежное лицо и лучезарные глаза, особенно обращавшие на себя внимание в тот день, когда вместе с сыном и мужем она возвращалась с берега Ришелье. От перехода через Тонтер-Хилл щеки ее покраснелись, блестящие волосы сверкали на солнце, и глазам Анри представала поистине чарующая картина, когда он время от времени оглядывался назад, перекидывая с плеча на плечо тяжелый мешок с мукой.

Возможно, Тонтер даже лучше, чем Анри, понимал, что обожание, с которым Катерина относилась не только к мужу и сыну, но и ко всему, связанному с ними, вплоть до неудобств и тягот уединенной жизни на лоне девственной природы, основывалось на чем-то большем, нежели сознание долга жены и матери. Культура, тяга к знаниям, широта взглядов и мысли, привитые любящей матерью и развитые и закрепленные отцом-учителем, выработали в ней незыблемые принципы — бесценное мерило человеческого счастья. Иногда она немного тосковала по тому, что выходило за ею же установленные границы этого счастья, — мечтала о златотканой парче, о розовом шелке и голубом бархате, белом муаре и воздушных валансьенских кружевах. И тогда в жилище Анри появлялись легкомысленные капоры с розовыми и лиловыми лентами, тонкие, как паутина, кружевные шали и множество незатейливых, но прелестных вещиц, сделанных искусными руками Катерины. Она умела мастерить рюши и жабо, вязать кружевные косынки ничуть не хуже тех, что носила мадам

Тонтер, хоть они и не стоили такой уймы денег, и сегодня ее платье из узорчатого муслина, отделанное голубыми бантами, и темно-красный плащ с капюшоном придавали ей в глазах Тонтера такое очарование, что сердце в его покрытой шрамами груди билось с юношеской страстью и пылкостью. Поразительное, чисто женское умение Катерины творить чудеса красоты и совершенства из самых простых и недорогих материалов, не говоря уже о ее принадлежности к «презренному английскому отродью», заставляли мадам Тонтер смотреть на молодую женщину с антипатией и неприязнью.

Тонтер знал об этом и в глубине своего честного сердца проклинал женщину, связанную с ним брачными узами, проклинал ее холодное аристократическое лицо, ее пудренные волосы, ее драгоценности и наряды, ее платоническое неведение истинной любви; и одновременно благодарил бога за то, что маленькая Мария-Антуанетта с каждым днем, пролетающим над ее головкой, все разительнее отличается от матери. Мария-Антуанетта — несомненно, истинная аристократка — была горяча и порывиста, как отец, но ее мягкий и добрый нрав сглаживал этот недостаток, за что Тонтер тоже благодарил судьбу, которая так подвела его с женой.

Идя за мужем и сыном, Катерина думала о Тонтере и о его жене — надменной аристократке Анриетте. Она давно знала о ненависти мадам Тонтер, однако второе открытие сделала только сегодня, поскольку, несмотря на героические усилия, Тонтер выдал себя. Она поймала его взгляд и, словно туманные очертания истаивающего в воздухе призрака, прочла тайну Тонтера в его глазах. По дороге она многое вспомнила, многое взвесила, и, наконец, тонкая женская интуиция открыла ей мысли Тонтера. Но она не испугалась, не усомнилась в его честности и порядочности. Напротив, она еще острее почувствовала всю глубину своего счастья и поняла, за что именно следует вознести ей благодарственную молитву. Мужчина, который шел в нескольких шагах от нее, неся стофунтовый мешок с мукой, напевал французскую мелодию, и она видела, что он француз, француз до мозга костей. Катерина любила французский дух еще больше, чем английский, который был ей родным. Как она стала француженкой, так и Анри всем сердцем стал англичанином. Он не уставал клясться, что не променяет и каплю крови Катерины на все луга и леса своей любимой Новой Франции.

А Катерина, хоть она и свято хранила в памяти все, связанное с ее предками, занималась с мальчиком и на французском, и на английском языках, пела английские песни, берегла английские книги, любила Новую Францию, как никогда не любила свой суровый дом в Новой Англии, любила ее сердечный, улыбчивый народ с той теплотой и преданностью, пробудить которые способно рождение, но не привычка.

И тем не менее мадам Тонтер ненавидела жену Анри Булэна. Не веря доброй молве о Катерине, она ненавидела ее прежде всего потому, что считала смертельным врагом своей нации, ненавидела за то, что та осмеливалась ходить с гордо поднятой головой, словно баронесса, наконец, за то, что у жены какого-то ничтожного фермера хватало дерзости быть самой красивой женщиной во владениях Тонтеров.

Более того, насколько это было в ее власти, мадам Тонтер разжигала такую же ненависть в сердце и мыслях своей гордой дочери Марии-Антуанетты и настолько преуспела в этом, что даже ее супруг, обычно не замечавший кошачьего женского коварства, стал задумываться, отчего это его обожаемая дочь проявляет столь явную враждебность к Джимсу.

## Глава 2

О том же думал и Джимс, шагая впереди родителей. Картины бурной схватки проносились в его голове. Мысленно и чуть ли не физически он переживал разнообразные перипетии кровавой битвы. За время утомительного перехода через Тонтер-Хилл он уже раз шесть одерживал победу над задыхающимся и выбившимся из сил Полем Ташем, и в минуты его триумфов Мария-Антуанетта с изумлением и ужасом смотрела, с какой яростью он атакует ее красавчика кузена из большого города Квебека<sup>3</sup>.

Но даже в угаре воображаемых побед сердце Джимса грызла тоска, тень которой и заметил Вояка, заглянув в глаза хозяина. С тех пор как Джимс увидел Марию-Антуанетту — тогда ей было семь, а ему девять лет, — он постоянно думал о ней и неделями и месяцами ждал, когда отец, отправляясь в Тонтер-Манор, возьмет его с собой. Когда выдавались такие дни, он с детским обожанием следил за каждым движением маленькой принцессы, дарил ей цветы, перья, орехи, кленовый сахар и другие диковинные сокровища, собранные им в лесу. Но никакие знаки благоговения так и не помогли Джимсу перекинуть мост через пропасть, разверстую между ним и дочерью владельца поместья.

Равнодушие Марии-Антуанетты причиняло мальчику боль, но он продолжал думать о ней, поскольку на многие и многие мили вокруг не было ни одного ровесника, который помог бы Джимсу забыть ее.

Однако с прошлой осени, после приезда в поместье сестры мадам Тонтер и ее сына Поля, над мечтами Джимса стали сгущаться все более и более темные тучи, пока, наконец, в прошлый четверг их окончательно не вытеснили картины будущего мщениа молодому человеку, который насмеялся над ним, унизил его и, забыв об элементарном приличии и такте, купался в лучах благоволения Марии-Антуанетты.

Хотя надежды Джимса на дружбу с Туанеттой в значительной степени пошатнулись, теперь у него появился повод обвинить в своей неудаче богатого, высокомерного юнца с презрительно-самодовольными замашками, кичившегося зелеными и розовыми бархатными костюмами, кружевными манжетами, шитыми золотом воротниками и шпагой с серебряным эфесом. Вражда Джимса к племяннику мадам Тонтер родилась не на пустом месте: Поль Таш, сын офицера квебекского гарнизона, замешанного во все интриги интенданта, окончательно разбил его и без того слабые надежды произвести впечатление на дочь владетельного сеньора. С приездом Поля, который был на два года старше и на голову выше Джимса и щеголял манерами, каким обучают в Квебеке молодых джентльменов, Туанетта стала выказывать своему соседу еще большее пренебрежение, чем прежде. Не далее как сегодня она даже не попыталась скрыть удовольствие, когда Поль с ехидной усмешкой на смуглой физиономии спросил: «Ты, наверное, очень устал, малыш, пока пешком добирался сюда из своего леса? Неужели твоя матушка позволяет тебе заряжать это длинное ружье порохом и пулями?» Джимс застыл на месте — кровь бросилась ему в лицо, язык словно одеревенел, сердце едва билось; а тем временем Поль, надутый как индюк, смерив его презрительным взглядом, удалялся, уводя Туанетту. Вся эта сцена теперь ожила перед глазами Джимса, доставляя ему невыразимые мучения. Самое ужасное было то, что он не сумел ничего ответить или предпринять, а как последний дурак проглотил оскорбление, словно воды в рот набрав. Джимс понимал, что потерпел полное фиаско, и оттого на душе у него скребли кошки.

Джимс очень обрадовался, когда родители устроились отдохнуть на огромном камне, невдалеке от того места, где начинается тропа. Теперь у него появилась возможность продолжить путь одному и без помех, в свое удовольствие, отвалтузить кузена Туанетты, не

смущаясь близостью тех, кто шел за ним по пятам. Но к тому времени, когда Вояка подвел хозяина к кромке высокого плато, густо поросшего развесистыми каштанами и сочной травой, его жажда мщения поостыла.

Вдруг Вояка остановился и прижался костлявым боком к коленям Джимса. На несколько мгновений пес застыл в стойке, затем с таким видом опустил лапу на землю, что его хозяин задрожал от нетерпения. Собака и мальчик стояли на краю усыпанной цветами и окруженной каштанами лужайки, которую Катерина утром назвала танцевальным залом лесных фей. Словно ограда, воздвигнутая самими феями, чтобы скрыть от любопытных глаз их веселые забавы, лужайку окружало кольцо густого орешника. Площадку для игр лесных обитателей заливало солнце, и Джимс твердо знал, что в ее дальнем конце, ярдах в ста от него, за густыми кустами происходит что-то интересное.

Он бросился на землю и притаился за гнилым стволом огромного дерева, поваленного ветром лет сто назад. Вояка подполз к хозяину и положил морду на ствол. Минута проходила за минутой, но ни собака, ни мальчик не проявляли нетерпения. Они лежали так тихо и неподвижно, что любопытная рыжая белка внимательно обследовала их и чуть было не устроилась отдыхать на ружье Джимса. Над землей поднимались хрупкие стебельки фиалок и анемонов, но Джимс не обращал внимания на примятое его коленями белое, розовое и голубое многоцветье. Он не сводил глаз с дальнего конца лужайки.

Еще минута шуршащей неподвижности, и на солнце важно выступил великолепный индюк. Весил он, как показалось Джимсу, не меньше двадцати фунтов. У индюка была кроваво-красная голова, грудь отливала золотом и перламутром, пышное оперение свисало до самой земли. То была гордая, совершенная птица, презирующая все и вся в своих зеленых владениях. Индюк захлопал крыльями и в знак полного довольства собой принялся с напыщенным видом расхаживать кругами, кудахча и покрякивая. Джимс снова подумал о Поле Таше — индюк очень напоминал мальчика из Квебека: тот тоже вечно выставлял напоказ свои костюмы и строил из себя взрослого мужчину.

Но вот Джимс затаил дыхание: стройная коричневая птица вышла из кустов и присоединилась к своему красноголовому повелителю. Тут же послышалось трепетание бархатных крыльев, и через несколько мгновений к паре, разгуливающей по лужайке, подлетели еще шесть индюшек. Индюк заважничал пуще прежнего и так распушился, что стал вдвое больше обычного. Джимсу вдруг показалось, что дамы-индейки толпятся вокруг него, будто некие Марии-Антуанетты, привлеченные пышным нарядом и умением пустить пыль в глаза. От этого зрелища Джимс еще больше возненавидел Поля Таша, и его осенила блестящая мысль: в качестве первого акта мести сопернику убить франта-индюка.

Джимс медленно убрал ружье и натянул тетиву лука. Он подождал, пока большая птица остановилась ярдах в восьмидесяти. Дюйм за дюймом он выпрямлялся на коленях, и с каждым его движением Вояка все заметнее собирался для прыжка. Когда, выбрав цель, лук застыл на месте, из горла собаки вырвалось хрипение. Стальным камертоном запела струна, и через поляну метнулась сероватая молния. Послышался глухой хлопок; все на поляне пришло в смятение, высоко в воздух взвился яркий ком, бешено забились крылья, и семь теней бросились искать спасения в кустах. Поля Таш, поверженный индюк, умирал, а семь его поклонниц — Марии-Антуанетты — в считанные секунды исчезли, словно их и не было.

И вот Джимс и Вояка стоят над индюком: глаза мальчика снова сияют, лицо покраснелось от радостного возбуждения — ведь он не только добыл прекрасный обед на завтра, но и нанес первый, хоть и воображаемый, удар противнику.

На одном из участков древнего индейского пути, пролежавшего через Тонтер-Хилл, узкая тропа, протоптанная бесчисленными поколениями канавагов, алгонкинов и оттавов, бежала

вдоль крутого склона над живописной долиной. Эта долина на многие и многие мили уходила на запад и была богата бескрайними лесами, прозрачными озерами, мирно дремлющей землей, исполненной тайны и несказанной прелести, землей, над которой лишь изредка вился дымок от индейского костра. Долине этой повезло во многих отношениях. Она раскинулась достаточно далеко от Ришелье — и потому избежала участи быть оскверненной топором белого человека — и слишком близко к длинным вигвамам могавков, чтобы остальные краснокожие могли не опасаться своих врагов с верховий Святого Лаврентия. К тому же она слишком близко подходила к владениям французов и их союзников, чтобы шесть союзных племен позволили себе вторгаться в ее пределы с намерениями более серьезными, чем отдельные охотничьи вылазки. Итак, уже многие годы в долине царили мир и спокойствие. Однако, должно быть, за протекшие века на нее устремлялись взгляды многочисленных зрителей, поскольку каменистый откос холма со стороны долины был буквально отполирован теми, кто отдыхал здесь, всматриваясь в ее заповедную даль, манящую соблазнами счастливой, привольной жизни.

С места, где стояли Катерина и Анри, раскинувшаяся внизу долина казалась огромным восточным ковром, вытканым зелеными, золотыми, черными и серебряными узорами: зелеными — где тянулась к небу первая трава и молодой листвой сквозили рощи, золотыми — где солнце высекало из крон тополей и берез снопы желтого света, черными — где хвойные деревья росли особенно густо и, тесня друг друга, образовывали сумрачные островки, серебряными — где холодным блеском царственного алмаза светились спокойные воды трех небольших озер. Катерина и Анри сидели на камне, и из долины до них доносилась едва уловимая изысканная и убаюкивающе-монотонная мелодия; она завораживала душу, успокаивала сердце и, поднимаясь вверх, смешивалась со сладким воздухом, напоенным нежным ароматом цветов и тихим дыханием земли. Лишь на рассвете да в час, когда солнце повисает над лесами на западе, готовясь нырнуть в их зеленую бездну, поднимается из долины этот звук — песнь тысяч и тысяч белок. Должно быть, испокон веков звучит она здесь: ведь недаром в самых древних индейских преданиях камень, на котором сидели Катерина и Анри, уже назывался Беличьей Скалой.

Любуясь этой мирной картиной, Анри рассказывал про случай с Джимсом. Сцена, свидетелем которой он стал, казалась ему довольно забавной, и он все еще посмеивался, когда вдруг заметил, что лицо Катерины затуманилось, взгляд стал серьезным.

— С некоторых пор я догадываюсь об этом. — В голосе ее не было и намек на веселье. — Мадам Тонтер ненавидит меня и учит Гуанетту ненавидеть Джимса.

— Что ты говоришь? — воскликнул муж. — Мадам Тонтер ненавидит тебя! Какая нелепость! В целом свете не любить...

— Именно меня. И ты, мой бедный Анри, со своей глупой уверенностью, будто все вокруг любят нас, ни о чем не догадываешься. Она так ненавидит меня, что с радостью отравила бы, но, не имея такой возможности, настраивает маленькую Гуанетту против Джимса.

— И сегодня ты навестила ее!

— Да. Ведь я женщина.

— Не может быть, чтобы она ненавидела тебя!

— Сильнее, чем ненавидят клопов, змей и отраву.

— Но... Тонтер? Говорю тебе, это невозможно! Он относится к тебе совсем иначе.

— Да, я в этом уверена.

— Если Тонтер расположен к нам, отчего его жене не любить тебя?

— Во-первых, я англичанка. Не забывай об этом. Хотя я и полюбила твою страну не меньше своей, я не перестала быть англичанкой, а Джимс — наполовину англичанином. Наши соотечественники — враги твоей страны. Но есть и другая причина.

— Другая?

— Да. Она ненавидит меня, потому что ее муж считает возможным ласково поглядывать на меня, — ответила Катерина.

Она хотела продолжить, но услышала радостный смех, который так любила, и через мгновение Анри сжимал ее в крепких объятиях. Затем с напускной резкостью он отстранил ее от себя и показал вниз, на долину.

— Пока у нас есть все это, какое нам дело до мадам Тонтер? — воскликнул он. — И пускай они дерутся, пусть женщины вроде жены Тонтера ссорятся и ненавидят друг друга, коли им так нравится. Пока ты счастлива на той земле, что мы видим перед собой, я не променяю своего дома на все королевства мира.

— И я не променяю, пока у меня есть ты и Джимс, — подхватила Катерина и, когда Анри снова взялся за мешок с мукой, добавила: — Но я думаю не о нас с тобой. Я думаю о Джимсе.

Они медленно шли по тропе.

— Раздражение мадам Тонтер казалось мне забавным, а порой, как, например, сегодня, даже развлекало меня, — продолжала Катерина, в то время как ее муж погрузился в глубокую задумчивость. — Кроме тебя и Джимса, мне никто не нужен для счастья, поэтому враждебность мадам Тонтер не особенно волнует меня. Мне даже нравится дразнить ее, что, конечно, не делает мне чести. Сегодня я распустила косы, притворившись, будто у меня болит голова, а на самом деле — чтобы показать ей, какие у меня густые и длинные волосы. У нее-то волосы довольно жидкие, хоть она и ненамного старше меня. Слышал бы ты, как она фыркнула, когда ее сестра из Квебека похвалила мои и сказала, что помадить или пудрить их было бы преступлением. Возможно, я поступаю дурно, Анри, но я не могу удержаться. Во всяком случае, она не зря старалась. Я так хотела подружиться с ней, но, когда у меня иссякла последняя надежда, мне, право, все это стало казаться просто смешным: ведь кто, как не ты, учил меня видеть смешное в самых неприятных вещах. Но Джимс и Туанетта — совсем другое дело. Мальчик давно мечтает о ней. В воображении он сделал ее товарищем своих приключений и игр.

Анри посмотрел на Катерину.

— Теперь я знаю... я понял, что глупо было смеяться над ним там, внизу. Но Тонтер тоже смеялся. Не думаю, чтобы такой малыш принял мой смех близко к сердцу.

— Ребенок — как женщина, — возразила ему жена. — И тем, и другим причинить боль гораздо легче, чем думают мужчины.

— Я догоню Джимса и попрошу у него прощения, — сказал Анри.

— Ни в коем случае.

— Но если я поступил неправильно...

— На сей раз тебе придется пережить это, — решила за мужа Катерина и, заметив, что он благоразумно ждет объяснения, продолжала: — Анри, я знаю: Луи Тонтер — хороший, благородный человек, и в душе очень одинокий, хоть он и обожает Туанетту. Его жену, при всей ее голубой крови и высокомерии, просто невозможно любить. Его нельзя не пожалеть, и я хочу предложить ему почаще приезжать к нам и брать с собой Туанетту.

— Ты думаешь, он приедет?

— Уверена, что приедет, — ответила жена. — Он приедет, и если я попрошу его, то, конечно, привезет и Туанетту.

Анри рассмеялся от удовольствия.

— Тонтер мне нравится, — сказал он.

— Этот человек создан, чтобы его любили, — согласилась Катерина.

— Но Туанетта... — Анри перекинул мешок на другое плечо. — Если мадам Тонтер скажет

«нет», что тогда?

— Мсье Тонтер все равно привезет ее, — ответила Катерина. — Если я скажу, что это доставит мне удовольствие, — добавила она, с улыбкой посмотрев на мужа.

— О да! — уверенно воскликнул Анри. — Он обязательно привезет Туанетту, если ты еще и посмотришь на него так, как сейчас посмотрела на меня, *mon ange*<sup>4</sup>. Но если он поедет к нам, мадам Тонтер это окажется не по вкусу, а он снова посмеет послушаться ее...

— Возможно, в таком случае она соблаговолит посетить нас вместе с ним, — улыбнулась Катерина. — И уж тогда, Анри, мадам Тонтер полюбит меня пуще прежнего.

Тут Катерина дотронулась до локтя мужа — они подошли к лесной поляне и увидели невдалеке Джимса и Вояку, стоящих над убитым индюком.

Когда родители подошли ближе, гордая радость свершения охватила мальчика; Вояка, словно ощерившийся горгойл<sup>5</sup> о четырех лапах, стоял рядом с хозяином, весело помахая обрубком хвоста. Это был триумф. Глаза мальчика зажглись ликованием, когда он увидел интерес матери и то, с каким неподдельным изумлением отец, сбросив мешок на землю, воззрился на великолепного индюка, пронзенного украшенной перьями стрелой. Катерина внимательно разглядывала своего мальчика, а отец и сын, в охотничьем азарте забыв о ее присутствии, впились глазами в богатую добычу. Глаза Катерины тоже сияли, и Анри, угадав чувства жены, нежно положил широкую ладонь на острое плечо сына. Да, Джимс всем был в мать, кроме белокурых волос и серых глаз; этим он напоминал ее брата, беспутного, непоседливого, драчливого и удивительно симпатичного бродягу Хепсибу Адамса. Анри был счастлив увидеть, с какой гордостью жена смотрит на Джимса, и воздал горячую хвалу его подвигу.

— Каков выстрел! — воскликнул он, наклоняясь, чтобы получше рассмотреть птицу и стрелу. — Прямо навывлет от крыла до крыла. Совсем как пулей. Вошла до самых перьев! Я бы поклялся, что у тебя не хватит сил, малыш! Говоришь, что стрелял с опушки? Просто не верится! Такой выстрел под силу Капитанской Трубке, Белым Глазам или Большому Коту, но никак не тебе!

Упомянутые Анри имена принадлежали трем индейцам из племени канавага, друзьям Булэнов, которые научили Джимса стрелять из лука. Капитанская Трубка даже смастерил ему лук из отличного выдержанного ясеня.

Небольшой отряд продолжил путь. Солнце уже садилось за кромкой девственного леса. Золотистые блики света, игравшие вокруг путников, постепенно меркли, густая тень тяжелым черным бархатом растягивалась между деревьями. С приближением вечера, при всей его невыразимой красоте и умиротворенном покое, инстинкт, выработанный годами уединенной жизни, побуждал всех четверых бесшумно ступать по земле, и каждый из них едва ли слышал шаги остальных. Солнце еще не зашло, его лучи около часа будут полыхать весенним заревом в западной части неба; но лес, через который вилась древняя индейская тропа, становился все гуще, все мрачнее; и эта густота и пугающая беспредельность ускоряли приход тьмы, погружая все вокруг в сумрак ночи. Для мальчика и собаки поросшая лесом страна между поместьем и их домом была безмолвным и таинственным царством приключений, полным неясных предзнаменований великих событий и населенным призраками, которые на каждом шагу сулили что-то соблазнительное и совсем не страшное. Иное дело мужчина и женщина: их разум и опыт постоянно открывали в природе все новые и новые отражения красоты и величия небесного Творца. В этом огромном лесу, среди вековых деревьев, сердце Катерины всегда билось сильнее, и душа благоговела пред могуществом Духа, которого она не видела, но присутствие которого ощущала всем существом. Тропа была узкой, но Катерина шла рядом с Анри, держа его за руку, и они о чем-то говорили шепотом. Новот над их головами вновь

открылось небо, пылающее на западе последними лучами заката; вот показались небольшие поляны, разбросанные здесь и там клены, каштаны и березы, соединенные между собой вьющимися лентами зеленых лужаек; и наконец, выйдя на широкий луг, полого спускающийся в Заповедную Долину, которой они любовались с Беличьей Скалы, спутники увидели свой дом.

Он стоял в укрытой со всех сторон ложбине, похожей на крохотное дитя большой долины, и представлял собой низкое, приземистое, но веселое строение из тесаных бревен с гораздо большим числом окон, чем подсказывала осторожность, и с огромной сложенной из камня и глины трубой. Это не был обычный для тех мест дом, построенный из бревен, стоймя вкопанных в землю вокруг большого пня, который зачастую служит столом, но жилище, по меркам обитателя пограничной зоны, красивое, удобное и даже роскошное — лучшее, что мог построить Анри Булэн. Любовь Катерины к своему дому уступала лишь ее любви к Анри и Джимсу. Из его окон, открытых любому врагу, поскольку они не были защищены ставнями, она могла смотреть на все четыре стороны света. На юге и востоке лежала Заповедная Долина, и каждое утро Катерина видела, как над землями Тонтера и над Беличьей Скалой встает солнце; на севере по склону холма взбирался густой, мрачный лес; на западе уходящее на покой светило пряталось в необозримых просторах нехоженой страны, о которой всегда мечтал Анри Булэн и куда все чаще с любопытством, а порой и с вожделением поглядывал Джимс.

Но у Катерины было чем удержать своих мужчин, и это составляло предмет ее особой гордости. Вокруг дома лежали ее собственные владения: ее цветы, ее кусты, прореженные деревья, и среди всего этого — очаровательные извилистые тропинки, обложенные побеленными камешками. На ветвях деревьев висело несколько птичьих клеток, сплетенных из коры каштана. На крошечной лужайке расцветали нарциссы и полевые цветы — с начала мая и до первого инея все во владениях Катерины цвело и благоухало. Больше всего любила она вьюнки, которые Джимс называл «Джонни-попрыгунчик», душистые Уильямы и крупные Бетти — пышноглавую праматерь всех гвоздик. Между весенними нарциссами и осенними ноготками в ее саду сменяли друг друга алтеи, бальзамины, розы, люпины и дельфиниум, иберийки и душистый горошек, подсолнечник и львиный зев, гвоздики, маргаритки и такое множество других цветов и трав, что путник, случайно набредший на затерянное жилище Булэнов, едва ли поверил бы, что находится почти у самой границы.

Сад переходил в поля Анри — переходил постепенно, в чем сказался художественный вкус Катерины. На тщательно возделанных грядках были высажены зелень и овощи: салат, щавель, петрушка, просвирняк, кервель, тимьян, шалфей, морковь, капуста, пастернак, свекла, редис, портулак, бобы, тыква, аспарагус, мускусная дыня, огурцы... За грядками широко раскинулись поля, отведенные под зерновые, — десять акров пашни, граничащие с кленовой рощей, где Анри в апреле собрал ежегодные пятьдесят галлонов сиропа и вчетверо больше сахара.

Эти дорогие сердцу владения — Катерина не променяла бы и малую часть их на все богатства мадам Тонтер — и увидели наши путники, спускаясь по зеленому склону. Солнце зашло, только на западе угасал слабый отблеск заката. Мир готовился отойти на покой. В небе длинная вереница голубей тянулась в Заповедную Долину. Во мраке Большого Леса вороны устраивались в своих гнездах. Черные и серые белки в кленовой роще прервали свою трескотню и молчаливыми тенями скользили с ветки на ветку, с дерева на дерево. Около курятника Катерины собрались его обитатели, бык и корова поднялись к воротам хлева с огороженного выгона, через который бежал терявшийся в роще ручей.

Катерина улыбалась мужу, и в ответ на ее улыбку глаза Анри светились счастьем. Неожиданно эту мирную картину нарушил крик, от которого кровь застыла в жилах. Казалось, от него замерли все звуки, наполнявшие воздух. Испуганные голуби в панике разлетелись в разные стороны, флегматичный вол насторожился и замер у ворот хлева. Человек, издавший



столь чудовищный крик, вышел из зеленеющих кустов, которые служили ему укрытием, и стал приближаться к путникам. В его внешности было что-то дикое, внушающее страх.

Одним движением плеча Анри сбросил мешок с мукой на землю; шедший впереди отца Джимс вскинул ружье; Вояка оцетинился и зарычал. Таинственная кряжистая фигура поднималась по склону. Джимс уже приготовил кремь и запальник и стоял, держа палец на курке, но Катерина охнула, затем тихо вскрикнула и, оставив позади своих защитников, раскинув руки, бросилась навстречу незнакомцу.

— Это Хепсиба! — воскликнула она. — Это Хепсиба!

Почти одновременно с взволнованным восклицанием Катерины Джимс бросил ружье и побежал за матерью. Но прежде чем ему удалось догнать ее, она уже была в объятиях брата. Тем временем отец, быстро поборов изумление и на время расставшись с мешком, тоже поспешил вниз по склону с индюком в руках. Когда он подошел к жене, сыну и шурина, Хепсиба Адаме одной рукой обнимал Катерину, другой держал повисшего на ней Джимса. Наконец он освободился от сестры и племянника и протянул Анри руку, узловатую и шершавую «, как кора дуба, который затенял дом Булэнов от солнца.

Если когда-либо существовал человек, силой, радостной энергией и кряжистостью схожий с дубом, то таким человеком был Хепсиба Адаме — странствующий торговец. С другой стороны, он чем-то смахивал на Лихого Вояку. Он принадлежал к разряду тех жизнерадостных существ, с которыми одинаково приятно иметь дело и друзьям, и врагам. Он был плотнее Анри и на полголовы ниже. У него были широкие плечи, крепко сбитое тело, круглое, как яблоко, и почти такое же румяное лицо со следами невзгод и сражений, которые, однако, не только не портили лицо Хепсибы, но, напротив, подчеркивали его живость и добродушную смешливость его лучистых глаз. Шляпы Хепсиба не носил, и макушка его была голая как колено. За этим украшением, как называл его Хепсиба, на затылке буйно росли густые рыжие волосы, завивающиеся на концах; дав волю воображению, их обладателя можно было принять за бритоголового монаха, объявившего непримиримую войну приверженцам Сатаны.

Когда утихло первое волнение встречи, Катерина на несколько шагов отошла от своего разудалого брата и внимательно оглядела его. Ее глаза светились любовью, но вместе с тем в них читался вопрос, который она не замедлила облечь в слова.

— Хепсиба, у меня дух захватывает от радости. Но я вижу и то, что ты не сдержал данного мне обещания и не перестал ввязываться в драки: ухо у тебя порвано, нос сломан, над глазом шрам, которого не было два года назад!

Обветренное лицо Хепсибы расплылось в улыбке.

— Не могу сказать того же про твой нос, Катерина, — он с каждым годом становится все изящней, — отвечал брат. — Но если какой-нибудь голландец проедет по нему свиным окошком, как это приключилось со мной во время небольшого поединка в Олбани, то, признаться, даже уцелев, он изрядно покривится. Ну а что до уха, то чего же прикажешь ожидать от француза — кроме твоего добряка мужа, разумеется, — когда вместо рук, которыми для драки наделил его Господь, он так и норовит пустить в ход зубы? Порез на лице — пустячный след от ножа одного онейды: он впал в досадное заблуждение и решил, будто я надул его, чего не было, провалиться мне на этом месте! Что еще? Больше ты ничего не заметила?

— Твоя лысина, Хепсиба, стала больше. Прямо чудо, какая она ровная и круглая.

— Просто-напросто, сестрица, мы обменялись любезностями с цирюльником-сенекой. Я отдал ему свой нож и топорище, а он повыдергивал мне волосы на индейский манер. Пока эта заплатка на макушке была неровной, точно бляха воска с оплывшей свечи, она меня чертовски раздражала, ну а теперь ее подровняли, и она мне даже нравится.

— Когда ты смеялся, я заметила, что у тебя недостает зуба.

— Всего-навсего вторая порция щедрот голландца. Бог милует меня, но видела бы ты, как дерется этот голландец из Олбани!

— А твоя одежда! — сказала Катерина, наконец добираясь до самого главного, по ее мнению. — Ты выглядишь так, словно с тобой поиграл медведь. Хепсиба, что-нибудь случилось поблизости от нашего дома?

— Сущий пустяк, сестрица. В нескольких милях отсюда я наткнулся на компанию французишек, которые заявили, что я забрался слишком далеко от Новой Англии, и вознамерились повернуть меня восвояси. Но это ерунда, суцая ерунда. А вот мне стыдно за тебя, Катерина: ведь ты не заметила самого важного.

— И что же это такое?

— Мой желудок, — объявил Хепсиба, сплетя пальцы под весьма внушительным животом. — Как видишь, он совсем провалился и съежился. Он так слипся, что давит мне на хребет. Так истощал и усох, что стал не больше желудка знатной дамы. От недостатка пищи он сжался, сократился, сморщился — наконец, начисто пропал, растаял! И если я сейчас же не поем...

Конец этих сетований заглушил смех Катерины, и ее ладонь легла на губы брата.

— Милый Хеппи! Как всегда, голоден! О, тебя ничто не изменит! Мы сядем ужинать, как только разведем огонь и из трубы повалит дым. Как я счастлива, что ты вернулся!

— Я тоже, — сказал Анри, наконец-то ему удалось вставить слово.

Джимс изо всех сил дергал за рукав своего блудного дядюшку и тянул его туда, где бросил ружье: Хепсиба был его кумиром, величайшим героем на свете.

Когда они ушли, лицо Катерины стало серьезным.

— За Джимсом теперь нужен глаз да глаз, Анри, — предупредила она мужа. — Тебе известны поразительное безрассудство и легкомыслие Хепсибы. Он неистощим на разные фокусы и затеи, соблазнительные для мальчишек. Их-то я и боюсь.

Анри только улыбнулся. Он почитал подарком судьбы возможность поучиться» разным фокусам» у такого человека, как Хепсиба Адаме.

Тут Катерина увидела над высокой каменной трубой дома струйку дыма.

— Хепсиба уже развел огонь, — сказала она.

Когда через широкую двустворчатую дверь они вошли на кухню, Анри удовлетворенно вздохнул, а Катерина вскрикнула от неожиданности. Большую — тридцать футов в длину и двадцать в ширину — кухню освещали последние лучи угасающего дня и розовый отблеск пылающего в огромном очаге против самой двери полена и целой кучи кленовых углей. Таким очагом не могло похвастаться и самое роскошное поместье на берегах Ришелье. На его кладку Анри потратил целый месяц. Пока он строил дом, Катерина и Джимс жили у его тетки в Труа-Ривьер; и когда Катерина впервые увидела этот очаг, то она вошла в него, даже не наклонив головы. Его ширина не уступала высоте, у обеих его стен Анри поставил скамейки. Над скамейками вбил крюки для своих ружей, а в самой стене устроил несколько ящичков для трубок и табака. Еще глубже, но опять-таки там, куда не доходили дым и копоть, были вбиты крюки для сокровищ Катерины: котлов, чайников, сковород. Таким образом, очаг сам служил миниатюрной кухней, уютным уголком, где можно коротать вьюжные зимние вечера. Сложности с доставкой топлива, которые сперва несколько испугали Катерину, нисколько не тревожили Анри. Зимой он приволакивал бревна по шесть футов длиной и по два в обхвате; на роликах перекачывал их в топку, клал вниз полено побольше и, привалив его двумя-тремя поленьями меньшего размера, обеспечивал себя огнем на целые сутки. Такая процедура избавляла его от колки дров.

Катерину приятно удивил и обрадовал оживший очаг и встретивший их аромат жаркого. Она с детства помнила, что брат любил похвастаться своими редкими кулинарными способностями, и нисколько не сомневалась в том, что сегодня он занялся любимым делом, как только вошел в дом. Полдюжины цепей свисало с креплений в толстой дубовой перекладине футах в семи над огнем; на них были подвешены кипящие котлы и чайники; их свинцовые крышки весело пританцовывали над напором пара и бурлящей воды, которая напевала игривую,

приятную на слух мелодию. Анри всегда любил неугомонную переключку котлов и котелков — веселых предвестников ужина, но особый восторг у него вызвал огромный олень, которого Хепсиба повесил жариться над огнем, пренебрегая голландской печью — предметом особой гордости Катерины — и заменив новомодное хозяйственное изобретение примитивным устройством из привязанной к деревянному гвоздю в потолке прочной пеньковой веревки. Оленья туша поворачивалась над огнем, а сок с нее стекал в стоящий внизу противень. Катерина и Анри смотрели, как висящий над огнем олень медленно поворачивался, словно под действием невидимых рук, и золотистая корочка говорила о том, что Хепсиба внимательно следил, чтобы ни один дюйм мяса не остался непрожаренным.

Повинуясь инстинкту хозяйки, Катерина со всех сторон осмотрела мясо и только потом подошла к висевшему на стене зеркалу, откинула капюшон и поправила волосы. Затем она оглядела стол, на который специально для жареной оленины Хепсиба поставил оловянную посуду. Анри заметил, как на ресницах Катерины блеснули слезы, и, на мгновение задержав ее руки в своих, почувствовал, как сильно бьется ее сердце.

Прошло два года с тех пор, как она в последний раз видела Хепсибу: два года ожидания, надежд и молитв за легкомысленного брата, ее последнего кровного родственника, который появлялся и исчезал с непостоянством ветра, но пока так и не сумел убедить сестру бросить мечту однажды увидеть его членом их маленькой семьи. При каждом появлении Хепсиба не скупился на обещания, душой клялся, что твердо решил исполнить давнишнее желание Катерины и навсегда поселиться с ними. Но в один прекрасный день или ночь он исчезал со всеми своими пожитками. О нем не было ни слуху ни духу иногда месяцев шесть, иногда год, иногда, как сейчас, и того больше. Он возвращался, по-прежнему щедрый на обещания, готовый клясться чем угодно, в том числе и душой, но никто не сомневался, что в конце концов он снова исчезнет. «Я не могу прощаться даже с индейцем, а о Катериной тем паче, — однажды под большим секретом признался он Анри. — Уж лучше я оставлю ее смеющейся, чем в слезах».

Возвращался Хепсиба, неизменно неся на плечах огромный мешок, словно хоть отчасти хотел искупить свой грех. Развязывание мешка и распределение его содержимого со временем превратилось в самое значительное и волнующее событие в жизни Джимса и — в несколько меньшей степени — в жизни его матери. Но на этот раз, возвращаясь за ружьем в компании своего любимого дядюшки Хепа, Джимс даже не вспомнил про мешок. В решающий момент его жизни рядом оказался герой из героев, и, дабы заручиться его обещанием хранить тайну, Джимс не стал терять времени и рассказал про мальчишку, которого ненавидел. Заметив судорожное подергивание руки племянника и предательское дрожание его голоса, Хепсиба уселся на мешок с мукой и сидел до тех пор, пока умелыми вопросами и проявлением сочувственного интереса не выведал у Джимса большую часть того, что мальчик утаил от родителей. Только после того как Анри во второй раз протрубил в рог, призывая к обеду, они поднялись на ноги, и, когда Хепсиба взвалил на плечи мешок с мукой, его круглое малиновое лицо было похоже на полную луну, сулящую исполнение всех желаний.

— Для победы в драке важны не габариты, Джимми, — доверительно говорил он. — Кроме того голландца в Олбани, еще ни одному верзиле не удавалось отколошматить меня. А я, как видишь, весьма умеренных габаритов. Уж коли на то пошло, я всегда, и не без причины, предпочитал крупных противников. Они не очень проворны, не умеют падать и в девяти случаях из десяти заплыли жиром. Так вот, судя по тому, что ты рассказал мне про этого твоего Поля Таша, ты можешь так отделать его, что он взмолится о пощаде. Ну а когда он будет ползать у тебя в ногах, — самое время хорошенько всыпать ему, да еще с походом, чтобы впредь неповадно было. Вот так-то. На том и порешим, Джимми.

Из-за угла дома навстречу заговорщикам вышла Катерина; Хепсиба благоразумно

воздержался от дальнейших советов и весьма выразительно подмигнул Джимсу.

В тот вечер в дом Булэнов впервые за два долгих года пришел настоящий праздник. В честь гостя зажгли четыре лампы и целую дюжину свечей. Над необъятными безлюдными просторами пала ночная тьма, плотные дождевые тучи скрыли звезды, а дом на краю Заповедной Долины был полон света и веселья. В нем царила истинная радость, и никто, казалось, не замечал раскатов грома, ливня, барабанящего по крыше, стука ветра в оконные стекла. Разрезали мясо, и начался настоящий пир. Стол ломился от маисовых лепешек, картофеля с морковью, пудинга, многих других блюд, и поэтому прошло не менее часа, прежде чем Хепсиба Адаме отодвинул от стола свой конец длинной скамьи и вытащил из-под лестницы, ведущей в комнату Джимса на чердаке, плотно набитый мешок.

Сколько помнил себя Джимс, то был обычный сигнал очистить стол, убрав с него все до последней крошки. Пока отец курил длинную голландскую трубку, а дядюшка Хепсиба возился с мешком, притворяясь, будто никак не может развязать его, сын и мать наперегонки убирали со стола, каждый занимаясь своей половиной. Потом Катерина ставила на концы стола по лампе и усаживалась напротив брата; в такие минуты щеки ее пылали от удовольствия, в глазах горело радостное ожидание, ничуть не меньшее, чем восторг и нетерпение Джимса.

Хепсиба погружал руки в таинственные недра мешка.

— Ничего стоящего. Несколько пустячных безделиц. — Слова эти он повторял из года в год. — Несколько безделок для мальчугана, кой-какие побрякушки для сестрицы да кое-что ценою в фартинг для тебя, Анри. Купил по случаю и по дешевке в Олбани, где живет голландец с тяжеленными кулачищами. А вот и первый пакет, подписанный грамотеем, который продал мне свой товар. Так-так... чепец, гофрированный воротник, шемизетка и рулон кружев по пяти шиллингов за ярд. И кому же здесь могут пригодиться все эти глупости, как не...

И под радостные восклицания сестры он бросил ей сверток. Горя нетерпением, Катерина едва успела раскрыть его, а Хепсиба уже с притворным недоумением разглядывал при сиянии свечей красную шелковую юбку. Пораженная Катерина шумно глотнула воздух и вскочила на ноги. Хепсиба заранее во всех деталях продумал свой сюрприз, и на столе друг за дружкой появились белый капор, черный капор, еще три юбки: одна — из тончайшей алой ткани с черными кружевами, вторая — из разноцветной плотной ткани с игольными кружевами и третья — из черного шелка на пепельно-серой подкладке. Катерина замерла, не в силах отвести взгляд от всех этих сокровищ, достойных королевы, а брат прибавил к ним пару корсетов для тончайшей талии в восемнадцать дюймов и высыпал на них такое множество кружевных рукавчиков, воротничков, брыжей и шейных платков, что она на мгновение зажмурилась, затем широко раскрыла глаза, словно опасаясь какого-нибудь хитрого подвоха.

— Матерь Божия! — наконец воскликнула Катерина. — И все эти восхитительные вещи для меня?

— Ну, разумеется, нет, — ледяным тоном ответил Хепсиба. — Корсеты для Джимса, алая юбка с кружевами — для Анри, чтобы по воскресеньям ходить в ней в церковь.

Но Катерина если и слышала шутку брата, то не обратила на нее внимания. Ее тонкие пальцы быстро перебирали подарки, с нежностью задерживаясь то на одном, то на другом, пока Анри не забыл о своей трубке, а Джимс не встал с места, чтобы лучше разглядеть взволнованное лицо матери.

— Должно быть, они стоят целое состояние! — Держа в руках алую с черными кружевами юбку, Катерина подняла глаза на улыбающегося брата. — Вот эта, например...

— Два фунта пятнадцать шиллингов, — сказал Хепсиба, еще шире открывая мешок и проворно орудуя в нем руками. — Но кое-какие мелочи, вроде вот этой, та cherrie<sup>6</sup>, стоят подороже, — добавил он, пытаясь хоть что-нибудь произнести по-французски. — Капор,

притом лучший в Олбани, — четыре фунта десять шиллингов. А вот полрулона тканного золотой нитью муслина — по восемнадцать шиллингов за ярд. Вот немного люстрина по двенадцать шиллингов. Набивной ситец по шесть шиллингов три пенса, дюрانت по три шиллинга шесть пенсов. В общем, как клялся грамотей, продавший мне свое добро, материи вполне хватит, чтобы соорудить наряды и всякие там украшения для самой что ни на есть капризной франтихи в здешних краях. А к ним у меня есть еще и воротники, и накладки, и нитки, и пуговицы, и ленты, и даже четыре пары самых легких туфелек, какие только выдывали на Гудзоне.

Хепсиба широким жестом выложил на стол все эти вещи, с довольным видом крикнул и ненадолго прервался, чтобы набить трубку. От нетерпения сердце у Джимса едва не выскакивало из груди, и, когда узловатые руки дядюшки Хепсибы снова погрузились в мешок, мальчику показалось, что удары его слышны во всей комнате. Церемония вручения подарков повторялась из года в год. Первой шла мать, затем он сам и, наконец, отец, который ожидал своей очереди, молча наблюдая за происходящим. Но на этот раз Хепсиба решил изменить заведенный порядок и, вынув из глубин мешка довольно объемистый пакет, передал его отцу Джимса.

— Три трубки — из лучших, какие мне доводилось видеть, — объявил он. — Одна сделана в Голландии, вторая — в Лондоне, третья — в Америке. К ним пять фунтов виргинского табака, а в придачу шляпа, куртка и пара сапог, в которых не зазорно отправиться на любую *swoirree*<sup>7</sup> по эту сторону моря. Ну как?

И он отошел от мешка, как будто его содержимое иссякло и на долю Джимса ничего не осталось.

Джимсу казалось, что дядюшка целую вечность держал его в этой уверенности. Но вот нарочито медленно, отчего беспокойство Джимса еще более возросло, Хепсиба Адаме вновь подошел к своему мешку.

Ни один из троих зрителей, наблюдавших за ним, ни за что бы не догадался, что в ту минуту сама судьба направляла руку Хепсибы, избрав его своим орудием, которое с роковой неотвратимостью должно было изменить течение многих жизней, низвергнуть на землю не в меру вознесшихся и вознести на невиданную высоту униженных, дать волю сдерживаемым страстям, ненависти, любви, породить трагедии и радости, рассказ о которых вы найдете в этой скромной хронике человеческой жизни.

Мгновенное озарение... проворное движение руки... сверток, предназначавшийся Катерине, падает в мешок, и... Хепсиба изменил, перевернул мир. Именно такие ничтожные случайности вершат порою судьбы самых могущественных людей. Со dna осевшего мешка снова извлек Хепсиба этот сверток и, повернувшись к взволнованному Джимсу, который смотрел на него во все глаза, принялся разворачивать его.

— Джимси, — начал он, — если память не водит меня за нос, ты родился в самый холодный январский день, какой я испытал на своей шкуре. Значит, сегодня вечером тебе исполняется ровно двенадцать лет и четыре месяца, и если ты хорошенько посчитаешь, то выйдет, что всего три года и восемь месяцев отделяют тебя от того дня, когда ты станешь мужчиной. По закону с этого дня ты станешь полноправным подданным своего короля и сможешь взять жизнь со всем ее богатством в собственные руки. До тех пор, пока ты будешь честен и достоин этой жизни, ты сможешь смело смотреть в глаза самому строгому судье в Колониях и в Новой Франции. Другими словами, Джимси, меньше чем через каких-то четыре года ты станешь совсем взрослым<sup>8</sup>.

Завершив свою вступительную речь, Хепсиба кончил разворачивать пакет и явил мерцающему свету свечей отрез бархата, краше которого Катерина еще никогда не выдывала.

Это было, несомненно, прекраснейшее из привезенных им сокровищ — ткань несравненной красоты, малиновое чудо, чарующее взгляд какой-то особой теплотой, настолько богатое тонами и оттенками, что казалось живым. Джимс ни секунды не сомневался, что это еще один подарок для матери. Как же удивился мальчик и поразила Катерина, когда Хепсиба бросил материал на руки племянника.

— Мадемуазель Марии-Антуанетте Тонтер от ее преданного поклонника Даньела Джеймса Булэна, — провозгласил он. — Не красней, Джимси. От двенадцати и десяти недалеко до шестнадцати и четырнадцати, когда вы станете мужчиной и женщиной, и если дочери сеньора суждено счастье, то она встретит его в тот день, когда станет женой младшего из клана Адамсов. На надписи указано, откуда эта материя и какова ее цена. Кроме того, я принес тебе нанки на штаны и платье, четыре рубашки, треуголку с черной лентой, шесть носовых платков, складной нож, две пары саржевых панталон, столько же новых башмаков и вот это... — И из окончательно опустевшего мешка Хепсиба вытащил красивый длинноствольный пистолет. С глазами, сияющими гордостью, он расхваливал достоинства оружия, нежно поглаживая его в свете свечей.

— Пока ты жив, Джимси, — сказал он, — не расставайся с этим пистолетом. Как видишь, он не совсем нов, но список его славных побед длиннее, чем моя рука. Когда-нибудь я тебя познакомлю с ним. Он бьет насмерть, малыш, верно и надежно с расстояния до ста шагов. — И Хепсиба вручил оружие Джимсу.

В глазах Катерины мелькнуло недовольство.

— Очень мило, Хепсиба, что ты принес бархат для Туанетты, но твой последний подарок мне вовсе не по душе, — сказала она. — Пистолет наводит на мысли о схватках и сражениях, о людях, убивающих людей. Мы живем в мирном краю, и, чтобы обеспечить себя мясом, нам вполне достаточно винтовки да лука со стрелами. По-моему, пистолет не лучшее, что ты мог придумать для Джимси!

Пока Катерина с такой уверенностью говорила о мире, по лицу Хепсибы пробежала тень, но он рассмеялся и стал убеждать сестру, что не пройдет и недели, как она будет так же гордиться меткостью своего мальчика, как сейчас страшится влияния пистолета на его будущее.

Через час, отправляясь спать в свою каморку на чердаке, Джимс думал вовсе не о пистолете и меткой стрельбе, а о красном бархате, который, прежде чем задуть свечу и лечь в постель, он положил рядом с подушкой. Теперь сердце его билось не так быстро, как когда он сидел за столом с родителями и дядей, но возбуждение только возросло.

Гром отгремел, всполохи молний погасли, и вкрадчивый весенний дождь в нескольких футах над его головой барабанил по крыше, заглушая своим наводящим дремоту музыкальным ритмом голоса из комнаты с очагом. Джимс слышал, как вода сотнями торопливых ручейков и струек сбегала по крыше, улавливал ее певучее журчание и приглушенный, протяжно-непрерывный всплеск, когда, стекая по выложенному корой каштана желобу, она падала в деревянную бочку.

Джимс любил музыку падающей воды. Она успокаивала, утешала, будила мечты. Он любил лесные ручьи во время весеннего таяния снегов, любил темные потаенные родники, украдкой вьющиеся летом в прохладной тени; любил речные потоки, озера и даже спокойные, неподвижные пруды, в августе подернутые зеленой «лягушачьей пеной». Но больше всего любил он дождь. И сейчас, прислушиваясь к дружелюбному постукиванию над головой и положив руку на подарок для Туанетты, Джимс чувствовал, что мир, рухнувший для него днем, вновь обретает целостность и прочность. Наконец-то он стал обладателем подарка, о котором так мечтал, хотя и не мог четко определить его образ. Цветы, перья, орехи, плитки кленового сахара не шли ни в какое сравнение с одним-единственным квадратным дюймом этой красоты.

Красный бархат был прекраснее всего, что Джимс когда-либо видел на Антуанетте. Душу мальчика переполняло торжество. Он лежал во тьме с широко раскрытыми глазами, и сон бежал от него.

На следующий день была назначена распродажа у Люссана — богатого фермера, жившего на границе соседних владений милях в десяти от Булэнов. Люссан возвращался в свой старый дом вблизи острова Орлеан, в страну, которая была ему милее Ришелье, и потому избавлялся от большей части своего добра. Продавал он и плуг с железным лемехом, сорокагаллонный котел для варки мыла и ткацкий станок, которые интересовали отца Джимса, и тот собирался рано утром, прихватив с собой вола, отправиться на распродажу. Джимс слышал, что Тонтер намерен купить трех рабов Люссана — мать, отца и дочь — и что девушка предназначена для Туанетты. Значит, Туанетта тоже приедет на распродажу вместе с отцом. Итак, он возьмет драгоценный сверток к Люссану и там найдет случай передать его девочке.

Если Поль Таш тоже пожалует туда, то пусть он только посмеет снова задирать перед ним нос, двусмысленно хихикать, говорить сквозь зубы... пусть только попробует съязвить по поводу его подарка Туанетте...

Далеко на западе вновь прогремел гром. Возвещая приближение грозы, с шумом налетел порыв ветра, и небо снова разверзлось потоками дождя. Узкие окна спальни прорезала яркая вспышка, и крыша словно прогнулась и застонала под внезапно обрушившимся на нее ливнем. Джимс сражался в унисон с силами природы. Ярость его не уступала разыгравшимся стихиям. Он уже сбил врага с ног и окунал его голову в жидкую, липкую грязь. Он бил его по лицу, по глазам, рвал его щегольской костюм, выдирали волосы. А Мария-Антуанетта смотрела... смотрела... Ее огромные глаза сияли, как звезды. Держа в руках красный бархат, она смотрела на Джимса, смотрела, как он душит, пинает ногами, колотит Поля Таша.

Неистовство грома, ветра и ливня — причуда проказницы-весны — промчалось так же быстро, как и налетело, но задыхающийся Джимс все еще метался на кровати. В эти минуты он воспарил к недостижимым высотам и с суровой решимостью окончательно утвердился в плане действий на следующий день.

Сперва он поднесет свой дар Туанетте.

Затем он сделает то, что советовал ему дядя Хеп. Он проучит Поля Таша.



Анри, Катерина и Хепсиба Адаме допоздна засиделись на кухне. Хепсиба явился в дом сестры с твердо обдуманной целью. Если бы к концу их затянувшегося разговора Джимс прокрался вниз по лестнице, то обнаружил бы, что радость, царившую вначале, сменила напряженная, почти трагическая серьезность. Лицо странствующего торговца посуровело, а лицо Катерины при свете свечей было бледно, как у монахини. Богатые подарки блудного брата горой лежали на столе, но по глазам Катерины было заметно, что ее занимает нечто гораздо более важное и значительное. Анри Булэн по-прежнему был сама радость и добродушие, нерушимое спокойствие веры и убежденности, поколебать которые не могли самые мрачные картины, нарисованные Хепсибой.

Говорили они о войне. Весной 1749 года по бескрайним просторам Америки поползли слухи о занимающемся пожаре, которому вскоре было суждено превратить восточную часть континента в бурлящий котел ненависти и смерти.

Пока король Англии Георг II и король Франции Людовик XV после заключения мира в Экс-ла-Шапель пытались уверить друг друга во взаимных дружеских чувствах, пока Франция, потеряв цвет своих армий на полях сражений Европы, задыхалась от истощения, а вооруженные силы Англии сократились до восемнадцати тысяч на суше и семнадцати на море, обширные колонии обеих стран собственными силами последовательно, упорно и с самыми кровожадными намерениями надвигались друг на друга. Пока две величайшие монархии Европы пытались скрыть свою слабость под маской хитроумной политики и фальшивого блеска придворных оргий, превративших их столицы в пышные ярмарки мотовства и чувственности, в Америке колонии-соперницы в совершенстве постигли науку недоверия и ненависти и жили предвкушением дня расправы и мести.

Сцена для разыгрывания самого кровавого и живописного эпизода в истории Америки была готова. К югу от Ришелье располагались злейшие враги всех белых — воины шести союзных племен, к северу, занимая восток и запад Канад<sup>9</sup>, были разбросаны сорок племен, соблюдавших лояльность по отношению к Новой Франции. По одну сторону от этих диких вассалов расположились миллион сто тысяч английских колонистов, державших в своих руках побережье от Мэйна до Джорджии, по другую — менее восемнадцати тысяч душ, включая женщин и детей, которым приходилось удерживать бескрайние территории Новой Франции от Канад до Мексиканского залива и от Аллеган до Скалистых гор.

Пространные излияния Хепсибы о тревожном и опасном неравенстве сил и о бесчисленных бедствиях, которые, по его клятвенным уверениям, вскоре обрушатся на земли в районе озера Шамплен и реки Ришелье, не произвели ни малейшего впечатления на Анри Булэна.

— Пусть война. От судьбы не уйдешь. Сердце Новой Франции бьется за непроницаемой стеной из скал и лесов; под их надежной защитой восемнадцать тысяч наших устоят против миллиона англичан, если те нападут. Но зачем говорить о войне, брат, когда вокруг нас мир, красота, изобилие — живи да радуйся. Пусть короли дерутся или забавляются, как им угодно, я же, коли дело дойдет до драки, буду другом для обеих сторон и не присоединюсь ни к той, ни к другой. Что бы ни привело к ссоре, я бы не мог сражаться с людьми одной крови с моей Катериной, да и она не стала бы настраивать меня против моих. Так зачем же нам уезжать? Место здесь замечательное. Это — нейтральная территория, мы тоже нейтральны, значит, нам и жить здесь. Под нашей крышей вкушали пищу онейды и могавки, гуруны и алгонкины, а если такие смертельные враги встречаются на общей территории, то чего же нам бояться?

Катерина с нескрываемой гордостью слушала мужа.

— Анри любит индейцев, и я тоже полюбила их. Все они наши друзья.

— Друзья! — фыркнул Хепсиба. — Только ради Катерины и Джимса я называю тебя глупцом, Анри. Отвези их хотя бы на Святого Лаврентия или поезжай с ними на юг, в родные места Катерины. Ради Бога, сделай то или другое, иначе настанет день, когда сам Христос не спасет вас. — Голос Хепсибы прервался от волнения.

— Да не будет никакой войны, — упрямо настаивал Анри. — Сражения в Европе полностью обескровили и Англию, и Францию, и — даю голову на отсечение — на нашем веку никто не нарушит мирный договор, подписанный не далее как в прошлом октябре. Ведь Ганноверу и Австрии тоже досталось немало, и они, почитай, все равно что мертвый на погосте.

— Правильно, — кивнула Катерина, слегка задрожав. — Думаю, с войной покончено на долгие годы.

Хепсиба надул щеки и громко фукнул. С годами он не отучился от детской гримасы, которая значила, что он окончательно потерял терпение. Катерина помнила об этом и улыбнулась.

— Блаженны простодушные, — огрызнулся брат. — Говорю вам: и Георг, и Людовик будут преспокойно наблюдать за этой войной, пока каждая миля между нашими Колониями и вашим Квебеком не покраснеет от крови и огня<sup>10</sup>. Господи помилуй, да война уже началась. Повсюду на границах французские и английские торговцы затевают драки, а индейцы, нанятые каждой из сторон, добывают скальпы противников. Даже белые вступили в эту миленькую игру. Массачусетс снарядил Лоуэлла и пятьдесят его молодцов на охоту за головами индейцев и французов — все равно за чьими, хотя в приказе говорится только о краснокожих! — с оплатой по пятьдесят шиллингов в день плюс награда за каждый скаल्प. В Нью-Йорке сэр Уильям Джонсон отсчитывает английские денежки за человеческие волосы; а французы — и ты, Анри, знаешь об этом! — платят по сто крон за скаल्प — как красный, так и белый. Волосы — вот чем индейцы теперь торгуют вместо меха: на них и цены выше, и спрос надежней, а наши любезные соплеменники — и французы, и англичане — что ни день, все больше из кожи вон лезут и с помощью виски, денег и ружей превращают индейцев в сущих дьяволов. А вы сидите здесь, как парочка глупых голубков в гнезде, да еще с птенцом: скальпы ваши тянут по пятьдесят фунтов каждый, окна распахнуты, двери без засовов, рассудок на прогулке, а тем временем за холмом, всего в нескольких милях отсюда, этот самый Тонтер, ваш сосед, пробивает бойницы в своих домах, учит фермеров стрелять из ружей, загораживает окна, навешивает дубовые двери и превращает молельню в форт. Он-то знает, что ему грозит с земли могавков, и готовится изо всех сил.

— Его дело — военная служба, — отвечал Анри, чье безмятежное спокойствие нимало не поколебала даже мрачная картина, которую именно с этой целью изобразил Хепсиба Адамс. — В грамоте, пожалованной ему королем, под отдельным пунктом значится укрепление его владений, будь то во время войны или мира.

— Кроме того, — добавила Катерина, — женщины остаются при нем, а если бы опасность была действительно так велика, он бы непременно отослал их.

Катерина встала со скамьи, обошла стол и, подойдя к брату, обняла его за плечи.

— Хепсиба, мы знаем, что все обстоит так, как ты говоришь. — И она прикоснулась щекой к щеке брата. — По всей границе в тех местах, откуда ты пришел, льется кровь. Поэтому Анри и привез нас с Джимсом на свою землю; здесь царят мир и дружелюбие, здесь никто не помышляет об ужасных убийствах и отвратительной торговле, о которой ты говоришь. Ты спорил сам с собой, брат. Тебе самому надо бросить опасные места и переехать к нам. Тогда наше счастье станет полным. Я уже много лет молюсь, чтобы ты наконец навсегда остался с нами, понимаешь? Навсегда!

— Вместе мы заживем здесь, как в раю, — уверенно проговорил Анри.

— Я найду тебе жену, — добавила Катерина. — Жену, которая будет в тебе души не чаять.

И пока у вас не появятся дети, мы уступим вам половину нашего Джимса.

Хепсиба ласково и осторожно снял со своих плеч руки сестры.

— Ради Джимса вы должны переехать туда, где есть учитель и все необходимое для учебы, — возразил он, отчаянно хватаясь за последний довод, поскольку все прочие не возымели действия.

— Во всей Новой Франции и во всех Английских Колониях не найти лучшего учителя, чем наша Катерина, — с гордостью заявил Анри. — Она куда лучше научила его английскому и французскому, чем учителя в Олбани или в нашем коллеже в Квебеке. Ведь в одном месте из него постарались бы сделать англичанина, а в другом — француза. Здесь же он одновременно и то, и другое — как его отец и мать, и никогда не поднимет оружия ни на французов, ни на англичан, даром что в них течет та же кровь, что и в нем.

— В этом я уверена, — согласилась Катерина. — Молю Бога, чтобы моему Джимсу никогда не пришлось стать воином.

Отправляясь спать на чердак, Хепсиба с зажженной свечой на минуту задержался возле кровати Джимса. Мальчик спал с отрезом бархата в руках и улыбался во сне. Видимо, Джимсу снился сон, потому что улыбка постепенно сошла с его лица и на смену ей пришло серьезное, почти суровое выражение. Заметив перемену в лице племянника, Хепсиба подумал о последних словах Анри, о молитве Катерины, и губы его едва слышно прошептали:

— Им не уберечь тебя, малыш. Не уберечь, как бы они ни надеялись, ни молились и ни верили. Приближается буря, и, когда она грянет, ты нанесешь удар. Сильный удар. И только тогда станешь тем, кем тебе суждено стать, Джимс, — ты станешь воином.

В неверном свете свечи казалось, будто отрез красного бархата что-то отвечает Хепсибе Адамсу... Но странствующий торговец уже отвел взгляд и, не углубляясь в дальнейшие размышления, бесшумно разделся, задул свечу и лег в постель.

На рассвете Катерина собирала на стол завтрак. Джимс поднялся еще раньше и помогал отцу во дворе. К тому времени, когда Хепсиба проснулся и спустился вниз, вол уже был накормлен, а повозка готова к неблизкому и не очень приятному путешествию. Ночной разговор о войне, насилии и смерти не оставил в душе Катерины никакого следа. Когда обнаженный по пояс Хепсиба шел к ручью за домом и плескался в ледяной воде, он слышал, как поет сестра. При звуке ее голоса он невольно выпрямился и повернулся лицом к югу, где еще клубился утренний туман и предрассветные сумерки быстро рассеивались в набирающих силу солнечных лучах. Хепсиба слегка пошевелил широкими плечами — студеной вода до костей проняла его — и про себя отметил места, где лесистая глухомань Заповедной Долины горбилась холмами и проваливалась в низины, и сообразил, где могавки вступят в нее и откуда выйдут, если осуществятся его мрачные пророчества. Со стороны хлева донесся смех Анри и Джимса: очевидно, кто-то из них пошутил. Все еще чувствуя внутренний холодок, Хепсиба снова повернулся к ручью и увидел рядом с собой Вояку, который тоже смотрел в сторону таинственной, объятый тишиной долины. Ное собаки жадно ловил воздух, в глазах — как за мгновение до того в глазах человека — застыло внимание и безмолвное мрачное предчувствие. Хепсиба был поражен. Вокруг них в розовом сиянии встающего над лесом дня пели птицы, в воздухе кружили серые голуби, на опушке леса каркали вороны, из хлева доносились веселые голоса; но собака ни на что не обращала внимания и, напрягая каждый мускул, смотрела вдаль, на Заповедную Долину... От прикосновения руки Хепсибы тело пса, казалось, обмякло.

— Смотри, смотри, приятель. Молодец, — похвалил человек. — Скоро тебе придется днем и ночью держать ухо остро, но пуще всего — в глухие предрассветные часы. Хоть не теперь, но

скоро.

И Хепсиба опять принялся за умывание.

Отправляясь несколько раньше отца и дяди на ферму Люссана, Джимс не взял с собой ни одного лишнего предмета — как военного, так и мирного назначения. На нем была серая домотканая куртка, индейские мокасины и рейтузы из оленьей кожи. Светло-русые, спадающие до плеч волосы мальчика покрывала шапка с орлиным пером, какие носили все переселенцы. Из оружия он захватил только лук, и в целом его юная фигурка производила впечатление гораздо большей свободы, гибкости и изящества, чем накануне, когда ее сковывало тщательно выбранное платье и обременяло военное снаряжение.

Особое место в душе Джимса занимала любовь к природе; страсть эта владела им с еще большей силой, чем его отцом и матерью, хотя покамест он не признавался в ней даже им. С раннего детства Анри и Катерина посеяли в его душе семена, которые, прорастая, начали формировать будущего человека, и на примере собственной жизни, служившей образцом удивительной терпимости и любви к природе, внушали ему понятия, которые в пуританском доме Катерины, да и во всей Новой Англии, сочли бы кощунственными. Катерина научила сына, что все в природе имеет душу и язык: даже цветы и деревья, даже птицы и звери, которых они убивают для пропитания, и если уничтожение жизни ради удовлетворения разумных потребностей не есть зло и не заслуживает осуждения, то бессмысленное уничтожение живого есть грех, простить который может только Бог. По замыслу Господа, одни формы жизни существуют за счет других, что, однако, не противоречит законам здравого смысла, милосердия и справедливости. Для подтверждения этой истины Анри Булэн никогда не упускал возможности раздвинуть перед мальчиком завесу, скрывающую от постороннего взгляда удивительные проявления жизни в природе. Благодаря отцу Джимс постепенно понял, что все живые существа — от мельчайшего насекомого до самого большого зверя — непрерывно кормятся другими живыми существами, и процесс этот продуман и соразмерен, и в природе ничто не уничтожается бесследно.

В Новой Франции, где свобода мысли, поэзия и то, что составляет удовольствия жизни, нашли для своего развития благоприятную почву, подобные суждения можно было высказывать, не опасаясь последствий. Но в Колониях еще не миновали те дни, когда сторонникам новых идей, чьи взгляды подрывали глубоко укоренившееся и узкодогматическое религиозное мышление, приписывали сверхъестественное могущество и обвиняли их в сговоре с дьяволом. Разумеется, если бы Катерина жила в доме, где прошло ее детство, она защитила бы Джимса непробиваемым щитом косности и невежества.

Но не только таинственные голоса природы и благоговение перед мощью Небесного Творца манили Джимса в лес. Его кровь бурлила жаждой впечатлений и деятельности, и далеко не всегда удавалось Джимсу оставаться на высоте того, чему учили его родители. Часто случалось, что он убивал из простого упоения убийством — так велики были соблазны, разнообразны искушения. Леса, холмы, луга кишели живностью. Ее было так много, что в Бостоне диких индеек продавали по шиллингу за штуку, голубей — по пенсу за дюжину, упитанных молодых оленей — всего за шесть пенсов. В Олбани цены были и того ниже — за индейку просили четыре пенса, оленя обменивали на дешевый складной нож или на несколько гвоздей. Белки водились в таком изобилии, что в том же 1749 году Пенсильвания купила шестьсот тысяч зверьков, убитых как сельскохозяйственные вредители, по три пенни за шкурку<sup>11</sup>.

И все же этим утром Джимс взял лук и стрелы только потому, что они были так же неотделимы от него, как одежда, а вовсе не собираясь пускать их в ход. Все его существо переполняло ликование, смешанное с твердой решимостью. Он знал, что будет сражаться, если Поль Таш тоже приедет к Люссану, до мельчайших подробностей представлял себе это

сражение и, более того, предвидел его исход. Он встал на верный путь и вскоре поднимется на недостижимую высоту во мнении Марии-Антуанетты Тонтер; поднимется после того, как подарит ей отрез бархата. Само утро горячило кровь Джимса. Свежесть холмов и полян, пение птиц, красота синего неба и зеленой земли сливались в стройный хор и вторили песне его сердца — песне освобождения, избавления от гнета, до самого последнего часа томившего и терзавшего его душу. И теперь, когда задуманное близилось к свершению, он недоумевал, почему это не случилось раньше.

На ферму Люссана Джимс пришел первым. Было девять часов, а торги начинались не раньше одиннадцати. Люссан с женой, дочерью, двумя сыновьями и тремя рабами, предназначенными на продажу, с самого рассвета были на ногах, и Джимс сразу же нашел, чем им помочь. Над кучей раскаленных докрасна углей на железном вертеле медленно жарилась полть молодого быка. В уличной голландской печи пекся огромный каравай, скамейки были уставлены оловянными кружками и белоснежными деревянными блюдами. Люссан славился как мастер варить пиво, флип и виски, и на деревянной колоде три бочки с вынутыми пробками уже ждали, когда кто-нибудь из друзей или соседей пожелает отведать их содержимого. Начищенные до блеска пивоваренный аппарат и перегонный куб, за которые ожидалось особенно бурные торги, лежали за бочками и, сверкая на солнце, соблазняли глаза и искушали карманы покупателей. Люссан был состоятельным человеком, и на продажу выставлялось много вещей. Среди них возились три раба, чьи страхи немного улеглись после обещания хозяина не продавать их поодиночке.

Скоро Джимс оказался без дела и решил разыскать плуг, котел и ткацкий станок, которые хотел купить отец. В этих поисках он набрел на стол, заваленный самыми разнообразными предметами. Вдруг сердце чуть не выпрыгнуло у него из груди: на столе он увидел несколько книг на английском языке. Джимс не стал гадать, каким образом у Люссана, читавшего только по-французски, да и то нечасто, оказались английские книги; единственное, о чем он подумал, так это о том, как обрадуется мать, если удастся привезти ей такое сокровище. Книг было пять: «Малверн Дейр», «Эвелина», «Телемах», «Элоиза» и «Джозеф Эндрюс». Все названия показались Джимсу на редкость привлекательными, и он со всех ног помчался к Люссану осведомиться о цене книг и о возможности купить их. Люссан не видел особенных достоинств в английских изданиях и весьма сомневался в наличии шанса выгодно продать их; к тому же он был человек щедрый и, что еще важнее, успел отведать своего знаменитого пива. Посему он отдал Джимсу книги в качестве компенсации за услуги, которые тот в течение часа ему оказывал.

В восторге от сногшибательной и совершенно неожиданной удачи, Джимс с нетерпением дожидался отца и дядю Хепсибу, а также Тонтера и тех, кто приедет с ним. Ближайшие соседи прибыли прежде, чем Анри с шурином показались из леса. Не теряя времени, Джимс бросил связку книг в повозку и ремнем из оленьей кожи привязал Вояку к колесу. Он не хотел думать о том, что сделает пес, если будет на свободе во время его схватки с Полем. Ташем.

Час торгов приближался. Перед домом Люссана собрались добрые полсотни мужчин, женщин и почти столько же ребятишек, но Антуанетта и ее отец еще не приехали. Джимс выбрал место, откуда мог видеть дорогу, и когда услышал голос аукциониста, объявляющий начало торгов, то заметно приуныл. Однако уныние его как рукой сняло, стоило в полумиле от дома, в конце дороги, показаться троим всадникам. Первым скакал Тонтер, за ним — Поль Таш, в третьем седле покачивалась тонкая маленькая фигурка в широкополой шляпе — сама Мария-Антуанетта Тонтер.

Притаившись за деревом, Джимс наблюдал за небольшой кавалькадой, которая проехала так близко от него, что камешек, отброшенный копытом одной из лошадей, упал рядом с ним.

Мужество почти изменило Джимсу, и хотя при виде Поля Таша его кулаки сжались, стоило ему перевести взгляд на Туанетту, сердце у него дрогнуло. Туанетта неожиданно превратилась в молодую барышню. Джимс готов был поверить, что никогда прежде не видел ее. Эта перемена поразила его, на несколько мгновений он забыл, где он и кто он, и если бы кто-нибудь из троих всадников посмотрел в его сторону, то непременно заметил бы его. Как и Джимс, Туанетта не ощущала себя той десятилетней девочкой, которой была еще вчера. Сбылось одно из ее самых заветных желаний: ей позволили надеть первый раз в жизни костюм для верховой езды — только что привезенную из Квебека шитую золотом голубую амазонку. Из-под игриво заломленной набекрень касторовой шляпки со щегольским пером каскадами спадали тщательно подвитые локоны, чью свободу частично сдерживали три вплетенные в них ленты. Туанетта отлично понимала, насколько она хороша, и Джимс видел, как вся она напряглась от чувства собственного достоинства. Когда она проехала, его охватило удручающее сознание собственной незначительности, и он вдруг почувствовал себя совсем маленьким. Ведь Туанетта была уже не Туанеттой, а настоящей принцессой, и к тому же совсем взрослой; а Поль Таш, который теперь ехал рядом с ней, с напудренными, перевязанными лентой волосами, в красном камзоле, бросавшемся в глаза за целую милю, казался совершенно неуязвимым для любых заговоров и козней. Джимс вышел из-за дерева и наклонился за камешком, отброшенным лошадью Туанетты. До него долетал голос аукциониста и голоса покупателей. Вдруг все остальные звуки перекрыл раскатистый хохот. Где угодно узнал бы Джимс этот неукротимый порыв веселья. Так смеяться мог только его дядя Хепсиба.

Услышав радостный смех дядюшки, Джимс воспрял духом, и утраченное было мужество проснулось в нем с новой силой. Он вернулся на заросшую травой лужайку перед домом Люссана как раз в ту минуту, когда Поль помогал Туанетте сойти с лошади, и тут же, к своему удивлению и немалому восхищению, увидел, как дядя Хепсиба смело подошел к барону и протянул ему руку. Тонтер пожал ее, и вскоре Джимс увидел их обоих возле бочонка с флипом. Все это он заметил, стоя у края толпы, собравшейся вокруг аукциониста, который сотрясал воздух описаниями добра Люссана и призывами делать покупки. Этот человек, обладатель могучих легких, имел союзника и одновременно конкурента в виде бочек виски, флипа и нива. Движение людей между столом, на который взобрался аукционист, и бочками становилось все более оживленным, и если посетители на время отвлекались от приведшего их на ферму дела, то после очередного возлияния возвращались к нему — и в том был особый расчет Люссана — в более покладистом и уступчивом расположении духа и несколько распустив кошелек.

Не будь Джимс целиком поглощен предстоящей встречей с Туанеттой, развернувшееся перед ним шумное, красочное зрелище могло бы стать одним из самых волнующих событий в его однообразной лесной жизни. Даже аромат всякой снеди не привлекал Джимса. Голоса аукциониста и покупателей, громкие удары деревянного молотка, которые придавали законность каждой покупке, болтовня мужчин и женщин, возня детей, собачья драка — как далеко все это было от того, что он искал здесь. Но он не стремился приблизить исполнение своего желания недостойной поспешностью, поэтому прошло около часа, прежде чем он оказался рядом с особой, которая занимала все его мысли. Все произошло почти случайно, и Туанетта, скрытая пышными формами жены и дочери Люссана, вдруг оказалась на расстоянии фута от его плеча. Она не видела его, и он застыл на месте с бешено бьющимся сердцем, вдыхая аромат ее духов. Он оцепенел от близости ее пленительного существа, все исчезло для него — все, кроме ее широкополой шляпы, массы роскошных блестящих локонов, пламенеющих закатом лент, хрупких плеч... Но вдруг его рай рассыпался в прах: он увидел Поля Таша. Молодой человек только что предпринял поход к бочкам, и при виде Джимса губы его расплылись в презрительной улыбке. Заметив взгляд Поля, Туанетта обернулась и обнаружила

рядом с собой Джимса. Он стоял, держа в руках шапку и сверток, стараясь сделать вид, будто не обращает никакого внимания на присутствие соперника, отчего лицо его казалось неподвижным, почти застывшим.

Джимс протянул Туанетте свой дар.

— Дядя Хепсиба только что вернулся из Английских Колоний и принес мне вот это... для тебя. Ты не откажешься принять от меня подарок, Туанетта?

Джимс забыл про Поля Таша. Красные пятна выступили у него на щеках, когда Туанетта подняла на него глаза. Слегка улыбаясь, как будто что-то неведомое заставило ее забыть о высокомерии и чувстве собственного достоинства, она протянула руки, чтобы принять сверток. Джимс почувствовал на своей руке вышитую перчатку из оленьей кожи. Это прикосновение, порозовевшее лицо Туанетты, жест, каким она приняла его подарок... Кровь бросилась в голову Джимсу. После вчерашнего приема он и надеяться не смел на такую благосклонность, а Туанетта, обезоруженная неожиданностью его поступка, прекрасно отдавала себе отчет как в своей забывчивости, так и в близости еще одной пары глаз и ушей. Щеки девочки покраснели еще гуще, и, по ошибке усмотрев в этом доказательство ее удовольствия, Джимс уже ожидал слов благодарности, когда рядом с ним остановился Поль. Нарочито не замечая Джимса, кузен Туанетты взял ее под руку и повел прочь, предупредительно забрав у нее сверток. Туанетта обернулась и, не обращая внимания на следившие за ней глаза, улыбнулась Джимсу. Именно в это мгновение ее провожатый как бы случайно позволил свертку выскользнуть из рук и упасть на землю.

Поступок Поля, внушенный презрением к мальчику из леса и вполне достойный низости души, прикрытой показным богатством и нарядным платьем, в мгновение ока отвлек мысли Джимса от Туанетты. Ее близость, ее красота, ее благосклонность едва не заставили его забыть, ради чего он оказался на ферме Люссана. Но стоило Джимсу увидеть свой подарок на земле, как брешь в броне его намерений затянулась. В буре охвативших его чувств Туанетта мгновенно утратила всякое значение. Там, где только что он видел двоих, остался лишь один человек — Поль Таш. За считанные секунды Джимс повзрослел на несколько лет. Им овладела куда большая ненависть, куда более яростная и слепая жажда крови, жажда мести. Для помраченного рассудка, для глаз, не видящих никого и ничего, кроме обидчика, Туанетта перестала существовать, и он бросился поднимать сверток не с тем, чтобы вернуть его девочке, но чтобы, швырнув его в лицо сопернику, объявить ему непримиримую войну.

Джимсу вовсе не казалось странным, что этот момент наступает, наступает с неотвратимостью судьбы, словно о том позаботился его ангел-хранитель. Отойдя от суетящихся групп покупателей, Туанетта и молодой Таш не спеша направились к своим коням. Позволив собравшимся некоторое время повосхищаться собой, молодые щеголи прошествовали в сад за домом Люссана.

Тонтер и Хепсиба, улыбаясь во весь рот, наблюдали за симпатичной парочкой из-за бочки флипа, где их новоиспеченная дружба обрела весьма действенный стимул для быстрого укрепления. Барон издавал горлом громкие, похожие на смех, звуки и локтем подталкивал в глубоко упрятанные ребра человека, в котором вместо исконного врага обрел разговорчивого приятеля, вполне подходящего ему по характеру и склонностям.

— Посмотрите, посмотрите, друг Адамс, ни дать ни взять, пара павлинов на прогулке. Стоило моей красавице надеть это платье и большую шляпу, как она превратилась в настоящую женщину. А наш *petit maitre*<sup>12</sup> мнит себя взрослым мужчиной. М-да, скажу я вам, если ваш щуплый маленький племянник...

— Ш-ш... Ш-ш-ш... — перебил Хепсиба. — Вот и Джимс.

Джимс и не подозревал о подобном внимании к своей персоне со стороны старых вояк. Он

был всего в нескольких шагах от Поля и Туанетты, когда те завернули за дом Люссана. Увидев, что они идут по тропинке подальше от любопытных взглядов, мальчик немного успокоился и перевел дух. Он продолжил преследование только после того, как юбка Туанетты в последний раз мелькнула за углом. Бесшумно, по-индейски, он прокрался за ними и увидел, что они в растерянности стоят на краю сырой вонючей площадки рядом с хлевом, где скот и свиньи Люссана пробыли достаточно долго, чтобы переход через нее был не только неприятен, но и весьма рискован. Туанетта обеими руками придерживала юбку, и в ее глазах горело негодование. Она уже собиралась обрушить свой гнев на кавалера, который посмел завести ее в это полное нечистот место, когда Джимс вышел из-за кустов и оказался с ними лицом к лицу.

Он был бледен. Его худощавое тело напряглось, как тетива лука, глаза потемнели до черноты. Туанетту он не видел, и едва ли она занимала хоть какое-нибудь место в его мыслях даже тогда, когда гнев ее сменился удивлением и она заметила у него в руках тот самый сверток, который он отдал ей несколько минут назад. Джимс приблизился к Полю Ташу. Юноша, по ошибке приняв его медлительность и смертельную бледность за признаки замешательства и страха, попытался обелить себя в глазах Туанетты и высокомерным тоном обвинил Джимса в том, что тот шпионит за ними. Вместо ответа Джимс протянул руку со свертком. При виде свертка слова замерли на устах щеголя из Квебека. Джимс молчал, лицо Поля заливала густая краска. В отличие от Джимса он видел изумление Туанетты и догадывался о ее искреннем интересе к происходящему. Он быстро оправился от смущения и лицемерно протянул Джимсу руку.

— Прости меня, — извинился он. — С твоей стороны очень любезно принести пакет, который я... случайно обронил.

Джимс подошел на шаг ближе.

— Ты лжешь! — крикнул он и, размахнувшись, с яростью бросил сверток в лицо Ташу.

От удара Поль пошатнулся, и тут Джимс, как безумный, набросился на него. Раньше он ни с кем никогда не дрался. Но он знал, как действуют когтями животные. Видел, как совы в клочья раздирают друг друга. Однажды наблюдал за сражением двух могучих оленей, пока один из них не пал со сломанной шеей. Не раз смотрел, как осы-охотники отрывают голову добыче. В сотнях различных проявлений наблюдал он в природе противостояние и смерть. Все, чему он был свидетелем, все, что знал о мучениях, насилии, стремлении калечить, убивать, — все слилось в его жестоком, необузданном порыве. Поль Таш взвыл от боли, Туанетта пронзительно вскрикнула.

Джимс слышал ее крик, но оставил его без внимания. Он пробудился ото сна; Туанетта, ее близость, ее глаза, устремленные на поле битвы, — иными словами, волнующая картина, которую так часто рисовало его воображение, была вытеснена более живым и глубоким чувством: он жаждал крови Поля. Пальцы Джимса, как железные когти, впились в жабо и камзол Таша. Треск разрываемой ткани и пышный костюм, разодранный до самого пояса, говорили о силе первого нападения. Но на этом ярость Джимса не иссякла; в неистовстве он продолжал рвать, царапать, и, наконец, оба противника в рукопашной повалились на землю. Когда они поднялись на ноги — с трудом выпрямившись, Поль сбросил с себя Джимса, — то были так измазаны в грязи и навозе, что Туанетта, забыв о своем драгоценном платье, закрыла глаза руками. Но через секунду она уже снова смотрела на зрелище, которое в равной степени отталкивало и завораживало ее. Джимс встал, держа в руках увесистый ком грязи, и запустил им в Поля, да так метко, что серовато-коричневая масса почти целиком залепила лицо юноши. Когда потерпевший с бешеным ревом кинулся на своего щуплого обидчика, вид его являл столь резкий контраст с безукоризненной внешностью и манерами, к которым привыкла Туанетта, что от неожиданности у нее перехватило дыхание. И тут она увидела и услышала такое, что ни



глаза ее, ни женский инстинкт не могли не только понять, но и как следует разобрать, — судорожные сплетения и расплетения рук и ног, кувырканье тел, прерывистое дыхание, всхлипывания, рычание и, наконец, четкое и довольно громкое проклятие Поля Таша. И Джимс тут же отлетел в сторону и упал на спину.

Едва коснувшись земли, он вскочил, низко нагнул голову и, как бодливый баран, бросился на Таша. Но этот наглец, успев протереть глаза от залепившей их грязи, увидел бросок противника, отступил в сторону и нанес Джимсу хорошо рассчитанный удар, от которого тот снова полетел в грязь. Рука мальчика во второй раз зачерпнула пригоршню липкой жижи, и, вновь устремляясь в бой, он запустил ею в Поля. Наученный горьким опытом Поль ловко увернулся; ком пролетел у него над головой и, распадаясь на лету, свалился на Туанетту. При виде грязи, стекающей по ее нарядному платью, Туанетта испытала такой приступ ярости, что, ни секунды не медля, набросилась на Джимса, который мертвой хваткой впился в Поля и наугад молотил его кулаками, и обрушила на него всю силу своих кулачков и выразительность весьма изобретательного языка.

Джимс заметил, к какой трагедии привела его промашка, и знал, что в его волосы вцепились руки Туанетты, а не Поля. Бывает боль, несущая в себе частицу горького удовлетворения; нечто подобное пережил и Джимс, когда, отчаянно сражаясь на передовых позициях, почувствовал предательское нападение с тыла, — ведь Поль, а вовсе не он, был повинен в несчастье Туанетты. Если бы он так подло и трусливо не увернулся, грязь не попала бы в нее и ничего бы не произошло. Озаренный этой несокрушимо убедительной и справедливой мыслью. Джимс в считанные секунды воспылал решимостью, в сравнении с которой» прежние намерения утратили для него всякий интерес. Он сражался уже отнюдь не ради того, чтобы заслужить одобрение Туанетты. Теперь он сражался с ней самой, с Полем Ташем, со всем миром. И Туанетта, с корнем выдирая ему волосы, колотя его по спине, вознесла до эпических высот его роль в этом сражении. Тонкие руки и худое тело Джимса налились силой, даруемой мученичеством, и он бился с удвоенной свирепостью и напором; его более тяжелый, но менее выносливый противник не устоял, и оба снова повалились на землю. Туанетта упала вместе с ними; ноги ее запутались в длинной юбке и утратили боеспособность, широкополая шляпа съехала на лицо, тщательно завитые локоны расплелись и слиплись от грязи, но руки ее с прежней злобой колотили по ком попало.

Джимс чувствовал ее близость и более чем явственно ощущал на себе физическое проявление ее боевого духа, но в неразберихе происходящего не мог быть джентльменом и оградить ее от действий своих собственных рук, ног, зубов и головы. Наконец Туанетта выбралась из свалки и с трудом встала на ноги; ее лицо покрывали ссадины, волосы и платье пребывали в таком ужасающем беспорядке, что в ней никто бы не признал нарядную маленькую хозяйку поместья, которая совсем недавно гордо въехала па двор Люссана. Ее прекрасная шляпа превратилась в бесформенный грязный блин, платье, заляпанное землей и навозом, перекрутилось, словно его выжимали, руки и лицо были перепачканы, волосы перепутались и прилипли к голове. Несмотря на столь удручающее физическое состояние, дух Туанетты пылал сильнее прежнего и рвался в бой. Ей удалось сломать полегший в грязи и твердый, как дерево, стебель прошлогоднего подсолнечника и, не задев Джимса, нанести по голове Поля удар такой силы, что тот во весь рост растянулся у ее ног. Увидев дело рук своих, Туанетта издала некое подобие победного клича, хотя, возможно, то было рыдание, и вышла из борьбы.

Примерно за полминуты до блестяще задуманного, но неточно осуществленного удара Туанетты Джимс заметил, что ему становится все труднее дышать. Он был склонен объяснить это неприятное ощущение тем, что либо Поль, либо Туанетта, а возможно, и оба вместе колотят его деревянными молотками, вроде того, что был в руках аукциониста. Но такое впечатление

производили кулаки одного Поля, обретшие двойную силу и подвижность вследствие того обстоятельства, что зубы Джимса впились в одну из наиболее уязвимых частей его тела. Поль пришел в себя прежде, чем противник успел воспользоваться последствиями удара нанесенного ему Туанеттой, поэтому все, что произошло во время заключительного раунда схватки, так и осталось для Джимса предметом размышлений и догадок. Когда он очнулся, то увидел, что сидит на земле, что рядом никого нет и его никто не бьет. Поль и Туанетта находились вне пределов досягаемости, хотя он слышал их голоса и, повернув голову, словно в тумане увидел, как они направляются к дому Люссана. Джимс решил, что Поль трусил и убегает, и попробовал окликнуть его. Но у него перехватило дыхание, и он не смог издать ни звука. Он сделал попытку подняться, чтобы догнать своего побитого врага, но земля как-то непривычно качнулась, и все вокруг поплыло. Ему было больно дышать, к горлу подступала тошнота, из носа капала кровь.

Внезапно Джимса поразила страшная мысль. Потрясенный, он уставился перед собой невидящими глазами и не заметил, как шагах в двадцати из густых кустов показались две фигуры. Подозрение Джимса превратилось в уверенность. Он не проучил Поля Таша! Зато Поль Таш проучил его, да так крепко, что, поднявшись на ноги, он все еще чувствовал странную зыбкость и неустойчивость окружающего мира.

Когда Джимс окончательно понял, что потерпел поражение, в голове у него прояснилось, глаза обрели всегдашнюю зоркость, и он увидел, что, выйдя из-за кустов, к нему направляются дядя Хепсиба и отец Туанетты. Оба улыбались во весь рот, и, по мере их приближения, до Джимса все яснее долетали слова Тонтера, хотя тот и полагал, что говорит доверительным шепотом:

— Это в самом деле ваш *petit riveu*<sup>13</sup>, друг Адамс, или один из поросят Люссана, вылезший из лужи? Держите меня, а то я лопну от этого зрелища!

Но ответа Хепсибы Джимс так и не услышал. Улыбка исчезла с лица странствующего торговца, и на смену ей пришло далеко не веселое выражение.

Примерно через полчаса Джимс отмывался в укромном маленьком пруду недалеко от дома Люссана, а тем временем Хепсиба счищал следы битвы с его одежды.

Свою работу он сопровождал следующей речью:

— Еще раз говорю тебе, Джимси: пустив в ход кой-какие секреты ремесла, ты бы разделал под орех этого франта. Вот с ними-то я и начну знакомить тебя прямо сегодня. Ты должен работать кулаками, понимаешь — кулаками, а не зубами или, скажем, ногами. Ведь ты не какая-нибудь девчонка-француженка. Кусайся сколько угодно, но только если сумеешь добраться до уха или до чего-нибудь такого, но коль скоро ты соберешься откусить руку или ногу, так и знай: грызть их тебе до морковкина заговенья... разве что тот, другой парень, не сможет двигать своими окороками. А ты именно это и проделывал... да-да, кусался, а в перерывах лягался и царапался. И на славу же ты потрудился! Если бы не ввязалась маленькая злючка Туанетта, получив от тебя пригоршню грязи, ты бы еще больше отличился — ведь кто, как не эта милая барышня, так возил тебя за волосы, что Полю было где размахнуться и куда приложиться. Да, Джимс, тут тебе и жаркое, тут и подливка. Здорово тебя разделали, особенно под конец, — давненько мне не приходилось видывать такое. Но ничего, иногда не грех познакомиться с палкой — для образования пригодится, и здесь вовсе не за что краснеть и нечего стыдиться. То-то и оно! Когда я пришел в чувство там, в Олбани, то в благодарность за трепку, которую задал мне голландец, отдал ему прекрасную бобровую шкурку с западного берега Гудзона. Он многому научил меня, такого удовольствия я никогда не забуду! Чтобы не потерять форму, мужчине время от времени полезно получить встряску. По этой самой причине и ты сейчас находишься в лучшей форме, чем час назад.

Выбираясь из пруда, Джимс пребывал в некотором сомнении относительно справедливости последнего утверждения дяди. Холодная вода освежила его, придала сил, но один глаз у него затек, лицо покрывали синяки и царапины, суставы болели, тело ныло. Однако гнев его утих, и, когда он выходил из воды, в нем чувствовалась перемена; она была едва уловима и тем не менее не укрылась от пронизательности Хепсибы. Поражение не сломило мальчика; в позе его не было ни униженности, ни замешательства. Холодный блеск его глаз привел Хепсибу в восторг. В неожиданной схватке он увидел проявление истинного характера Адамсов. Ему даже показалось, что Джимс подрос на дюйм или на два и повзрослел на такое же число лет. Вояка, разделявший их компанию, и тот поглядывал на хозяина с любопытством, смешанным с уважением, чего прежде за ним не водилось.

Джимс обсыхал на слабом ветерке, Хепсиба с увлечением разглагольствовал об искусстве боя, но тут внимание обоих привлек треск в кустах. Звук, нарушивший спокойствие уединенного местечка, не смолкал до тех пор, пока кусты не раздвинулись и из них не появился Тонтер. Он двинулся к дяде и племяннику, держа в руках что-то ярко-красное, при виде чего Вояка задумчиво зарычал. Джимс пригляделся единственным открытым глазом, и его охватила дрожь. В не поддающемся описанию предмете он узнал то, что некогда было прекрасной шляпой Туанетты.

— Посмотрите, друг Адамс! — крикнул Тонтер. — Ее шляпа! Да и она сама от пяток до макушки ничуть не краше. Мадам Люссан с дочерью сейчас отмывают и расчесывают ее, а моя Туанетта во все горло визжит, чтобы ее пустили выцарапать глаза вашему звереньшу! Просто потеха. От одного ее вида смех разбирает. Придется ей отправиться домой в одежде Жанны Люссан, хоть она и велика ей размеров на семь! Видели бы вы ее вблизи! Клянусь, вы пропустили небывалое зрелище — она так извозилась в грязи и промокла, что велела мадам

Люссан сжечь амазонку и все остальное. Но хоть вы и пропустили картину, которую я не променял бы и на половину своих владений, то, по крайней мере, выиграли пари. Ваш petit neveu, в своем размере и весе, действительно величайший боец, какого мне приходилось видеть; он таки на много дней вывел мою дочь hors de combat<sup>14</sup>, хоть ей и не терпится снова с ним сразиться.

Заметив синяки на лице Джимса, его расстроенный вид, Тонтер торопливо подковылял к нему и дружелюбно положил руку на плечо.

— Будет, будет, приятель, не гляди так уныло! Не ты один виноват в том, что моя озорница ввязалась в драку. Стоило ей потерять нарядное платье да растрепать волосы, как от ее важности и следа не осталось. Ты меня понимаешь? Если нет — то знай, что ее ухажер сейчас тоже обряжается в домотканое платье: ведь ты нанес немалый урон по всей линии фронта. Когда-нибудь ты скинешь его в грязь и как следует вывозишь в ней. А если я собственными глазами увижу доказательство твоего подвига — подарю тебе коня, и домой из Тонтер-Манор ты отправишься на нем.

Тонтер на секунду замолк и, поднеся к глазам остатки шляпы Туанетты, оглушительно расхохотался.

— Видела бы все это ее мать! — проговорил он, немного успокоившись и глубоко вздохнув. — Патрицианская кровь aenei regime<sup>15</sup> смешивается с презренной грязью скотного двора! Аристократ повержен на землю низкорожденным готом и вандалом! Дочь благородной дамы начисто утрачивает неприступность и надменность от руки неотесанного юнца из лесной глухомани, какого-то Джимса Булэна! Крестьянин и принцесса в общей свалке, соль земли верхом на сопернике, не говоря уж о квебекском паше с косицей, — и все трое в одной навозной куче! Если бы она могла это видеть! Да ради такого дела я бы с радостью согласился быть похороненным заживо!

Примерно в середине этой речи Хепсиба Адамс крякнул и мрачно уставился на владетельного сеньора.

— Я что-то не совсем уразумел, что вы имеете в виду, упоминая готов и вандалов, и не могу припомнить, что сказано в Библии про соль земли. Но когда вы называете Джимса неотесанным юнцом из лесной глухомани и крестьянином и тут же говорите о каком-то навозе, то здесь ваш язык становится для меня понятней, — грозно проговорил Хепсиба. — А теперь слушайте, что скажу вам я: на свете еще не было рода, равного роду Адамсов, что бы вы там ни говорили про знатных дам своего семейства. А тот самый Джимс, о котором вы несете черт знает что, один из Адамсов и к тому же парень что надо, хоть его мать, к несчастью, и вышла за француза, когда меня не было поблизости. С того самого дня, как Старый Ник<sup>16</sup> сунул копыто в сад Эдема, Адамсы всегда были украшением человечества. Мы были воинами со времен первых драк, а когда раздоры между людьми сменяются вечным миром, то опять-таки один из Адамсов, а не какой-нибудь там французишка поставит точку в истории, которую мы помогали писать. Так что если у вас еще остались сомнения относительно достоинств этого мальчугана, уж лучше бы вам бросить их, а то можете разок-другой махнуть со мною и проверить, верно ли я говорю.

Тонтер покраснел от негодования.

— Вы осмеливаетесь намекать, что мать Джимса уронила свою честь, выйдя замуж за француза?

— Так далеко я не захожу, — ответил Хепсиба, — но могу пояснить свою мысль, сказав, что любой француз должен почитать себя чертовски везучим, когда он женится на женщине из рода Адамсов. То же самое относится и ко всем без исключения принцессам, носящим имя Тонтер.

Тонтер бросил шляпу Туанетты на землю.

— Такого оскорбления не потерпит ни один француз, сэр, — резко ответил он. — И, дабы усугубить его, вы даёте понять, что недостойную сцену у хлева учинила моя дочь?

— Не учинила, — возразил Хепсиба, — а занималась подстрекательством и принимала в ней участие. Уж за это я ручаюсь!

— Ваш племянник затеял драку без всякого предлога и объяснения!

— А ваша дочь влезла не в свое дело только для того, чтобы подлить масла в огонь!

— Джимс бросил в нее ком грязи!

— По чистой случайности!

— Нет, сэр, намеренно! Я видел!

— Неправда! — звонко крикнул Джимс. — Я не хотел попасть в нее!

Но двое мужчин, чья кровь изрядно распалилась вследствие настойчивого внимания к бочкам с флипом и крепким пивом, едва ли услышали возражения мальчика. Они вплотную подступили друг к другу, причем сеньор так раздулся, что его жилет чуть не лопнул, а Хепсиба стал засучивать рукава, и на его круглой физиономии появилась ухмылка.

— Значит, по-вашему, я лжец?

— И вы, и весь ваш род Адамсов!

Джимс вскрикнул, Вояка злобно зарычал — обоих встревожило что-то неожиданное и непонятное. Хепсиба произвел боевой выпад, но Тонтер оказался проворнее: он взметнул вверх свою деревяшку и, изловчившись, нанес ею сильнейший удар в висок англичанину, от которого тот свалился с ног. Дружественные отношения, возникшие было между мужчинами, с поразительной быстротой перешли в военное противостояние. Джимс пришел в ужас, когда услышал звук, который, по его мнению, мог издать либо треснувший череп дяди, либо разбитая вдребезги деревяшка Тонтера. Вид его неустрашимого родственника, поверженного на землю, окончательно лишил мальчика сил, и он, едва дыша, прирос к месту. Затем он увидел, как его поверженный идол наполовину приподнялся, но деревянная нога Тонтера нанесла по макушке Хепсибы еще один свирепый удар, от которого тот снова плашмя полег на траву. Долго сдерживаемое дыхание Джимса пронзительным криком вырвалось из груди, и он бросился искать палку. К тому времени, когда Джимс нашел подходящее оружие, полуоглохший Хепсиба ухитрился избежать третьего соприкосновения с занесенным над ним орудием Тонтера, и пытаясь противники, сжимая друг друга в яростных объятиях, катались у самой кромки пруда. Джимс отчаянно маневрировал, чтобы пустить в ход дубинку, но, прежде чем он сумел нанести хоть один удар, земля под противниками обвалилась, и они бухнулись в воду, откуда после непродолжительной возни, в результате которой, по мнению Джимса, обоим было суждено утонуть, Хепсиба выбрался на берег, спотыкаясь, отдуваясь и таща за собой барона.

Затем, к удивлению Джимса, его дядя отступил на шаг и, глядя на Тонтера, который тоже кое-как встал на ноги, схватился за живот и согнулся от смеха пополам. Отец Туанетты, чей пыл изрядно поостыл в студеной воде, не имел ничего против. Стоя с поднятой палкой, готовый нанести *coup de grace*<sup>17</sup>, Джимс увидел, как двое мужчин, несколько минут назад едва не задушившие друг друга, крепко пожимают друг другу руки.

Бросив палку, Джимс поспешил к своей одежде и стал одеваться. Вояка стоял рядом, чувствуя, что все случившееся выше его разума. Веселье бывших противников возросло еще больше, и наконец, в порыве вдохновения, Тонтер объявил, что должным образом подвести черту под досадным происшествием способно только одно — бутылка сливового бренди мадам Люссан.

Джимс дождался, пока они ушли. Он ничего не ответил на совет дяди никуда не уходить до его возвращения, поскольку следовать ему не имел ни малейшего намерения. Ни дружеская

похвала, которой наградили его Хепсиба до появления Тонтера, ни их неожиданная драка не притупили болезненного чувства в груди Джимса. То, что дядя похвалил его за храбрость в бою с Полем Ташем и, защищая его честь, не побоялся вступить в рукопашную с их соседом, пробудило в мальчике отвагу и гордость. И в то же время все затмевала щемящая тоска, перешедшая в жгучую боль, стоило ему посмотреть на измятые, оскверненные остатки шляпы Туанетты. Перед ним встало видение, которым он любовался час назад: роскошные шелковые волосы, струящиеся из-под шляпы, очаровательное розовощекое личико, блестящие глаза, а в них — непривычная для него дружелюбная улыбка. В пылу битвы с Полем эти детали вылетели у него из головы, но теперь ожили в воображении и казались гораздо более реальными, чем когда он воочию любовался ими.

В глубоком унынии смотрел Джимс на шляпу Туанетты. Она была для него символом трагического крушения всех надежд, и жалкие лохмотья не казались ему ни смешными, ни забавными. В них он видел не убогие остатки былой роскоши. То была сама Туанетта, ее частичка, изломанная, помятая и брошенная к его ногам, — символ жгучей ненависти к Полю Ташу, которая отныне никогда не умрет в нем. Джимс наклонился и поднял шляпу. Изысканное перо оторвалось. Поля обмялись. Во время потасовки барона с Хепсибой деревяшка Тонтера задела верх шляпы и проделала в нем большую дыру. Шляпа насквозь промокла и была в грязи, которая уже начала подсыхать. И все же пальцы Джимса никогда так не дрожали от волнения, как в те минуты, когда он держал шляпу в руках и внимательно оглядывался по сторонам, опасаясь, как бы его кто-нибудь не увидел. К горлу мальчика подступил комок, и Вояка, который тихо стоял рядом и не сводил глаз с лица хозяина, увидел, как на его ресницы навернулись слезы. Джимс смахнул их. Затем сел на камень у края пруда и погрузил шляпу в воду. Он полоскал ее до тех пор, пока она окончательно не превратилась в бесформенную массу, хотя ткань ее приобрела отдаленное подобие былой мягкости и блеска. Отмыв шляпу, Джимс вернулся к повозке отца за луком и стрелами. Не предупредив своих близких, он пустился в обратный путь и вовсе не чувствовал себя беглецом.

Он углубился в заросли и быстро зашагал через лес. Вояка трусил рядом. Новое ощущение захватило Джимса — ощущение свершившейся в нем перемены, духовного преобразования, физического роста. Окружающий мир был уже не тот, что утром, да и сам он стал другим. Если бы Катерина знала о сцене, разыгравшейся у Люссана, то по лицу Джимса догадалась бы о ее последствиях. Догадалась бы и испугалась. Ведь каждая мать страшится того дня, когда детство покидает ее дитя, когда, подобно прекрасной тени, оно улетает и на смену ему приходит более ответственная, а иногда и суровая пора жизни. Катерина всеми силами старалась отдалить этот день от своего сына, хотя в те времена и в тех краях тяготы жизни и общественные условия приучали податливую юность с молодых ногтей делить со взрослыми бремя долга. И вот, несмотря на все ее старания, день этот настал. Но Джимс, чувствуя прилив неведомого доселе волнения, не понимал его причин. Он повзрослел в одночасье. Ему казалось, что он многое потерял, тогда как на самом деле, утратив пустое и внешнее, он приобрел нечто значительное и глубокое. Поль Таш проучил его. Холодность и высокомерие Туанетты перешли в ненависть. Мечты разбиты. Радужные надежды рассеялись.

Но вот он идет через безлюдные просторы леса... и как непохожа на прежнего Джимса волевая решимость его лица, как не по-мальчишески тверд и спокоен его шаг. Утром его гнало вперед горячее желание; теперь, возвращаясь домой, он смутно догадывался, как глуп был поступок, сама мысль о котором родилась давным-давно — во времена неуверенности, сомнений, неопределенных, противоречивых желаний и порывов. Благодаря сражению, проигранному им Полю и Туанетте, его горизонт начал расширяться, мир — обретать форму, и центром, средоточием этого мира становился он сам. Он вновь сойдется в поединке с Полем

Ташем, но уже не как Джимс с фермы Люссана; и когда настанет этот день, — а он обязательно настанет! — Джимс не бросит ком грязи в лицо Туанетты Тонтер.

Как обрадовался бы Хепсиба крушению воздушных замков Джимса, отказу племянника от бесплодных мечтаний! Он бы чем угодно поклялся, что в мальчишке наконец выиграла кровь Адамсов, проснулся неукротимый боевой дух, заговорили непреклонная решимость и упорство. Даже Катерина не догадывалась о всей глубине и силе привязанности безрассудного бродячего торговца к ее сыну. Не подозревала она и о ревнивых опасениях брата, что какой-нибудь каприз судьбы, вроде ее замужества, превратит одного из Адамсов во француза. Но, после нескольких часов, проведенных в доме Булэнов, его дурные предчувствия рассеялись и на душе полегчало. Джимс больше, чем прежде, походил на мать: то же неуловимое выражение лица, та же спокойная сдержанность манер, чего Хепсибе не удалось обнаружить в Анри с его дурацким простодушием и упрямой верой в иллюзию прочного мира. Схватка Джимса с Полем Ташем окончательно утвердила Хепсибу в уверенности, что племянник — кровь от крови, плоть от плоти Адамсов, и радость его выразилась в торжественном возвращении под руку с Тонтером к бочонкам мадам Люссан. Если бы Катерина могла видеть схватку, доставившую дяде Джимса такое удовлетворение и польстившую его самолюбию, она, как Туанетта, в ужасе закрыла бы глаза, словно перед ней приподнялась завеса над страшным будущим. Иногда она с содроганием вспоминала детство Хепсибы, когда ввязываться в кровавые потасовки было для него величайшей радостью, когда — о чем теперь никто бы не догадался — он так напоминал Джимса худобой и яростным азартом, что в свалке их было бы не различить.

Вскоре после ухода Джимса с фермы Люссана Хепсиба обнаружил исчезновение племянника и, наскоро, попросившись с Тонтером и предупредив Анри, пустился за ним вдогонку. Быстрая ходьба, ароматы леса, поднимающаяся с земли прохлада выветрились из его головы последние воспоминания о хмельных напитках мадам Люссан, и чем дальше углублялся он в лес, тем большие сомнения овладевали им. Ему не нравилось, что Джимс ушел один, — уж больно это походило на бегство, на отступление. Он сквозь зубы проклинал барона за то, что тот соблазнил его уйти с пруда, и себя за то, что не устоял перед искушением. Несмотря на полноту Хепсибы, мало кто мог угнаться за ним. Примерно через полчаса он вдруг резко остановился: шагах в двадцати от него из-за куста вышел Джимс с луком наготове.

Если Хепсиба и сомневался в храбрости племянника, то бдительность мальчика, его готовность к действию развеяли все сомнения.

— Если судить о твоей штуковине чисто теоретически, можно считать, что меня уже нет в живых, — заметил он. — Джимси, я стыжусь своего легкомыслия и горжусь твоей осмотрительностью. С этого расстояния твоя стрела наполовину прошла бы меня!

— Не наполовину, а насквозь, — поправил Джимс. — Однажды я проделал это с оленем.

В голосе мальчика Хепсиба уловил нотку спокойной гордости, и глаза его заблестели от удовольствия.

— Почему ты убежал? — спросил он.

— Я не убегал, — ответил Джимс, и в его глазах, встретивших взгляд Хепсибы, зажглось негодование. — Это ты убежал от меня с Тонтером. Я бы никогда не ушел так с Полем Ташем!

Они пошли по тропе. Лицо Джимса было задумчиво и серьезно. Наконец, ласково положив руку на плечо племянника, Хепсиба прервал затянувшееся молчание:

— И что же ты думаешь обо мне, сынок?

— Я бы так не поступил. Я бы не ушел с тем, кого ненавижу, — ответил Джимс, глядя прямо перед собой.

— Но я не могу сказать, что ненавижу Тонтера. Скорее, он даже нравится мне.

— Тогда почему ты дрался с ним? И почему он чуть не убил тебя своей деревянной ногой?

Логика Джимса поставила Хепсибу в тупик, и он не сразу нашел что ответить. Холодные нотки в голосе, так не похожем на голос мальчика, которого он утешал и ободрял у пруда, насторожили Хепсибу, и он более внимательно, хотя и украдкой, взглянул на племянника. Дважды открывал он рот и дважды закрывал его, вспоминая о сестре и о разговоре, который они вели, когда Джимс уже спал. Но вдруг Хепсибу словно прорвало, несмотря на преклонение перед Катериной и данное ей обещание при Джимсе не слишком давать волю языку.

— Драка, — начал он приглушенным голосом, осторожно касаясь запретной темы, как будто Катерина была где-то поблизости и могла услышать его, — это дыхание самой жизни, острая приправа к существованию и самое разумное из всего, что придумали люди. Не будь драки, Земля уже давно приказала бы долго жить, то есть умерла бы. Это вид лекарства, и со временем, мальчуган, ты это поймешь. Она улучшает характер, обуздывает буйный нрав народов, указывает религии ее истинное место, врачует беды людские, как то и задумал Господь Сил. Говоря так, Джимс, я имею в виду, что самая большая и прочная дружба и между народами, и между отдельными людьми рождается в драке. Пожав руку человека, с которым только что дрался, конечно, если ты сделаешь это честно и открыто, ты становишься на всю жизнь его другом.

— Я ни за что не пожму руки Полю Ташу, — сказал Джимс. — Никогда. Когда-нибудь я обязательно убью его.

Хладнокровие племянника неприятно поразило Хепсибу. Продолжая прощупывать его настроения, он снова подумал о Катерине.

— Убийство, если речь идет не о войне, не лучшее, к чему может стремиться человек, — назидательно проговорил он. — А этого добра ты вдоволь насмотришься, прежде чем успеешь немного подрасти. Ну а до тех пор овладей приемами, которые я собираюсь тебе показать, проучи молодого Таша, а потом пожми ему руку. Ведь в этом истинный смысл и величие всей игры.

Свой панегирик Хепсиба закончил смехом. Напряженное выражение сошло с лица Джимса.

— Я никогда не подам руки Полю Ташу, — повторил он. — Я собираюсь проучить его. Когда-нибудь, возможно, я убью его.

— Так-то лучше, — одобрил Хепсиба. — «Возможно» вовсе не значит, что обязательно. И если когда-нибудь ты сочтешь необходимым положить конец его существованию, ни в коем случае не делай этого под горячую руку, мальчик. Добрая схватка, если, конечно, сражаются без задних мыслей, возвышает душу, заставляет не только плакать, но и смеяться, выпальвает репей и прочие сорняки из нашей жизни, расширяет кругозор, укрепляет волю. Но когда сражение отравлено ядом ненависти, когда каждый из противников преследует свои цели и выгоду и не способен рассмеяться, услышав треск собственной башки, как смеялся бы над треснувшей башкой соперника, такая схватка — противнейшая штука, способная всю Землю превратить в мерзость запустения. Нынче по всей стране распространяется эта чума, тот самый яд ненависти, что жег тебя во время схватки с молодым Ташем. Не за горами время — да что там, оно уже почти на дворе! — когда пламя ненависти разгорится по всему краю, оно охватит весь твой мир и будет таким яростным, что остановить его не сможет и сам Господь Бог!

Чувства, никогда не покидавшие Хепсибу, наконец вырвались наружу. Голос его набирал силу. Забыв и думать о Таше, Джимс слушал дядю, раскрыв рот и вне себя от изумления. Хепсиба устремился дальше, увлеченный видениями грядущих событий, о которых прошлой ночью он говорил Анри и Катерине. Чем ярче и красочнее живописал он картины резни и разбоя, захлестнувших безбрежные лесные просторы, тем жарче бурлила кровь в жилах Джимса.

— Тебе надо знать об этом, — объявил Хепсиба, словно бросая вызов сестре и шурина. — Скоро ты станешь мужчиной, Джимс, и если твоя мать и твой отец считают излишним



заботиться о себе, тебе придется сделать это за них. В будущем тебя ждет много сражений, и тебе неплохо бы подготовиться к ним, хоть я и не думаю, что следует говорить об этом твоей матери, как, впрочем, и обо всем, что я тебе сказал. Бьюсь об заклад, она только отчитает меня, а сестрица — мастер и похвалить, и отругать: слова не вымолвит, зато взглянет так, точно я ударил ее, да не чем-нибудь, а кулаком. Ведь ты ей ничего не расскажешь, правда?

Джимс кивнул.

— Тогда я до конца выложу все, что у меня на уме, — продолжал Хепсиба. — Все начинается с того, что мы называем ненавистью. Когда ты говоришь о своей ненависти к Полю Ташу, то лишь доказываешь, что тебя укусила змея, которую ты не в состоянии ни увидеть, ни пощупать, ни услышать, змея, рядом с которой болотная медянка — нежное и ласковое создание, в чьи глаза ты должен смотреть с любовью и самыми дружескими чувствами. Змея эта живет в нашей собственной крови, Джимси, и в ней причина многих несчастий. За последние годы она славно потрудилась в этой стране, и мы дышим воздухом, пропитанным ненавистью. А выпустили ее на свободу белые люди, как ты да я. Все началось с того, что там, внизу, мы стали ненавидеть французов, а французы стали ненавидеть нас. Затем мы научили индейцев ненавидеть наших врагов, а наши враги отплатили нам той же монетой. И наконец, не довольствуясь плодами своего коварства, мы натравили индейцев друг на друга. Это сделали мы, малыш, мы — белые потомки Сына Божьего; сделали при помощи нашей великой мудрости, нашего виски, наших ружей, нашей лживости. И вот среди сотен племен краснокожих от Великих Канад до Огайо нет ни одного племени, которое не ненавидело бы какое-нибудь другое племя, и все из-за того, что мы ненавидим французов, а французы ненавидят нас. Заруби себе на носу, Джимс: не индейцы стали приносить нам человеческие волосы, а мы послали их за ними. Нам понадобились доказательства, что они убивают наших врагов, — вот мы и стали требовать у них скальпы и платить за них звонкой монетой. Французы не отставали от нас. Цены на волосы мужчин, женщин и детей постоянно росли, и наконец белые люди сами занялись грязным ремеслом, которому они обучили дикарей. Жажда денег привела к такому соперничеству в охоте за человеческой кровью, что крышка вот-вот не выдержит и сорвется с котла, а уж там само небо при всей его безбрежности не сдержит того, что хлынет из-под этой крышки. Вот к чему приводит ненависть, ненависть между двумя породами белых людей, а когда все уляжется, — запомни мои слова, Джимс! — и те, и другие во всем обвинят индейцев! Ничто не сравнится с ненавистью белых людей, даже ненависть индейцев. Она более смертоносна, потому что за ней стоят сила и знания, которые спокон века одерживали верх над простыми людьми. Вот почему, говорю я, твое упорство в ненависти к Полю Ташу не делает тебе чести.

Джимс на время забыл Поля. Ему казалось, что знакомый и близкий мир тишины и покоя больше не существует. Он слышал о жутких, почти невероятных случаях на дальних границах, но то были смутные слухи, глухие сплетни. К тому же отец и мать, всю жизнь свою надеявшиеся на лучшее, раз и навсегда отказались верить всему, о чем теперь вещал вырвавшийся на свободу язык его дядюшки.

Хепсиба Адамс спешил высказать все, что тяжким бременем лежало у него на душе. Иногда он прерывался и рисовал на песке карту стран, которые вскоре должны оказаться в кольце войны, и отмечал их слабые и сильные пункты. Слушая дядю, Джимс погружался в иную жизнь, в иной мир. Хепсиба провел едва заметные линии, обозначив ими тропинки, особенно опасные во время вторжения, и, ткнув пальцем в место, названное им Заповедной Долиной, без колебаний заявил, что именно здесь моговки проложат себе дорогу огнем и томагавком. У Джимса перехватило дух, и он задрожал от волнения.

— Повторяю: ты уже достаточно взрослый и должен знать такие вещи, — продолжал

Хепсиба, вставая с песчаного бугорка. — Ну а теперь, когда я снял груз с души и предупредил тебя, вопреки желанию твоих родителей, я готов преподать тебе первый урок в искусстве нападения и защиты, и ты поймешь, почему не сумел проучить Поля Таша. Ты многому должен научиться: как толково вести ближний бой, как умело маневрировать, как сойтись и сцепиться с противником, как делать подсечку и душиить, как по-настоящему дать пинка лежа и стоя... Ну что, начнем?

Джимс с готовностью принял предложение дяди, и в течение получаса на маленькой лужайке Хепсиба наставлял его в искусстве ведения боя. Солнце уже давно клонилось к западу, когда дядя с племянником вышли из Большого Леса и увидели склон холма и дом Джимса. Казалось, мир и счастье распростирали над Заповедной Долиной свои золотые крылья. Джимс во все глаза смотрел на ее неподвижную красоту, на ее неброское очарование, спокойное дружелюбие. Слова дяди померкли перед куда более приятными мыслями, навеваемыми раскинувшейся внизу картиной. Из высокой каменной трубы серебристой спиралью вился дым. Джимс забыл драматические события дня. Он увидел мать среди ее любимых цветов, и сердце его забилось от радостного волнения, над которым не властно ни время, ни опыт. Он поднял глаза на стоящего рядом человека, словно желая оспорить справедливость его мрачных предсказаний, и обнаружил, что Хепсиба не видит ни сестры, ни дома у подошвы холма; что взгляд его устремлен поверх огромного леса, тающего в лазурной дымке, окутавшей Заповедную Долину.

Вояка стоял между ними и тоже, не мигая, смотрел поверх зеленых и бурых прогалин, как будто там, в необозримых просторах, скрывалась неразгаданная тайна, понять которую силилась его душа.

Хепсиба оторвался от своих мыслей и, добродушно улыбаясь, положил руку на плечо Джимса. Понимая, что их ждет, двое преступников покорились неизбежному и медленно спустились к дому — объяснять Катерине, почему у Джимса заплыл один глаз и припухла губа, а у его дядюшки разнесло челюсть.

В субботу Анри Булэн и Катерина вернулись к привычному распорядку весенних работ, прерванному по нескольким причинам. Сильные ночные дожди задержали паводки и оттянули окончание пахоты, кроме того, немало времени ушло на поездки в Тонтер-Манор и на ферму Люссана. За завтраком, во время которого Катерина сидела во главе стола с неприступным видом, убедившим Хепсибу и Джимса, что она не простила им ссору у Люссана, Анри сказал, что в субботу можно возобновить прерванную работу, как и в любой другой день. Хепсиба с жаром согласился и предложил свою помощь.

Когда Катерина узнала, что не кто-нибудь, а именно ее брат учинил недостойную драку с владельцем поместья, с которым она намеревалась более близко сойтись домами, ее чувствительная душа пережила подлинное потрясение, чего ей не удалось скрыть. Она не слишком доверяла уверениям Хепсибы, что он и Тонтер расстались лучшими друзьями. И даже когда Джимс подтвердил слова дяди и торжественно заявил, что сам видел, как они пожимали друг другу руки, в глазах ее тлела недоверчивость и возросшая подозрительность к брату, который — по ее глубокому убеждению — сбивал Джимса с пути. Хепсиба знал, что он в немилости и, возможно, пробудет в таком положении еще некоторое время, а то обстоятельство, что за ночь его челюсть здорово распухла, только усугубляло его неловкость и смущение. Всякий раз, когда сестра переводила на него взгляд, он вспоминал о позоре, который навлек на нее. Однако недовольство Катерины было гораздо меньше, чем она показывала Хепсибе. Ей никогда не удавалось подолгу сердиться на брата. Его добродушное безрассудство и бесшабашность побуждали ее относиться к нему почти с такой же материнской нежностью, как к Джимсу.

В этот день на небольшой вырубке на краю долины кипела работа. Небо сияло, воздух был свеж, мир — прекрасен. Забыв про свои оскорбленные чувства, Катерина напевала какую-то песенку. Уличная печь, сложенная из камней и глины, источала аромат пекущегося теста; в одном из отделений рядом с хлебом и оладьями сидело любимое лакомство Хепсибы — мясной пирог с толстыми аппетитными корочками и начинкой из отборных частей убитого Джимсом индюка. У гумна весело кудахтали курицы-несушки; минувшей ночью с триумфом вылупился из скорлупы целый выводок цыплят, внеся последний штрих в радостное настроение утра. Катерина смотрела на свои поля и чувствовала, что больше ей нечего желать. Она видела, как у самого края поля Анри, погоняя вола, переворачивает жирные пласты чернозема, а недалеко от него, на вырубке с еще не выкорчеванными пнями, Хепсиба и Джимс работают мотыгой, тяпкой и топором. С отрадой в сердце Катерина смотрела на занятых мирным трудом членов своей семьи, и в груди ее поднималась волна умиротворения и благодати. Сзывая близких к обеду, она уже решила простить брату его прегрешения.

Когда Хепсиба умылся и его румяная физиономия оказалась рядом с лицом сестры, Катерина обвила руками шею брата и поцеловала его в щеку.

— Я очень жалею, что мне пришлось рассердиться на тебя, — сказала она, и свет дневной вновь просиял для Хепсибы.

В тот день на усеянном пнями поле он еще ближе сошелся с Джимсом. Вместе они копали, поддевали, выгаскивали, одерживали небольшие победы над неподатливыми сучьями и корнями, а в передышках разговаривали о множестве вещей, представлявших для младшего из собеседников самый живой интерес. Видя, как напрягаются могучие мускулы Хепсибы и пот катится по его лицу, Джимс ощутил в собственном теле неведомый прежде трепет — работа рядом с дядей казалась ему не просто обыкновенным напряжением сил; что-то пробуждалось в

нем самом, и это что-то доставляло ему истинное удовольствие. Хепсиба разговаривал и работал с ним, как с равным — как с мужчиной. Он поведал племяннику о многом таком, о чем тот никогда не слышал, — от политики и собственных походов до возможностей и соблазнов, ожидающих молодого человека на границе. Иногда голова Джимса не справлялась с обилием сведений, которые он пытался запихнуть в нее. Хепсиба, со своей стороны, открывал в племяннике такие качества, как чувство товарищества и сметливость, отвечавшие его давним заветным желаниям.

Бывало, вечером, закончив работу, Анри бродил с Катериной по расчищенному от леса участку. Они радовались плодам трудов минувшего дня, строили планы на день грядущий и всегда мечтали о том времени, когда ферма Булэнов вырастет вглубь и вширь и будет занимать сто акров земли вместо нынешних тридцати. В их воображении будущие поля, луга, сады и огороды рисовались так явственно и живо, словно уже существовали в действительности. Они часто в подробностях обсуждали все это, и Катерина уже определила место для ограды с воротами и турникетом, отметила деревья, которые ей не хотелось вырубать. В тот вечер, взволнованная и обрадованная приходом Хепсибы, Катерина рассказала брату о своей мечте — огромном яблоневои саде, который раскинется от Большого Леса по всему южному склону, и в числе его будущих обитателей назвала своих любимцев: ньютонский пепин и макинтош, римскую красавицу и северного разведчика, несколько желтянок, — их можно есть прямо с ветки. Там, где сейчас растет дюжина деревьев, только начавших плодоносить, через несколько лет будет целая сотня, а то и больше, сказала она. Но разбивка сада была не самым срочным и не самым тяжелым делом. Анри напомнил, что прежде надо вырубить и выкорчевать несколько акров леса, расчистить низины и прорыть на них каналы, освободить от пней, осушить и превратить в луг вырубку за каштановой рощей. Поле, где работали Хепсиба и Джимс, было в пять арпанов, или семь с половиной английских акров, и Анри рассчитывал следующей весной выкорчевать на нем все пни и подготовить его под плуг. Он взял за правило каждый год отводить под пахоту по пяти арпанов — таким образом, через десять лет зерновыми у него будет занято более ста акров. Ни Анри, ни Катерина не боялись работы. Когда они предавались мечтам о создании своего маленького мира, лица их сияли радостью и счастьем.

— И тогда во всей Новой Франции не будет уголка красивее нашего! — воскликнула Катерина. — К тому времени Джимс женится и обзаведется ребятишками, которые будут играть в этом раю. А вон там, Хепсиба, где видны высокие дубы и два огромных каштана, мы построим для него дом.

Немного позднее, перед сном, Хепсиба задержался, чтобы выкурить трубку под сводом усыпанного яркими звездами неба. Глубокая тишина казалась еще гуще, еще плотнее от едва уловимых звуков жизни, от мерного дыхания земли, шуршания растущих трав, неумолчно» мелодии ветра, нежно порхающего над безбрежным морем лесных вершин. Он слышал уютное сопение вола в хлеву, журчание воды в ручье. Невдалеке залился прекрасной, волнующей песней одинокий козодой, на границе дальних болот ему ответил еще один. Козодоев Хепсиба любил больше других птиц — как дневных, так и ночных. Их склонность к уединению и трогательная меланхоличность были ему чем-то сродни. В хорошем настроении он часто мастерски подражал их голосам, и птицы отвечали ему. Но в этот вечер он не слышал их призывов, и дух его вряд ли охватило невольное томление от красоты неба, вспыхнувшего серебристым свечением на востоке — там, где луна вот-вот зальет своими лучами Беличью Скалу. Его глаза видели только одно: непроглядный мрак, нависший над Заповедной Долиной; уши напряженно пытались уловить звуки, которые — он был твердо уверен — в один прекрасный день разнесутся над долиной. Он думал о планах Катерины, о ее грезах, развеять которые у него не хватало сил, о ее вере в счастье, которые ему не удалось омрачить грозными

пророчествами. Он чувствовал, что потерпел неудачу, сознавал свое полное бессилие перед тем, что назревало вокруг. Заповедная Долина, вероломная в своей красоте, под улыбающейся маской мира затевающая ужасное, одержала над ним полную победу, и в ее триумфе он ощущал что-то осязаемое и одушевленное.

Хепсиба полагал, что он один, но, повернувшись к дому, увидел Джимса. Даже натренированный слух Хепсибы не уловил его приближения. Несколько мгновений Хепсиба внимательно изучал лицо племянника. Мальчик был красив столь необычной красотой, что это не могло не поразить даже такого неискушенного лесного жителя, как Хепсиба. Он походил не на существо из плоти и крови, а на призрачное видение минувших лет. Только однажды в жизни видел Хепсиба тот лучезарный, вдохновенный свет, каким светилось сейчас лицо Джимса: им светилось лицо Катерины в лишенные тепла и ласки дни после смерти их матери.

Джимс первый нарушил очарование, подойдя ближе к дяде.

Хепсиба показал на разлившееся перед ними море тьмы.

— Ты хорошо знаешь эту долину?

— До озер, куда мы ходили собирать ягоды и охотиться на дичь.

— Не дальше?

— Совсем немного. Охотиться удобнее всего между нашим домом и землями Тонтера, а в долине мы добываем сало для свечей. Там много еды для медведей и в озерах полно рыбы, которую мы кладем в капканы.

— А вам не приходилось видеть какие-нибудь следы, кроме следов оленей, медведей и дикобразов?

— Да, попадались следы мокасин.

Гало вокруг восходящей луны превратилось в пламенеющий шар; он медленно поднимался над Беличьей Скалой. Джимс не отрываясь смотрел на него.

— Завтра я собираюсь прогуляться к озерам, — сказал Хепсиба. — Думаю разведать, что там, за ними. Хочешь пойти со мной?

— Я пойду вон туда, — ответил Джимс, кивая в сторону восходящей луны. — Я хочу увидеть Туанетту и сказать ей, что жалею о вчерашнем случае.

Хепсиба подсыпал в догорающую трубку свежего табака и слегка примял его большим пальцем. Затем искоса посмотрел на Джимса, и в профиле мальчика, при мягком ночном свете похожем на профиль матери, увидел решимость столь же бесстрастную, как и его голос.

— Это решение достойно истинного Адамса, малыш, — похвалил он племянника. — Еще не бывало, чтобы превратности любви или войны заставили хоть одного из Адамсов забыть о манерах, подобающих джентльмену. Извиниться перед Туанеттой — прекрасная, благородная мысль... хоть ты и был прав. Я пойду с тобой, а поход в долину отложу до другого раза.

— Я не собираюсь драться, — сказал Джимс. — Мне надо увидеть Туанетту, и я хочу пойти один.

Когда в воскресенье утром Джимс отправился в Тонтер-Манор, его целиком занимала одна мысль: как бы ни было велико искушение, он ни за что не станет драться с Полем Ташем. Он сказал матери, куда и зачем идет. Ее одобрение воодушевило его, и он шагал в поместье полный энергии и самых радужных надежд.

Итак, чувства и мысли Джимса отличались от тех, с которыми он отправлялся сразиться с Полем Ташем, и надо сказать — нынешние намерения представлялись ему куда более важными, чем любое физическое возмездие, какое он мог бы обрушить на своего соперника. Смягчить ожесточившееся против него сердце Туанетты, вернуть приветливость ее улыбке, увидеть в ее глазах свет ласки и нежности, что она едва не подарила ему на ферме Люссана, — вот мысли, неотступно занимавшие Джимса. Воспоминания о Туанетте, о чувствах, промелькнувших на ее

лице, заставили Джимса забыть о ее ударах и злом языке. Поначалу довольно неопределенное и туманное, это воспоминание крепло и обретало четкую форму. Оно преследовало его весь день, пока он работал рядом с дядей топором и лопатой. И сейчас ему казалось, что оно играет в льющихся с неба солнечных лучах, вплетается в залиvistое пение птиц, смешивается с прохладными ароматами погруженного в рассеянный сумрак леса. Джимсу не терпелось снова увидеть Туанетту и предложить ей все, чем богат его маленький мир, возместить причиненный ей ущерб и загладить нечаянно нанесенное унижение. Не по годам развитое чувство рыцарской чести поднималось в нем над прозаическими соображениями об истинном и ложном. Джимс был уверен, что в недавней ссоре прав он, и тем не менее шел с повинной. Он не подозревал, что за два коротких дня прошли годы, и новый Джимс идет теперь к новой Туанетте. Его страх перед ней прошел; его больше не угнетало сознание собственной незначительности. Он шел в Тонтер-Манор, и мысль о неполноценности собственной персоны впервые не пробуждала в его душе дурных предчувствий. Произошло чудо, и, даже не догадываясь о нем, но остро ощущая его последствия, Джимс расстался со вчерашним днем.

Когда Джимс вышел на поляну, где несколько дней назад убил индюка, он едва ли задумывался о том, как это место повлияло на развитие его чувств и настроений. Поль Таш не играл никакой роли в планах Джимса, разве что попробует вмешаться и не позволит ему сразу же приступить к выполнению задуманной миссии. Но даже в этом случае Джимс твердо решил не драться с ним.

Джимс подходил к поместью, укрепив сердце мужеством и гордо подняв голову; и если в жилах Адамсов и впрямь текла кровь рыцарей, то именно она выиграла в их потомке, когда тот увидел перед собой Тонтер-Хилл.

На вершине холма Джимс остановился. Ни один рыцарь не любовался более прекрасным королевством, чем раскинувшиеся внизу обширные владения. Прежде они внушали Джимсу благоговейную робость: вступая в них, он чувствовал себя нарушителем границ, ничтожным существом, проникшим в царство принцессы, до которой ему было далеко, как до солнца. Сила и богатство Тонтера страшили и подавляли Джимса. Бессчетные акры плодородной земли. Дом и церковь, похожие на крепость. Великая река, которую он охранял для короля Франции. Мили и мили диких просторов, озеро Шамплен, мерцающее в далекой голубой дымке, тайна, необыкновенные приключения, трепетное ожидание чего-то неведомого, незнакомого... волновали его и вызывали ощущение потерянности. Как-то раз, очень давно, перед спуском с холма Джимс и его родители отдыхали на этом самом месте; тогда он и услышал впервые их разговор о войнах, в которых сражался Тонтер, как он удостоился благосклонности короля, каким образом вышло, что Туанетта унаследовала капельку крови от королевы Франции. Его мать весело смеялась над этой подробностью, чем вызвала недоумение Джимса. Он удивился еще больше, заметив, с каким серьезным видом она слушает увлеченный рассказ отца о тех днях, когда прадед Тонтера, Авраам Мартэн<sup>18</sup>, был Королевским лоцманом Квебека и другом великого Шамплена<sup>19</sup>. Вот почему, как бы он ни храбрился, спускаясь в долину, где жила принцесса, душа Джимса всегда была не на месте. Но теперь все изменилось. Можно было подумать, что он вернулся после долгого путешествия, вернулся во всех отношениях равным обитателям долины на берегу Ришелье.

Мальчик и собака немного посидели на вершине холма, любуясь гордой красотой владений Тонтера. Странная фантазия пришла на ум Джимсу. Он вообразил, будто сражается за право стать полновластным хозяином на своей земле — так, как предсказывал ему дядя и как сражался Тонтер. Стрела честолюбия пронзила сердце мальчика. Ему открылся мир куда более обширный, чем он мог помыслить, и везде, во всех уголках этого мира, была Туанетта. Ради нее он станет тем, чем стал ее отец, — он станет великим человеком! Но сперва надо извиниться

перед ней. К этому призывало не чувство долга, но пламя пробудившегося сознания, — оно вдохновило Джимса предпринять сей крестовый поход, чреватый неожиданностями, предугадать которые не могло даже его разыгравшееся воображение.

Он уже начал спускаться по извилистой тропе, когда какой-то всадник пересек луг у подножия холма и въехал на узкую тропинку. Это был Тонтер. Стоя в зарослях, Джимс видел, как он скрылся в направлении Заповедной Долины, и его очень удивило мрачное, тревожное выражение лица барона.

Джимс спустился с холма и, объяснив Вояке, что тот должен остаться в лесу и ждать его возвращения, решительно зашагал к дому Тонтера. Здание было выстроено из бревен, поскольку любовь барона к дереву победила искушение строить из камня, перед которым не устояли многие сеньоры с берегов Ришелье и Святого Лаврентия. Джимсу казалось, что этот дворец из гигантских деревянных брусьев, изрядно потемневших от времени и непогоды, может служить жилищем самому королю. Для обороны в нем проделали бойницы, окна снабдили тяжелыми дубовыми ставнями с крепкими засовами. Недалеко от дома стояла церковь, еще больше похожая на крепость, — ее окна были выше, дверь массивнее, под крышей имелась щель, через которую во врага могло стрелять сразу пятьдесят человек. Как из дома, так и из церкви защитникам поместья ничего не стоило залить реку ружейным огнем. С противоположной стороны располагались скотные дворы, мельница и, насколько хватало глаз, по вырубкам тянулись дома с бойницами и прочными ставнями, принадлежавшие фермерам — вассалам владельца поместья.

Вскоре нога Джимса ступила на тропу, ведущую к дому барона. Стояла такая тишина, что мужественно поднимаясь по ступеням дома Туанетты, Джимс с полным основанием мог бы заключить, что все кругом спят. На двери висел большой черный молоток из помятого железа. Он изображал ухмыляющегося людоеда, чья голова, похожая на горгойла, с давних пор запечатлелась в памяти Джимса как воплощение сурового, неприступного духа, охраняющего комнаты. Только дважды слышал Джимс его призыв к обитателям дома. И вот сейчас его собственная рука потянулась вверх, чтобы пробудить глухой гром его голоса.

Пальцы мальчика коснулись холодного железа. Поднимая молоток, он вдруг немного заколебался — дверь была приоткрыта на несколько дюймов. Через щель доносился высокий сердитый голос мадам Тонтер. Джимс сиял молоток с металлической панели и уже собирался постучать, как услышал имя, которое заставило его замереть и затаить дыхание. То было его собственное имя. Вовсе не стараясь услышать, о чем говорят в доме, но против воли оказавшись в щекотливом положении подслушивающего, Джимс узнал, почему Тонтер скакал по холму с таким недовольным лицом.

— Это отнюдь не то место, куда пристало ездить дворянину Новой Франции, — говорила мать Туанетты. — Анри Булэн глупец, что женился на англичанке, а Эдмон еще больший глупец, оттого что не выгонит ее отсюда после того, как ее отпрыск учинил разбой и убийство прямо у наших дверей. Несмотря на смазливое личико, растопившее глупое сердце Эдмона, эта женщина прирожденная шпионка, а ее мальчишка — такой же англичанин, как и она. Им обоим нельзя разрешать жить по соседству с нами, по Тонтер без зазрения совести навещает их и упрямо называет своими друзьями. Их дом надо сжечь, а англичанку с сыном отправить туда, откуда она явилась. И пусть Анри Булэн убирается с ними, раз уж он предпочитает быть ренегатом, а не французом!

— Фи. что за мысли, Анриетта, — пожурила сестру мадам Таш. — Я не меньше тебя и Туанетты презираю англичан, но обрушивать на головы этих двоих такие инвективы просто несправедливо даже при том, что женщина явно гордится своим хорошеньким личиком, а ее мальчик — суций разбойник-грязевержец. У Эдмона добрая душа, и он питает к ним

расположение из жалости.

— Жалость! — фыркнула мадам Тонтер. — В таком случае его жалость — прямое оскорбление мне и Туанетте. Чувствуя его расположение, эта английская особа настолько обнаглела, что улыбается и смеется мне в лицо с непринужденностью знатной дамы и, как колдунья, распускает волосы, чем приводит тебя в восторг.

— Потому что я попросила ее, — сказала мадам Таш. — Уж не из-за этого ли ты так сердишься, Анриетта?

— Я сержусь потому, что она англичанка, а ее сын англичанин, но им все же позволяют жить среди нас, как если бы они были французами. Говорю тебе: когда подоспеет время для предательства, они станут предателями.

Джимс застыл на месте, его пальцы изо всех сил сжимали молоток. Но вот он услышал еще один голос и узнал Туанетту.

— По-моему, мать Джимса довольно мила, — сказала она. — Но сам Джимс — мерзкий английский звереныш!

— И в один прекрасный день этот звереныш поможет перерезать нам горло, — неприятным голосом добавила ее мать.

Мадам Таш улыбнулась.

— Как плохо, что эта женщина так красива, — добродушно проговорила она, — иначе ты не питала бы к ней такой неприязни. Что касается мальчика, то не следует строго судить его за неумение сдерживать свои порывы. Признаться, я сочувствую бедному маленькому бродяге.

— Но это не резон для моего мужа унижать меня поездками к его матери, — раздраженно заметила супруга барона. — Если Эдмона привлекает ее нескромность...

Большой железный молоток с громом обрушился на дверь, и, прежде чем слуги успели ответить, дверь комнаты распахнулась и в ней показался Джимс. Увидев мальчика, женщины замолчали. Слово не замечая их, Джимс смотрел только на Туанетту. Несколько мгновений он стоял, не говоря ни слова: его стройная фигурка напряглась и застыла. Затем, памятуя наставления матери, Джимс вежливо склонил голову. Когда он заговорил, голое его звучало ровно и так же спокойно, как голос мадам Таш.

— Я пришел сказать тебе, Туанетта, что жалею о случившемся у Люссана, — произнес он и наклонил голову чуть ниже. — И прошу тебя простить меня.

После этого даже Туанетта Тонтер не могла думать о нем как о звереныше; хотя лицо Джимса было очень бледно, от осанки мальчика веяло бесстрашием и гордым достоинством. Пока сидевшие в комнате с удивлением смотрели на незваного гостя, тот невозмутимо повернулся и вышел так же неожиданно, как появился. Большая дверь закрылась за ним, и Туанетта, взглянув в окно, увидела, что он спускается по ступеням. Наконец с уст хозяйки дома сорвалось негодующее восклицание. Но Туанетта не слышала его. Ее взгляд следовал за Джимсом, который уже пересек поляну перед домом и вышел в поле.

У подножия Тонтер-Хилл навстречу Джимсу осторожно вышел Вояка, но хозяин, казалось, не заметил его, и, лишь дойдя до того места на вершине холма, где они недавно отдыхали, остановился и потрепал собаку по загривку. Затем он обернулся и окинул долгим взглядом владения Тонтера. Душа его болела. Еще ярко светило солнце, пели птицы, безбрежное море леса, залитое золотыми лучами, было прекрасно как никогда, но Джимс видел все окружающее уже не в столь розовом свете. С роскошной долины — источника всех его надежд и мечтаний — он перевел взгляд на юг, на мерцающую вдали гладь озера Шамплен, за которым жили могавки и лежали земли народа его матери. В его жилах текла кровь этого народа, и именно ее так ненавидели Туанетта и ее мать.

Джимс положил руку на голову Вояки, и они пустились в обратный путь. Пес внимательно



приглядывался к лесу, ловил его запахи; но стражу нес он один — Джимса вовсе не интересовало, что скрывается за деревьями или таится в кустарнике. Почти по всей тропе отчетливо виднелись следы копыт лошади Тонтера. Они сразу привлекли внимание Джимса, поскольку именно Тонтер и его поездка в Заповедную Долину занимали все мысли мальчика.

Войдя в Большой Лес, Джимс сбавил шаг и подошел к дому со стороны восточной опушки. Издали он не заметил возле дома ни Тонтера, ни его коня, ни какого-либо движения, но, подойдя ближе, через отворенную дверь услышал звуки, которые встревожили его. Мать плакала. Джимс вбежал в дом и увидел, что она сидит, опустив голову на руки, и плечи ее содрогаются от рыданий. Услышав испуганный голос сына, Катерина подняла мокрое от слез лицо и попыталась улыбнуться. Попытка не удалась, и через мгновение она вновь рыдала, прижав лицо к плечу Джимса, словно он был взрослый мужчина, и она искала у него утешения.

Чем дальше слушал Джимс сбивчивый рассказ Катерины, тем большее смятение и страх овладевали им. Прежде всего он понял, что день начался для матери вполне счастливо. Судорожно сжимая сына в объятиях и время от времени принимаясь плакать, Катерина рассказала ему, как она гордилась его решением помириться с Туанеттой, как радовалась возвращению Хепсибы. Кроме того, из поместья приехал Тонтер, и это событие превратило для нее утро в настоящий праздник.

— Мне казалось, что они были рады видеть друг друга — твой дядя и барон, — со стоном проговорила она, и дурные предчувствия Джимса усилились. — Мы поговорили про тебя и Туанетту... Они шутили и смеялись. Он был очень доволен, когда я попросила его остаться на обед... и они ушли под руку... а затем, ох, Джимс, Джимс, они спустились в поле и ужасно подрались!

Катерина разжала руку и, вытирая глаза влажным скомканным платком, беззвучно зарыдала от отчаяния.

— Твой отец отправился с волом и повозкой забрать мсье Тонтера!

Джимс мельком взглянул в окно и увидел, как в сторону поля медленно движется названное матерью средство передвижения, а рядом с ним, помахивая кнутом, идет отец. Опасения за мать сменились еще большим страхом, и, не дожидаясь, пока она успокоится или снова зарыдает, мальчик выскочил из дома и помчался на поле боя. Он немного скосил путь и, пробежав через огород, прибыл на место раньше отца, задыхаясь от быстрого бега. Ни дяди, ни барона не было видно, и если бы не Вояка, то Джимс решил бы, что на поле никого нет. Следуя за собакой, Джимс нашел их в самом конце вырубки, рядом с кучей пней, которые накануне он помогал корчевать. Еще не видя ни того, ни другого, он услышал громкий голос Тонтера и понял, что барон жив.

— Я вырежу печень бесчестному негодяю, сделавшему мне эту ногу! — в ярости кричал сеньор. — Его следует четвертовать и повесить за то, что он берет для такого дела пекановые чурки с трещиной. Нудь у меня нормальная нога, сэр, вы бы летели вверх тормашками через эту кучу пней: удар был, как всегда, хорош!

Джимс остановился и, переводя дыхание, размышлял над тем, что, к удивлению своему, не услышал ответа.

Отдышавшись, он осмелился подойти ближе и увидел Хепсибу Адамса. Тот сидел на земле, прислонившись к пню, руки его безжизненно висели по бокам, круглые глаза были широко раскрыты, а на лице застыло довольно глупое выражение.

— Возмутительное нарушение всех правил! — снова гаркнул Тонтер. — Пекан, сэр, — не яшень, не вяз, не каштан — пекан, выдержанный в течение года, как он уверял меня, — и вот вам, трещина почти по всей длине, старая трещина — слепому видно! Я убью его!

Джимс, не отрываясь, смотрел на дядю. Хепсиба закатил глаза и попробовал ответить. Но

его лицу расплзлась болезненная гримаса.

— Я сделаю вам ногу. Надежную ногу, друг, — чуть слышно сказал он. — Хорошую ногу... лучше, чем эта... тоже из пекана... ногу на славу... безо всяких там скрытых трещин.

— С такой ногой ни одна корона во всем христианском мире не устояла бы против удара, который я вам нанес, сэр, — ответил Тонтер с того же невидимого Джимсу места. — Удар с точно рассчитанным наклоном; он настиг вас в тот самый момент, когда вы сделали выпад. Из-за него у меня вывихнулся позвоночник, сэр... такая в нем была сила! Вы признаете себя побежденным или воспользуетесь моим положением — тем, что биться мне нечем, да и стою я всего на одном штыре?

— Я немного оглох, брат, — признался Хепсиба, которому наконец удалось поднести руку к голове. — Но хоть вы и в прибыли, мне не очень по душе ваша хвастливость. Меня бивали и посильней, но деревом... никогда. Такое со мной впервые. Правда, повторить свой финт вам все равно бы не удалось, и как только я сделаю вам новую ногу, то докажу это.

Джимс услышал гроыхание приближающейся повозки и подошел к барону и дяде. Отец Туанетты, как и Хепсиба, сидел на земле. Измазанная землей одежда барона была в полнейшем беспорядке, на щеке выросла шишка, а деревянная нога — как сразу заметил Джимс — сломалась около колена. Вскоре на иоле боя, с появлением Джимса, погрузившегося в глубокую тишину, прибыл Анри Булэн со своей повозкой.

Первым делом Анри помог Тонтеру.

— Если об этом унижении и бесчестье станет известно, я — конченный человек, сэр, — объявил барон, позволив Анри поднять себя с земли и с его помощью стоя на единственной ноге. — Прыгать, как жаба, или тащиться с вами в повозке, словно мешок с зерном! Клянусь богом, сэр, я сгораю со стыда!

Джимс подошел к дяде и помог ему подняться на ноги. Хепсиба стоял, слегка покачиваясь, и с веселой признательностью наблюдал, как Анри грузит Тонтера в повозку.

— Да он презнатный лжец, Джимс, этот самый Тонтер, — заявил Хепсиба. — Готов поклясться, что стукнула меня вовсе не его деревянная нога, а какая-нибудь железяка, запущенная самим дьяволом, или один из этих пней, которые летают, когда им вздумается. Знатный удар!

Хепсиба попробовал двинуться с места и непременно упал бы, если бы Джимс, напрягая все силы, не поддержал его. Благополучно погрузив Тонтера, Анри пришел на выручку шурина, и тот, как пьяный, пытаясь сохранить хоть видимость равновесия, позволил поднять себя и усадить рядом с бароном.

Никогда еще в жизни Катерины не выпадало дня, столь щедрого на разнообразные случайности, как то майское утро. Многие повидав собственными глазами, Катерина все же не могла взять в толк — как могут мужчины драться и почему зря колотить друг друга и в то же самое время объявлять себя лучшими друзьями. Когда Анри освободил повозку от груза изувеченной плоти, его жена чуть не упала в обморок. Однако стоило ей услышать добродушные шутки, которыми громко обменивались пострадавшие, как отчаяние ее улеглось, и она понемногу успокаивалась. Из-за головокружения Хепсибе было трудно устоять на ногах, но он настаивал, что сейчас же примется мастерить для Тонтера новую ногу, и в качестве материала для нее предложил отлично высушенный пекановый брус, который Анри берег, чтобы на будущий год использовать для строительства мельницы. Когда брус принесли, барон пришел в неопишуемый восторг и объявил, что такой восхитительный материал видит впервые. Катерина наблюдала эту сцену из окна, слегка отдернув занавеску. Успокоенная настроением обоих мужчин и видя, что ни один из них не получил серьезных увечий, она решила держать себя так, словно ничего не произошло, и не портить мирного согласия дня. А чтобы уловка ее как-нибудь не обнаружилась, она потихоньку предупредила Анри и Джимса.

Итак, Тонтер остался обедать у Булэнов. Не моргнув глазом, он сочинил невероятную историю, чистосердечно поддержанную Хепсибой и объясняющую некоторое повреждение их физиономий, поездку в телеге и его сломанную ногу. При этом известную помощь ему оказало незнание того факта, что Анри, придя за волом, первым делом «рассказал жене и про сражение, и про его исход.

— Борьба, мадам, — забава богов, — говорил барон Катерине, пока она разрезала огромный пирог с индюшачьим мясом. — Я неравнодушен к ней с самого детства. В нашей семье ею занимались задолго до того, как Авраам Мартэн из Квебека предлагал лучшую корову своего стада тому, кто сумеет положить его на обе лопатки. За наш теперешний вид следует винить меня, а не вашего брата. Если вы спросите мужа, то он поклянется, что мы боролись честно, как подобает джентльменам; когда моя проклятая деревяшка зацепилась за один из пней в той большой куче, она рассыпалась, да так, что мы чудом остались живы! Мой добрый друг, мсье Адамс, получил удар стофунтовым дубовым пнем в поддыхало; в результате вызванного этим ударом недомогания, а также из-за того, что я был вынужден прыгать на одной ноге, нам и пришлось прибегнуть к услугам вашей телеги. Джимс, когда завтра ты будешь корчевать пни, не складывай их в такие чертовски высокие кучи.

— Как? — строго спросила Катерина. — Уж не намереваетесь ли вы с Хепсибой снова устроить состязания в борьбе?

— Вполне возможно, мадам. Я обучаю вашего брата кой-чему новенькому для него.

— Вы правы, черт возьми! — воскликнул Хепсиба, но тут же спохватился и добавил извиняющимся тоном: — То есть я хочу сказать, что теперь это не так уж и ново.

Когда в конце дня, обзаведясь новой ногой, Тонтер прощался с хозяевами, то пообещал в следующий раз, если удастся, привезти Туанетту и весело двинулся в обратный путь. Хепсиба и Джимс вызвались проводить его до Большого Леса. Спустившись с холма, Тонтер обернулся и помахал шляпой Анри и его жене, после чего Катерина увидела, как он наклонился, по-свойски хлопнул Хепсибу по плечу и пожал руку Джимсу. Глаза Катерины сияли от счастья при виде столь несомненных знаков дружбы, которая, как она надеялась, будет длиться вечно; а тем временем сеньор, не смущаясь присутствием Джимса, говорил Хепсибе:

— Я дам вашей голове несколько дней передышки, сэр. После чего, если не возражаете, я

буду чрезвычайно признателен вам за возможность испробовать на ней мою новую ногу. Разумеется, если вы не утратите желания продолжить наше соревнование и мы сумеем встретиться там, где мадам Булэн не будет знать о нашей *rencontre* <sup>20</sup>. Но коли вы считаете, что с вас довольно...

— Я не успел даже начать, — проворчал Хепсиба. — Сам дьявол, должно быть, заколдовал вашу подлую деревяшку! Выть побитым этим презренным орудием войны — оскорбление моей природы. В нашем следующем споре я так вздую вас, что вы навсегда останетесь довольны.

Тонтер, смеясь, въехал под своды леса. Когда он исчез, Хепсиба повернулся к Джимсу.

— Лучшего друга, чем Тонтер, и пожелать нельзя! — воскликнул он. — Такой боец мне по сердцу. Иметь с ним дело — одно удовольствие, малыш. Побольше бы таких французов, как он, а наших соплеменников — как я, — что за жизнь была бы на границе!

Вдруг он вспомнил о намерениях племянника и спросил:

— Как твоя прогулка к Туанетте? Ты видел молодого Поля Таша? Что тебе сказала Туанетта?

— Поля Таша я не видел, — ответил Джимс, все еще глядя на лес, в котором скрылся Тонтер, — а Туанетта назвала меня английским зверенышем.

То, что Джимс утаил от матери, он поведал дяде, пересказав ему все услышанное под дверью Тонтеров с таким спокойствием, словно говорил о случившемся с кем угодно, но только не с ним самим.

— Они ненавидят нас, оттого что мама — англичанка, — закончил он рассказ. — Мадам Тонтер сказала, что когда-нибудь мы перережем им горло.

Прошло несколько мгновений, прежде чем Хепсиба заговорил. Лицо его потемнело.

— Неприятно и даже тяжело слышать такие слова от соседей, Джимс, — наконец сказал он. — Еще хуже, когда они метят в тех, кого мы любим. Но таков уж род человеческий, если его против воли разделяют на два лагеря. Ведь он и Богу-то молится главным образом из злобы. Ну что ж, возможно, они и правы. Не исключено, что когда-нибудь мы действительно перережем им глотки!

— Разве англичане такие... злые? — поспешно спросил Джимс.

— Да, такие злые, — кивнул Хепсиба, и в его голосе прозвучала едва уловимая угроза. — Уж более полувека они охотятся за французами, чтобы перерезать им глотки, и точно так же все это время французы охотятся за нами. Вот почему в Колониях кое-кто из наших уже порядком устал от этой гнусной игры и начинает называть себя американцем <sup>21</sup>. Это новое — прекрасное и гордое — имя, Джимс, имя, которому суждено великое будущее. По той же причине — ведь иногда у дурных родителей бывают достойные дети — многие единокровцы твоего отца начинают называть себя канадцами. Если считать виновных в убийствах и поджогах по всей границе, то выйдет шесть на полдюжины. Индейцы — эти смелые, благородные люди — хотели быть нашими друзьями, но их сделали слепым орудием двух поклоняющихся Богу дьяволов, называемых Францией и Англией, которые будут заливать мир грязью и ненавистью, пока ни на земле, ни на море не останется ни одной мили, не запачканной смердящими следами их свары. Так что, малыш, пока тебе не станет совсем не вмоготу, не осуждай Туанетту за ее слова. Для нее ты действительно зверь, уж так нас расписала ее мать и все другие французы, живые и мертвые. Но, помяни мое слово, придет время, и она увидит правду, которую от нее скрывали.

В глазах Джимса медленно разгорался огонь, словно мальчик вглядывался в будущее, и перед ним вставали видения предсказанных Хепсибой событий.

— Если начнется война, на чьей стороне будешь сражаться ты? — спросил мальчик. — Ты сможешь перерезать горло Тонтеру и его близким?

— Это одному Богу известно, — ответил Хепсиба, напуганный прямоотой племянника. — Я

много раз задавал себе этот вопрос, мальш, останавливаясь на ночь в густом лесу. Я уже говорил тебе: честная и открытая драка — это дыхание жизни; но ни один Адамс по сю сторону моря никогда не ввязывался в убийства и резню — а именно они будут разгуливать по стране, пока ужас перед ними не уничтожит ненависть и не вернет разум в наши головы. Поэтому, Джимс, я отвечу тебе, как пристало настоящему Адамсу: мы должны оберегать тех, кого любим, а если понадобится, то и бороться за них, в какую бы сторону ни летели пули.

И хмурый взгляд Хепсибы обратился на широкие просторы Заповедной Долины. Немного помолчав, он добавил:

— Я часто спрашиваю себя: кто прав, кто виноват — французы или англичане, но так и не могу найти ответа, кроме того, что они стоят друг друга. За двадцать лет я достаточно исходил границы, и, что бы ни говорили люди и ни написали в будущем историки, я знаю факты, знаю, как обстоят дела. Я жил, спал, дрался среди всего этого и теперь вижу правду так же ясно, как солнце у нас над головой. Индейцы, их роль в надвигающихся событиях — вот что страшит меня больше всего, и обе твои половинки, Джимс, виновны в этом, потому что ты дважды подкачал при рождении. В Колониях мы пускаем в ход деньги, виски, любой обман, чтобы довести индейцев до помрачения рассудка и науськать на французов. Французы не отстают от нас и добиваются тех же кровавых результатов главным образом через слово Божие. Если кому и можно отдать пальму первенства, так это отцам-иезуитам: они смелые и отважные ребята, к тому же проповедь и бочку виски нельзя ставить на одну доску, хоть и то, и другое заваривает одинаковую кашу. Но скальп, снятый с человеческой головы из религиозного рвения, такой же красный, как и тот, что снимают под действием кварты рома. Прежде всего они проповедники, а уж потом патриоты. Но результат одинаков, а мы расхлебывай их варево — ведь все индейцы в стране готовы продать себя двум белым народам, одержимым преступными эгоистичными амбициями, народам, которые ходят в церковь, поют псалмы и рассуждают о Царствии Небесном. Как человек, любящий честную, открытую борьбу, Джимс, я не могу иначе ответить на твой вопрос. Когда придет время, нам обоим будет чем заняться.

Шли дни, недели. Узы дружбы между Джимсом и его дядей крепили день ото дня. Товарищеские отношения с человеком, который в знании границы и ее жизни почти не имел себе равных, который не только открыл ему глаза на происходящее, но и познакомил с историей, с сильными и слабыми в политическом смысле сторонами метрополий, дали Джимсу богатейшую пищу для размышления, и с каждым часом ее становилось все больше и больше. Хепсиба обладал неограниченным запасом сведений о жизни половины континента и, кроме того, придерживался бесхитростной природной философии, которая, проникая в самую суть явлений, способствовала становлению жизненных позиций мальчика, четких ориентиров в его расширяющемся кругозоре. Следовать этим ориентирам он положил себе за неуклонное правило. Близость существа, которое он очень любил, привязывала Хепсибу к Заповедной Долине и куда сильнее искушала его навсегда остаться здесь, чем уговоры сестры. Каждое утро дядя и племянник отправлялись на вырубку корчевать пни, пахать землю, и с каждым днем их взаимная привязанность становилась все прочнее и радостнее. Наконец, она заставила Джимса позабыть о вражде с Полем Ташем и помогла исцелить ноющую рану, хоть ее и бередила мысль о том, что Туанетта презирает его. Джимс не догадывался, что вопрос, заданный им дяде на опушке Большого Леса, и рассказ о случайно услышанном в Тонтер-Манор запали в душу лесного бродяги, и теперь его дружба с бароном приобрела несколько иной оттенок: она не утратила теплоты и уважительности, но лишилась непосредственности и непринужденности, которые привели к двум предыдущим стычкам. Когда Хепсиба, зная об отношении сестры к этому делу, отклонил открытый вызов Тонтера, тот, как истинный рыцарь, обуздал свои склонности, и неустрашимые ветераны, по крайней мере некоторое время, разыгрывали из себя

братьев. Однако Туанетта так и не приехала с отцом в долину, да Джимс и не надеялся на это.

Миновала весна, наступило лето; Хепсиба жил в доме Булэнов и пока не проявлял признаков беспокойства, обычно предвещавших его скорое исчезновение. Начало лета всегда было для лесных жителей периодом невыносимых мучений из-за крылатых кровопийц, которыми кишела земля и наполнился воздух. Джимс ожидал его как неотвратно надвигающийся кошмар. С первого июня до середины августа целые полчища мошкары кормились и разлагались на болотах, на заливных лугах, в лесу. Эта чума пожирала зверей заживо, и пионеры в буквальном смысле слова боролись за существование, постоянно окуривая дымом жилища, намазываясь свиным жиром и прибегая к самым невероятным ухищрениям, чтобы хоть ненадолго заснуть ночью. В считанные дни рай, полный цветов, тончайших ароматов, зреющих фруктов, упоительного воздуха, превратился в ад, кишаций насекомыми всех мыслимых видов. Они делали невозможным всякое передвижение, облепляли любую открытую поверхность, нещадно жала все живое и принося нестерпимые мучения своими укусами. Деревья в лесу темнели и разбухали, болота не высыхали, реки и озера застывали в тени буйной зелени. В губельной сырости плодились мириады вредоносных тварей. Они тучами поднимались к небу и порой скрывали от глаз лик луны. В течение нескольких недель вокруг дома Булэнов день и ночь тлели гнилые пни и бревна, окутывая его едким дымом. Работа на ферме продолжалась, но за пределами этого небольшого оазиса она стоила невероятных усилий и физических мучений, за исключением солнечных мест, откуда насекомые разлетались из-за слепящего света и жары.

Тем не менее в то лето Джимс не оставался под прикрытием дымовой завесы, а, как индеец, смазывался жиром и работал плечом к плечу с отцом и дядей. За годы знакомства с дождем и солнцем кожа торговца задубела и сделалась нечувствительной к укусам moskitov. Упорные старания Джимса не отставать от дяди увенчались успехом, хотя в душные и слишком знойные дни или во время бури отец все же отсылал его с поля. Хепсибу безмерно радовала стойкость юного напарника, и, когда миновали недели испытаний и конец августа принес долгожданное облегчение, он преподавал Джимсу несколько уроков, которые, по его клятвенным уверениям, должны были помочь племяннику в следующий раз победить Поля Таша. Кроме того, он показал Джимсу несколько приемов стрельбы из пистолета, благодаря чему его ученик стал выбивать три четырехдюймовые мишени из пяти с расстояния тридцати шагов. Джимс гордился своим пистолетом не меньше, чем луком, которым владел так, что неизменно вызывал удивление и самые высокие похвалы дяди.

В Тонтер-Манор Джимс больше не ходил, хотя изредка слышал новости из поместья. За июль и август Анри с Хепсибой дважды наведывались туда и дважды барон приезжал к Булэнам на воскресный обед. По словам барона, с тех пор как он расчистил и осушил земли, прилегавшие к большому дому, жить в нем стало вполне сносно, к тому же он привез из Квебека новомодной ткани, из которой над кроватями сделали пологи от moskitov. В поместье царил приятное возбуждение — там шли деятельные приготовления к предстоящему в начале сентября отъезду всего семейства в Квебек. Туанетта поступала в школу при монастыре урсулинок. Мадам Тонтер прочила дочери светскую карьеру, подкрепленную благочестивыми наставлениями, по каковой причине Тонтер заявил, что он теряет свою обожаемую маленькую злючку, которая вернется к нему через три года блестящей молодой барышней лишь затем, чтобы выскочить замуж за какого-нибудь счастливого франта, не стоящего ее мизинца. Джимс слушал Тонтера, и в нем росло ощущение невосполнимой утраты, но он ничем не выдал своих чувств. Казалось, огонь его мечтаний перегорел и пепел развеял ветер. Не пытаясь скрыть волнения, Тонтер дал понять, что после школы Туанетта долго не задержится на берегах Ришелье — слишком много соблазнов в Квебеке, одном из самых шикарных городов мира. К ее ногам не замедлит пасть множество смазливых молодых джентльменов, а уж мадам Тонтер

наверняка захомутает для дочери самого блестящего из них.

— Вам повезло, что у вас мальчик, а не девочка, — обратился Тонтер к Катерине. — Когда Джимс вырастет, он приведет жену к вам.

Пришла осень и одела природу в роскошное, пышное убранство. Джимс любил эти обильные плодами летних трудов дни — дни золотой спелости, первых заморозков, четко очерченного абриса лесов, обжигающего, бодрящего воздуха; дни, когда все живое казалось помолодевшим, а его собственная кровь бурлила от необъяснимого волнения, душа наполнилась надеждами и ожиданиями — и не было им ни числа, ни имени.

Но на этот раз со сменой времен года непривычная тяжесть легла Джимсу на сердце. Туанетта и ее родные уехали в Квебек, а однажды вечером, через неделю после их отъезда, Хепсиба серьезно заявил, что не может дольше откладывать свое отправление к далеким границам Пенсильвании и Огайо, куда его призывают обязательства перед партнерами. Услышав эту новость, Катерина беззвучно заплакала. Веселость Анри угасла, словно свеча, задутая ветром. Хепсиба насупился, с трудом сдерживая волнение. Он пообещал не уходить надолго и добавил, что если он не сдержит слова и вскоре не вернется, значит, его нет в живых.

Когда на следующее утро Анри поднялся с кровати, чтобы разжечь огонь, Хепсибы уже не было. В тихий ночной час он бесшумно, как тень, выскользнул из дома.

## Глава 8

После ухода Хепсибы Джимс с еще большим рвением продолжал работать и упрямо старался проникнуть мыслью в горы и долины пока еще скрытого от него, но уже близкого будущего. Со временем отец стал во многом полагаться на него, а Катерина постоянно обнаруживала в сыне все новые перемены и не жалела сил на занятия с ним.

Осенью и зимой в дом Булэнов нередко навевались индейцы, по опыту зная, что там их всегда ждут стол, тепло и радушный прием. После рассказов Хепсибы дружеские чувства Джимса к ним несколько поостыли. Мальчик намеренно сошелся ближе с незванными гостями. Завоевывая их доверие, он совершенствовался в языке и внимательно искал признаки скрытой опасности, о которой его настойчиво предупреждал Хепсиба. В основном к Булэнам заходили индейцы канадских племен, и они не давали Джимсу поводов для беспокойства. Но когда заглядывал какой-нибудь онондага или онейда, то в их повадке сквозила спокойная бдительность и осторожность, словно эти представители шести союзных племен сознавали, что они преступили запретную черту и находятся на вражеской территории. Обратил Джимс внимание и на то обстоятельство, что они всегда приходили через ту часть Заповедной Долины, где — по предсказаниям Хепсибы — могавки проложат тропу войны. Однако визиты дикарей, казалось, были вполне дружелюбны, и Джимса, чья наблюдательность значительно возросла, поражали глубокое уважение и преданность, с какими лесные гости относились к его родителям, и прежде всего к матери. Амбары и погребца Анри всегда ломились от даров земли, в них всего было с избытком. Поэтому Катерина не отпускала ни одного смуглолицего посетителя, не нагрузив его мешком, полным провизии. Индейцы вовсе не были нечувствительны к проявлению такой доброжелательности и братского расположения, и Джимс временами сомневался в правоте дяди и разделял глубокую веру родителей в благое провидение — основной нравственный принцип их семьи.

Недалеко от дома Булэнов суровые зимние месяцы проводил их давний знакомый Капитанская Трубка и один старый каугвага. С их сыновьями — Белыми Глазами и Большим Котом — Джимс впервые в жизни отправился к берегам озера Шамплен. Он отсутствовал неделю и по возвращении стал строить планы более длительной экспедиции: в будущем году он хотел пойти на Краун-Пойнт, к месту, называемому Тикондегора, где французы собирались построить форт. В этом походе он почувствовал, что значит настоящая опасность, так как Белые Глаза и Большой Кот — оба молодые храбрецы, уважаемые соплеменниками, — двигались с осторожностью, более чем красноречивой.

Верный данному слову, Хепсиба возвратился в январе; он пришел с английских фортов на озере Георга. Через неделю он снова ушел, на сей раз за крупной партией товаров в Олбани, откуда собирался к онейдам, если погода не помешает добраться до Реки Могавков. При всей краткости, визит Хепсибы нарушил для Джимса монотонность зимы и подогрел растущее желание сопровождать дядю в одном из его путешествий.

Теперь, когда Туанетты и ее родных не было в поместье, ничто не мешало Джимсу время от времени навеваться на берега Ришелье; несколько раз он ходил туда с отцом на снегоступах, а в марте, воспользовавшись коротким потеплением, отправился в поместье один и заночевал в доме управляющего, с детьми которого был знаком. К старому ветерану Питеру Любеку Тонтер относился с искренней симпатией, и через его сына, Питера-младшего, Джимс узнал первые новости о Туанетте. Она поступила в школу при монастыре урсулинок, а ее родители поселились в шикарном доме на улице Святого Людовика. Питер также сообщил, что Тонтер в каждом письме к его отцу писал, что очень тоскует и мечтает вернуться на берега Ришелье.



Вновь наступила весна, а ей на смену пришло лето. Теперь Джимс твердо знал: сражается он с тем, что ему необходимо победить, — с тоской по Туанетте, которая неотступно следовала за ним и порой заполняла все его существо чувством нестерпимого одиночества. К этим переживаниям примешивались гордость и обида. Временами они бывали так сильны, что он явственно слышал, как звонкий голос Туанетты обзывает его мерзким звереньшем, а мадам Тонтер оскорбительным тоном заявляет, что его мать недостойна жить с ней по соседству.

За два года Туанетта ни разу не приехала на берега Ришелье. В это время трагедия смешанного происхождения Джимса предстала перед ним во всей своей безысходности. Вне всякого сомнения, англичанин в нем брал верх, или, говоря другими словами, зов крови влек его к южным границам и Колониям Хепсибы Адамса. И все же он любил родные места — искренно и страстно любил Заповедную Долину, Большой Лес, каждую милю диких просторов, тянувшихся до самого горизонта. То была Новая Франция — страна его отца, а не матери. Отношения Джимса с отцом переросли в настоящую дружбу, в товарищество, которое ничто не могло нарушить; но в обожании, с каким он относился к матери, было нечто иное, словно их связывали не только узы крови. Число его друзей заметно увеличилось. Он познакомился с фермерами, жившими по берегам Ришелье, но всегда отдавал себе отчет в том, что он не из их числа. Об этом ему постоянно напоминали упорно преследовавшие его слова Туанетты.

Катерина не догадывалась, что происходит в душе сына. Она смирилась с мыслью, что ее мальчик вступил в переходный возраст, и гордилась его ростом — как физическим, так и духовным. Счастье ее не знало границ, когда она видела, что быстрое возмужание не только вывело его из-под ее опеки, но и превратило в защитника, такого, каким прежде был только муж. Казалось, наконец наступило время, когда исполнились все ее надежды, сбылись все мечты. Хепсиба отсутствовал только месяцами, Анри и Джимс привели ферму в превосходнейшее состояние, и за два года работы половина склона превратилась в яблоневый сад. Ручей перегородили плотиной, и его вода вращала колесо небольшой мельницы. Главное сокровище дома — книги — росло в числе с каждым путешествием брата на юг. В Колониях и Новой Франции не было ни матери, ни жены счастливее, чем она. За любовь к жизни и всем ее дарам природа воздала Катерине обаянием юности, которая казалась неподвластной времени и которой Джимс научился так же гордиться, как и его отец. Для них Катерина была больше, чем женой и матерью. Она была для них другом.

Почти через два года после отъезда, в конце августа, Туанетта на месяц приехала в Тонтер-Манор. Сердце Джимса ныло от старой тоски, но он не пошел в поместье. Дни медленно тянулись один за другим, и Джимс десятки раз смирял безумное желание отправиться к Питеру Любеку и хоть издали увидеть Туанетту. Поль и его мать тоже гостили у Тонтера, и Джимс испытал немалое облегчение, узнав, что все они наконец отбыли в Квебек, кроме самого Тонтера, оставшегося на время сбора урожая. Через две недели после их отъезда Питер рассказал Джимсу про Туанетту и Поля Таша. По его словам, Туанетту нельзя было узнать. Она стала выше ростом и еще больше похорошела. Мать Питера заявила, что стараниями монахинь Туанетта очень изменилась, но сам Питер был уверен, что при всей своей красоте Туанетта по-прежнему не прочь подрасться, если, конечно, ее хорошенько раззадорить. Питер был на несколько лет старше Джимса и в декабре собирался жениться, поэтому говорил он с уверенностью человека, который по собственному опыту весьма основательно знает женщин. Таш стал совсем взрослым мужчиной и одевался как аристократ. Невооруженным глазом видно, что он без памяти влюблен в Туанетту, заявил Питер. Но, насколько Питер разбирался в этих вопросах, — а сам он несколько не сомневался, что разбирается в них, — Таш был весьма далек от исполнения своих желаний, хотя бы по причине достаточно нежного возраста Туанетты. Она не проявляла благосклонности к кузену. Более того, выказывала ему известную холодность.

Услышав это, Джимс улыбнулся и высказал предположение, что Туанетта, Как только позволит возраст, выйдет замуж за Поля. Питер пожал плечами и возразил, что у него как-никак наметанный глаз и чуткое ухо, да и за дурака его никто не держит.

Слова Питера доставили Джимсу некоторое удовлетворение; он не подал вида при собеседнике, но только на пути к дому удалось ему отогнать безрассудные мысли о Туанетте. Даже если она и улыбалась Полю не так ласково, как тому хотелось бы, Джимс знал, что и от него она сейчас далека, как Солнце от Земли. Переживания, вызванные приездом Туанетты, изменили его планы на будущее. Но время шло, и образ Туанетты, всплывающий в его памяти или рисуемый воображением, пробуждал в нем силу скорее враждебную, чем дружескую, — и сила эта предьявляла к нему высокие требования. То был и вызов, и побуждение — это неопределенное чувство подхлестывало его гордость и давало тайную пищу английской половине его существа: иногда он видел себя врагом там, где волею судьбы не мог быть другом. По мере того как Джимс вырос, проникаясь более глубокой и чуткой любовью к матери, более полным пониманием душевного благородства отца, его начали одолевать противоречивые чувства, которые он поверял одному только Хепсибе Адамсу. Решить проблемы, вставшие перед Джимсом, Хепсибе было столь же трудно, как и Катерине, если бы она знала о них.

Весной 1753 года, когда Джимсу минуло семнадцать лет, жители Колонии и Новой Франции уже не сомневались в неизбежности близкой войны. Хотя официально Англия и Франция поддерживали мирные отношения, в Америке силы обеих стран находились на грани открытого столкновения и подстрекали индейцев к жестокостям и зверствам. Селорон получил приказ атаковать англичан в Рикавилани в ответ на их действия в Детройте. Маркиз Дюкен, новый губернатор Квебека, провел смотр регулярных войск и ополчения Новой Франции и направил полторы тысячи канадцев и французских колонистов выдворить англичан с верховьев Огайо. По всей незащищенной границе индейцы совершали убийства и поджоги. Обе стороны тратили огромные суммы на человеческие волосы, и сотни белых занялись прибыльным ремеслом охотников за скальпами<sup>22</sup>. Почти у самых дверей Джимса полным ходом шла подготовка к войне, потому что каждый крупный землевладелец на берегах Ришелье обучал своих вассалов-фермеров. Когда ветер дул с реки, до Булэнов доносилась приглушенная стрельба из мушкетов, в которой два раза в неделю упражнялись хозяин Тонтер-Манор и его фермеры. Не будучи связан по закону вассальными обязательствами с поместьем, Анри не посещал эти учения. Не ходил на них и Джимс. Тем не менее Тонтер часто навещался в их дом, особенно когда там бывал Хепсиба. Настроение у барона было лучше, чем обычно, и причина тому, как он признался, заключалась в Туанетте. На поверку в ней оказалось гораздо больше от него, чем от матери, и он благодарил Бога за такое благодеяние. Туанетту тянуло домой. В ее письмах звучала тоска по Ришелье, по дому, и она твердо заявила, что через двенадцать месяцев, после окончания школы, желает вернуться домой, а не оставаться в Квебеке. Этого было достаточно, чтобы осчастливить Тонтера, и он смеялся над мыслью, будто на берегах Ришелье женщинам может грозить опасность. Разумеется, в укрепленных местах. Когда начнется война, ни англичане, ни их дикие союзники не подойдут ближе южного берега озера Шамплен; да и оттуда их скорехонько прогонят, так же как с озера Георга. Но в таком уединенном месте, как ферма Булэнов, приходится всерьез опасаться охотников за скальпами, и Тонтер не уставал уговаривать Анри и Катерину поселиться в безопасности на территории поместья.

Барон предложил Анри и Джимсу приходить на его учения; их отказ несколько не отразился на его дружеском расположении к ним. Он прекрасно понимал, как тяжело было бы Анри готовиться к войне против соотечественников жены, и его тайное восхищение Катериной только росло при виде ее мужества на пороге катастрофы и веры в благоразумие обоих народов.

Тонтер радовался, что его уверенность служит ей утешением, и готовность, с какой она прислушивалась к суждениям старого солдата, воодушевляла его преступить ту грань, которую Хепсиба считал пределом разумного. Барон не догадывался о буре, бушевавшей в сердце Джимса, как не догадывались о ней и родители юноши. Только Хепсиба знал о ней, знал во всех подробностях.

Ранней осенью торговец взял племянника с собой в путешествие к английскому форту на озере Георга, а оттуда в Нью-Йорк. Возвратились они в ноябре и обнаружили в Катерине некоторую перемену. Она не утратила ни своей уверенности в будущем, ни удовольствия от созерцания рая, который помогала создавать, но в жизни ее появилось нечто такое, что она принимала смело, мужественно и даже с гордостью. Однажды вечером Катерина заговорила о военных приготовлениях на Ришелье. Она сказала, что многие юноши, живущие на реке, тренируются наравне со старшими и не пристало Джимсу держаться от них в стороне. Если убийство — жестокость и не заслуживает прощения, то защита своего дома и своих близких — долг, завещанный от Бога. В подтверждение своей уверенности, что война никогда не доберется до них, она процитировала Тонтера, добавила, что знает — Джимс стремится к войне не больше своего отца; и все же, по ее мнению, Джимсу неплохо было бы принять участие в учениях вместе с молодыми людьми из поместья.

Житейская рассудительность Хепсибы восстала против предложения сестры. Он возразил Катерине, что недалек день, когда Джимсу придется вступить в борьбу и выбирать, на чьей стороне сражаться. Тогда будет не до щепетильности; если мир охвачен пожаром, нельзя быть и англичанином, и французом одновременно. Он заявил, что даже Анри втянут в борьбу, если, конечно, на ферму не явятся охотники за скальпами и не решат за них все проблемы. Никто не может сказать, на чьей стороне они окажутся, когда дойдет до дела, а поскольку больше всего на свете Хепсиба ненавидел предателей, то, по его мнению, Джимс не имел права обучаться военному искусству под флагом Франции, так как не исключено, что драться ему придется на стороне англичан. Как истинный приграничный житель, Хепсиба придерживался той точки зрения, что самый замечательный воин — Длинный Карабин, вольный лесной бродяга, владеющий сотней куда более важных премудростей, чем стрельба из мушкета в компании дюжины фермеров. Вот кем должен стать Джимс. Для этого у него есть все необходимое, не хватает только опыта. Как и Длинный Карабин, он мог бы служить там, куда в час испытаний его призовут долг и честь.

Этот разговор положил начало новой фазе в жизни Джимса. Он предъявил ему определенные требования, принять и выполнить которые способен лишь тот, кто уже стал мужчиной; это пришлось признать даже Катерине, пусть ей и хотелось как можно дольше видеть в своем сыне мальчика. В следующем году Джимс вместе с Хепсибой совершил несколько путешествий, побывал в Олбани и даже в Пенсильвании. И всякий раз по его возвращении родные замечали, что он еще на шаг приблизился к цели.

Осенью 1754 года, после четырех лет, проведенных в школе, Туанетта вернулась в Тонтер-Манор. В сентябре того же года на ферме Булэнов расчистили семнадцатый акр земли.

Мир и счастье царили на берегах Ришелье. В тот год события на границах складывались на редкость счастливо для Франции. Вашингтон сдал Форт-Несессити, Вилье в Форт-Дюкене с честью выдержал осаду англичан. Англия и Франция по-прежнему лицемерно играли в дружбу. И пока они разыгрывали из себя друзей, исподтишка нанося друг другу предательские удары, над Аллеганами зареял вовсе не английский флаг. Французское оружие и индейская хитрость победоносно прошествовали по всему течению Огайо и проникли в долины к западу от реки. В результате политики, проводимой британским королевским правительством, союзники англичан — индейцы — охладели к ним, и, несмотря на полуторамиллионное население,

противостоящее восьмидесяти тысячам жителей Новой Франции, Динвидди направил в Англию отчаянный призыв о помощи. В ответ Англия направила генерала Брэддока.

Во всех церквах Новой Франции служили благодарственные молебны за победы, ниспосланные в этом году; и в ознаменование двойной радости — возвращения Туанетты и успехов французского оружия — Тонтер готовился устроить в поместье большой прием и пикник. В это время Хепсиба находился в отлучке, что разочаровало барона, который, однако, настоял на том, чтобы Анри и его семья пришли на праздник, пригрозив в противном случае порвать с ними дружбу.

Чем ближе к празднику, тем большее волнение охватывало Джимса. Но он даже не подумал, что остаться дома ему было бы легче, чем идти к Тонтерам. Джимс был уже не тем мальчиком, который шел на ферму Люссана в компании Вояки. В январе Джимсу исполнилось восемнадцать лет. Его движения отличались быстротой и грациозностью, присущими самым благородным обитателям леса. Катерина гордилась сыном, радовалась его любви к природе и Богу, чистоте и открытости взгляда, каким взирал он на своего Создателя. Но еще больше гордился Джимсом Хепсиба, видя в своем ученике частицу собственной плоти и крови, благородство, мужество — душевную и физическую цельность настоящего воина.

И все же в то утро, когда Булэны отправились на пикник к Тонтеру, в сердце Джимса ожили волнения мальчика давно минувших дней — хоть это никак не отразилось ни на его лице, ни в поведении, — но не того, который бросил ком грязи в своего соперника, а того, чей характер формировался под влиянием странствующего торговца. Для этой части его существа Туанетта всегда оставалась живой памятью, Туанеттой, которая приняла его Дар на распродаже у Люссана. Желая узнать судьбу красного бархата, он как-то давно, охотясь недалеко от бывшей фермы Люссана, перекопал половину скотного двора в поисках грязной тряпки, в которую, скорее всего, превратилась ткань, если — как он полагал — во время схватки бархат втоптали в землю.

Джимсу очень хотелось увидеть Туанетту, но в этом желании не было и следа прежней тоски и томления. Он собирался взглянуть на совершенно постороннюю молодую особу, общества которой он твердо решил не только не домогаться, но и избегать. Такое решение Джимсу подсказали вовсе не недостаток смелости или сознание общественного неравенства. Нет, просто его обуяла безмерная гордость. В нем жил вольный дух лесов, в крови его кипела жажда свободы, и за всем этим стояла воля Хепсибы Адамса.

Джимс был уверен, что, в какую бы красавицу ни превратилась Туанетта, случись ему оказаться с ней лицом к лицу, он сумеет встретить ее не только без смущения, но даже холодно и равнодушно. Он понимал, что Туанетта должна сильно измениться. Ей уже пятнадцать лет. Молодая женщина. В этом возрасте пять лет — большой срок, и он вполне допускал, что не узнает ее.

Когда Джимс наконец увидел Туанетту, он был поражен, ошеломлен. Словно возвратилось давно минувшее вчера, словно каким-то чудом ожила сторевшая картина, самый пепел которой давно развеял ветер. Конечно же, она стала выше. Возможно, еще красивее. Но она осталась прежней Туанеттой. Затуманенный рассудок Джимса отказывался признавать невероятную действительность, разрушившую барьеры, за которыми он скрыл мир своих фантазий, как перламутровые стенки раковины скрывают от посторонних глаз драгоценную жемчужину. Он не находил в ней других перемен, кроме той, что она стала еще более женственной. Джимс смотрел на Туанетту, и все труды Хепсибы и его собственные старания, его свобода, воля, мужество рассыпались в прах. Он, как прежде, чувствовал себя существом низшего порядка, подносящим ей в дар орехи, перья, кленовый сахар, по-детски моля ее хоть раз улыбнуться ему. Перед ним была не новая Туанетта, от которой, как казалось совсем недавно, его отделяют

миллионы миль, но Туанетта прежняя: она снова обращала его в рабство, вновь ворошила сор разбитых, преданных забвению надежд и тлеющие угли полууснувших желаний, бросала ему вызов, понуждая забыть о гордости, о воле и заставляя кровь раскаленным потоком бежать по телу.

Но она не узнала его!

Во всяком случае, так думал Джимс. Выйдя из дома с несколькими молодыми барышнями из соседних поместий, Туанетта прошла совсем близко от Джимса и Питера Любека. Джимсу показалось, что, если бы не Питер, сделавший несколько шагов в их сторону, она бы и головы не повернула. Джимс напрягся как струна, обнажил голову и застыл на месте с холодным и бесстрастным видом, словно солдат по стойке «смирно», а тем временем сердце молотом стучало у него в груди. Отвечая на приветствие Питера, Туанетта должна была заметить Джимса.

Она не могла не видеть его, возвращая поклон Питеру. Но ее медлительность и нежелание смотреть в его сторону были красноречивее любых слов: она узнала его, но разговаривать с ним не хочет.

Если бы Джимсу изменило мужество, столь внезапное и жестокое прозрение с лихвой вернуло бы его. Их глаза встретились, и Джимс поклонился. Лицо Туанетты пылало, глаза сверкали темным огнем, но на щеках Джимса были заметны лишь следы солнца и ветра. Она продолжила путь; он не шелохнулся, словно они и вовсе не были знакомы.

Туанетта слегка кивнула головой; ее губы едва дрогнули, произнося какое-то имя.

Что бы ни говорил Хепсиба, есть ненависть, которая никогда не умирает.

Позднее, когда пиршество на траве закончилось, пришел черед самой живописной части праздника — смотру военной выучки фермеров Тонтера. К ним присоединились гости-мужчины, проходившие подготовку в других имениях. В состязаниях не приняли участия только Анри и Джимс. Из щепетильности и не желая доставлять Катерине неприятные переживания, Анри отправился вместе с женой в обратный путь примерно за полчаса до начала смотра. Джимс остался. Таков был его ответ на презрение Туанетты: он не принадлежит к числу ее подданных, и его мир не ограничен тесными пределами владений Тонтеров. Джимс стоял несколько в стороне от остальных, держа в согнутой руке длинную винтовку. Он чувствовал на себе взгляд Туанетты, и невидимые лучи ее глаз, отравленные ядом презрения, вызывали в нем прилив мучительного торжества. Ему казалось, будто он снова слышит, как она называет его английским звереньшем. Трусом. Тем, кому нельзя доверять, с кем надо быть настороже. Он не испытывал унижения или сожаления, но всем существом своим понимал, что пропасть, всегда лежавшая между ними, достигла предельной глубины.

С этим чувством Джимс вернулся домой. С течением времени оно крепло и постепенно все более сильное беспокойство овладевало юношей. В глазах Джимса близость богатых владений Тонтера бросала тень на Заповедную Долину. Долина то отталкивала его, то привлекала, пока в той или иной форме он не стал ощущать на себе ее влияние. Зимой произошли события, которые еще усилили это воздействие. С приходом морозов, когда опавшие каштаны усыпали землю, в Тонтер-Манор не прекращалось оживленное веселье. Туанетту постоянно окружали друзья — не только барышни, но и молодые джентльмены. Они приезжали из поместий, расположенных по берегам двух больших рек, а также из Квебека и Монреаля. Ежевечерние танцы в доме Тонтера, богатая и беззаботная светская жизнь дверь в дверь со скромным жилищем Джимса окончательно провели для него границу, преступить которую даже мысленно было для него сущим мучением. Теперь он с трудом охватывал взглядом разрыв между действительностью и детскими видениями. И взор его обратился в противоположную сторону, словно влекомый мягкой, но неборимой силой, внушающей ему, что там, на юге, на родине его

матери — свобода, счастье, равенство между людьми, все то, что здесь отнимает у него грозная тень владений Тонтера. С настойчивым зовом новой родины, для которой Джимс был совсем чужим, боролась любовь к месту, где он родился, ко всему, среди чего вырос: юношу раздирали противоречивые устремления, в голове у него все перепуталось, и только долгие, утомительные блуждания по лесу могли хоть немного унять бушевавший в нем огонь.

Вести, подобно шепоту ветра перелетавшие через леса и долины, поддерживали этот тлеющий под серым пеплом огонь и, помимо воли Джимса, раздували его в яркое пламя. Тайны перестали быть тайнами. Слухи обернулись фактами. Опасения превратились в реальность. Могущественные дворы Англии и Франции все еще играли в мир. Друзья при свете дня — под покровом тьмы они, как обыкновенные бандиты, старались прикончить друг друга. Их орудия — Новая Франция и Колонии — созрели для принесения их в жертву. Англия и Франция — две интриганки, состарившиеся в непрерывных кознях, — подстрекали послушных, воодушевленных молодостью, вдохновенных верой, исполненных мужества детей девственных лесов к взаимному истреблению, разбою, резне, кровопролитию. Две грабительницы морей, две разбойницы на суше, погрязшие в трясине бесконечных интриг и заговоров, не сознавали того, что закладывают основание новой нации, более великой, чем каждая из них.

Но Новая Франция, по-детски слепая к недостаткам своей родительницы, любила распутный двор Людовика XV, который называла отчим домом.

А члены тринадцатого по счету немногочисленного правительства Английских Колоний ссорились между собой, как маленькие мальчики, которым наконец позволили гулять без гувернантки: они смутно ощущали всю значительность нового слова «американец», но, обворованные своей родительницей, осмеянные и ненавидимые ею, несмотря ни на что, жаждали ее любви, как все дети от начала времен, и оставались верными ей.

Так зрела и разрасталась трагедия, зерном которой послужили смерть, обманутое доверие, бесчестье, измена и безжалостное истребление тех, кому судьба предназначала стать прародителями будущих американцев и канадцев.

Без объявления войны Англия послала генерала Брэдока и его армию уничтожить на девственных просторах Америки всех французов и дружественных им индейцев. Стремясь превзойти свою лицемерную соседку, Франция послала барона Дискау и его армию сиять созревший урожай в виде голов английских колонистов.

Славная Франция!

Доблестная Англия!

Восемьдесят тысяч французов и более миллиона англичан в Новом Свете выкрикивали эту вопиющую ложь, готовясь принести себя в жертву.

Массачусетс выставил по одному добровольцу на каждые восемь человек мужского населения. Коннектикут, Нью-Хемпшир, Род-Айленд, Нью-Йорк и другие последовали его примеру.

Дети! Верные, гордые тем, что идут в бой, — и яростно ненавидящие французов!

Затем пришел Брэддок, предшественник Вольфа<sup>23</sup>, и назвал их никчемным сбродом.

Новая Франция, слава подлунного мира, земля, которую даже в том ее тяжелом положении обирали продажные приспешники Людовика и Помпадур, посылала сражаться своих сынов, доблестных, воодушевленных, уверенных в себе и — жестоко ненавидящих англичан!

С теми и другими шли индейцы почти из ста племен — краснокожие воины, для которых сражение было некогда делом чести, теперь же — кровожадные мстительные существа, заложившие души великим Белым Отцам из-за моря, которые спойли их виски, подкупили оружием, довели до безумия разжиганием ненависти и платили им за человеческие волосы.

Гордая старая Англия!

Рыцарственная Франция!

Поглощенный размышлениями о гордости, благородстве, любви, Джимс не заметил, как зиму сменила весна, весну — лето. Только одна любовь не позволяла ему поддаться искушениям, которые со всех сторон все плотнее обступали его, — любовь к матери: ведь счастье Катерины было альфой и омегой существования ее мужа и ее сына. Джимс прекрасно понимал, что в час, когда трое из каждых четырех способных носить оружие мужчин с берегов Ришелье готовились присоединиться к армии Дискау, когда половина его знакомых из владений Тонтера уже отправились сражаться с Брэддоком, когда леса шелестели от осторожной поступи раскрашенных дикарей, когда француз, не поднявшийся по призыву своей страны, переставал быть французом, его душевное напряжение не идет ни в какое сравнение с тем, что приходится переживать его отцу. Несмотря на безмерную любовь к Катерине, Анри душой и телом принадлежал Новой Франции, и теперь, когда другие мужчины, не щадя жизни, грудью стали на ее защиту, ему понадобилась вся его воля, чтобы совладать со страстным желанием принести родине такую же жертву. Джимс и его отец еще никогда не были так близки друг другу, как в эти недели душевной борьбы и смятения чувств. Мучительным был для них день, когда Дискау с войском в три с половиной тысячи человек поднялся вверх по Ришелье и, разбив лагерь на одном из участков владений Тонтера, навсегда превратил его в выжженную землю.

Когда Катерина узнала о приближении армии французов, она сказала:

— Если сердце говорит вам, что так надо, идите с ними!

Но они остались. Для Анри это было сражение более тяжкое, чем то, которое выиграл Дискау, более серьезное, чем то, в котором пал Брэддок. Джимса, опьяненного порывом восторженной юности, перспектива маршировать под бряцание оружия скорее привлекала, чем отталкивала. Для Катерины все происходящее было нескончаемой пыткой, и только когда по французским владениям подобно урагану пронесли последние сообщения из армии, мрак сомнений и неопределенности, в котором пребывала ее душа, немного рассеялся.

Бог не оставил Новую Францию!

Брэддок и английские захватчики были разгромлены!

Ни одна победа французского оружия в Новом Свете не была столь блистательной, и Дискау, славный немецкий барон, сражавшийся за Францию, двинулся на юг с целью сокрушить сэра Уильяма Джонсона с его колонистами и индейцами и не останавливаться, пока не оттеснит их к самым воротам Олбани.

Его сопровождали шестьсот восемьдесят четыре человека, стойкие, преданные своей земле люди, которые уже называли себя канадцами.

Тонтер верхом приехал к Булэнам сообщить эти новости. Он снова повторил Катерине, что англичане никогда не проникнут в их рай, поскольку все уладилось на несколько лет вперед, и Дискау так же чисто выметет врагов с земли Шамплена, как новая метла выметает ее дом. Несколько раз Тонтер принимался трясти руки Хепсибы — в то время торговец жил у Булэнов, — повторяя, что любит его и что между ними не может быть никаких недомолвок и задних мыслей. При этом он откровенно признавал, что имеет препорядочный зуб на вторгшихся на их земли англичан. Он отправил почти всех своих людей на театр военных действий, и только деревянная нога помешала ему лично присоединиться к Дискау.

Даже Туанетта хотела отправиться на войну!

Здесь он вспомнил о важном поручении. Туанетта передала с ним письмо для Джимса. В возбуждении он совсем забыл о нем. Он надеялся, что Туанетта приглашает Джимса в Тонтер-Манор. Сам он часто говорил дочери, что ей следует быть более приветливой с молодым соседом.

Джимс взял письмо и отошел, чтобы прочесть его без свидетелей. То была первая весть от

Туанетты после пикника. С тех пор он не видел ее и старался не думать о ней. Наедине с собой он прочитал написанные ее рукой слова.

С безжалостной холодностью и краткостью Туанетта называла его предателем и трусом.

Сентябрьским утром, через несколько дней после записки от Туанетты, Джимс стоял на границе фермы, наблюдая, как его дядя уходит в подернутый инеем лес Заповедной Долины. Ему казалось, что чем чаще слышны вести о победах французов на юге и чем меньше опасность нападения со стороны англичан, тем подозрительнее становился Хепсиба и с тем большим вниманием поглядывает он на долину. Только вчера Тонтер привез последние новости от Дискау. Немец отправил гонца с сообщением о своем намерении нанести последний удар по сброду колонистов и индейцев сэра Уильяма Джонсона, удар, который окончательно разгромит их. Вероятно, думал Джимс, сейчас уже все кончилось. Однако Хепсиба отправился в Заповедную Долину с таким выражением лица, что у Джимса стало тревожно на душе.

После ухода Хепсибы Вояка начал проявлять беспокойство. Возраст пса давал о себе знать. Расцвет его был позади, морда поседела. Он стал более поджарым и лохматым, сильнее хромал; повадки его несколько изменились. Он уже не так рвался в лес, где прежде подолгу без устали гонялся за всякой живностью, а предпочитал греться на солнце. Постепенно ему стало доставлять большее удовольствие созерцать вместе с Джимсом проявления жизни, а не азартное преследование. Он еще не был стар, но молодость его прошла. Время, которое медленно погружало его в тень, принесло житейскую мудрость, более тонкие инстинкты, обостренное внутреннее видение, хотя глаза Вояки видели уже не так далеко, не так четко. Только одно могло теперь пробудить в нем неукротимую свирепость, свойственную ему в юности. То был запах индейцев. Вояка всегда предупреждал Джимса о близости лесного посетителя за несколько минут до того, как дикарь выходил из леса. Но самое главное — он неустанно наблюдал за Заповедной Долиной. На рассвете он не сводил с нее глаз. В полдень дремал, обратив морду в ее сторону. Вечером принюхивался к долетавшим из нее запахам. Но без Анри или Джимса Вояка никогда не спускался в долину.

В то утро Вояка заразил хозяина своим беспокойством. Вскоре после полудня Джимс бросил работу и сказал матери, что сходит на ферму Люссана. Катерина прошла с ним через молодой сад и немного поднялась по склону холма. Никогда еще она не казалась Джимсу такой прекрасной. Красота дня, синева неба, чуть тронутый багрянцем лес, золотые заводи солнечных бликов, здесь и там заливающих землю, — все это растворялось и сливалось в ней. Отец прав: его мать навсегда останется девочкой. С небольшого плато над садом, откуда была видна вся ферма Булэнов, они окликнули Анри, работавшего в поле, и помахали ему. Несколько мгновений Джимс стоял, одной рукой обнимая мать за талию. Затем он поцеловал ее, и Катерина провожала его взглядом, пока он не скрылся среди деревьев Большого Леса.

У Джимса не было никакого желания охотиться; не было его и у Вояки. В лес их обоих влекло что-то необъяснимое. Беспокойство Вояки имело несколько иной характер, чем беспокойство его хозяина. Всякий раз, когда Джимс останавливался, пес поворачивался к Заповедной Долине и принюхивался к тропе, по которой они шли; при этом весь вид его выражал сомнение и подозрительность. Джимс наблюдал за странным поведением своего спутника: оно не означало близость индейца. Казалось, нечто бесформенное и бесплотное, неуловимое, сбивающее с толку, осталось позади — там, откуда они пришли, за спиной.

Но дух противоречия подгонял Джимса вперед. Без причины и цели, побуждаемый только необъяснимым беспокойством, упрямо шел он к ферме Люссана. Свежий воздух бодрил. Под ногами шуршали опавшие листья. С вершин холмов открывались бескрайние просторы, окрашенные в красные, золотые, желтые и коричневые цвета. С этих вершин Джимс внимательно вглядывался в даль — туда, где за дымкой бабьего лета, подобно легкой вуали,



окутавшей землю, лежали озеро Шамплен и озеро Георга; на их овеванных ореолом славы и приключений берегах теперь свершались великие события. Стоял один из тех дней, когда сам воздух, кажется, источает прекрасные, соблазнительные надежды. В такие дни томление, дремавшее в груди Джимса, пробуждалось с настойчивой, дикой силой. Как хотелось ему быть далеко отсюда — там, где разыгрываются драмы, о которых он столько слышал, где люди сражаются не на жизнь, а на смерть, где цвет благородства и мужества их земли, к которому он причислял и себя, вписывает в мировую историю страницы триумфа и славы. Вот где его место!

Юноша и собака пришли на ферму Люссана, лежавшую в девяти милях от их дома. После отъезда владельца здесь царило запустение, и за пять лет девственный лес вернул себе почти все, что отнял у него человек. Большая зеленая поляна, на которой велись торги и через которую гордо проществовали Туанетта и Поль Таш, поросла сумахом и кустами ежевики. Вокруг дома буйно разрослась высокая трава. На месте бывшего сада — сплошные заросли дикого шиповника. Несколько розовых кустов упорно боролись с сорняками. Обратив к заходящему солнцу испещренное черными семенами лицо, одиноко стоял подсолнух — последнее выжившее детище многолетних забот. Дикобразы подгрызли двери дома. Лишенные ставней окна были открыты дождям и ветру. Тропинка к хлеву заросла, а сам хлев превратился в развалины, куда не проникали лучи солнца, — упавшее дерево проломило крышу, дикий плющ обвил гниющий фундамент. Скотный двор порос лопухами, амброзией и чертополохом. Ограда во многих местах обвалилась и лежала на земле.

Джимс остановился на том месте, где он сражался с Полем Ташем, и в тишине глухо зазвучали призрачные голоса прошлого. Они пробудили в душе юноши щемящее чувство одиночества, словно окружающее запустение было все, что осталось от его собственных надежд и устремлений. Потом пришел страх, почти ужас. Он обернулся к дому, к поляне, где в тот давний день стоял рядом с Туанеттой, наслаждаясь близостью ее красоты.

Когда Джимс наконец отогнал от себя призраки, населявшие заброшенную ферму, солнце уже зашло и на землю опустились сумерки. Наступление ночи не могло усилить его уныния.

Вояка поскуливал от желания поскорее добраться до дому. Иногда он проявлял свое нетерпение, забегаая вперед. Джимс не спешил. Он снял с плеча лук — единственное оружие, которое захватил с собой, — и нес его в руке. Но если Вояка своим поведением хотел предупредить его об опасности, то Джимс не обратил на это внимания. Опасность была далеко, между нею и их домом стояла армия Дискау. Ему не удастся встретить опасность лицом к лицу. Для Туанетты он навсегда останется предателем и трусом.

Пала тьма. Звезды усыпали небо. Юноша и собака в густом мраке поднимались на высокий холм, с которого за лесом и грядой холмов пониже виднелась Заповедная Долина. С этого холма, всего в четырех милях от вырубки, Булэны часто любовались красотой окружающего мира. На три стороны, насколько хватало глаз, открывались бесконечные дали безлюдных просторов, только имение Тонтера скрывали высокие, густые деревья.

С холма был виден Большой Лес, защищавший ферму Булэнов от северных ветров, и поэтому Джимс и Анри прозвали его Домашней горой.

В ту ночь, поднимаясь на гору, Вояка не переставал скулить. Опередив Джимса, он выбрался на вершину, и из горла его вырвался низкий вой.

Джимс подошел к собаке и застыл на месте.

Сердце остановилось у него в груди. Повеяло холодом смерти.

Над дальним краем леса, куда утром ушел Хепсиба, поднимался огненный столб. Немного ближе, над Заповедной Долиной, небо озаряли всполохи красного пламени. Но свет исходил не от горящего леса. Не походил он и на факел из подожженных пней. Не был отражением в безлунном небе пламени, пожирающего сухую траву. Столб сверкающего света поднимался

вверх, мрачным багровым сиянием разливаясь под облаками, окрашивая их края в цвет серебра, золота и крови.

Горел его дом!

Одновременно с криком, вырвавшимся из горла Джимса, в его голове точно в бреду вспыхнули последние слова Хепсибы, сказанные утром перед расставанием: «Если в мое отсутствие тебе случится увидеть небо, пылающее огнем ночью или затянутое дымом днем, не теряя времени спеши с отцом и матерью в имение, — так я дам тебе знать, что вам грозит смертельная опасность».

Не в силах двинуться с места, Джимс не сводил глаз с багрового неба. Если сперва у него еще могли зародиться сомнения, то, пока он стоял в оцепенении и лишившись голоса, они исчезли. Его дом пожирало пламя. Но не это заставило его помертветь от страха: там отец, он позаботится о матери. Можно построить новый дом. Мир не рухнет из-за одного сгоревшего дома. Джимс видел два пожара: второй полыхал дальше в лесу, тусклым и гораздо более мрачным светом отражаясь в облаках. Он-то и поверг Джимса в неопиcуемый ужас. Огонь Хепсибы говорил с ним в ночи!

Длань, стиснувшая горло Джимса, разжалась, и к нему вернулась способность действовать. Он увидел, что Вояка стоит, подняв морду к пылающему небу; каждый мускул в неподвижном корпусе собаки говорил о близости индейцев. Никогда раньше предупреждение Вояки не вызывало у его хозяина такого страха.

Джимс бегом бросился вниз по склону. Ветки кустов хлестали его по лицу, под ногами сгущались тени, длинные руки мрака тянулись из-за деревьев, пытаясь остановить его. Спустившись с холма, он побежал еще быстрее. Сияние неба скрылось за темными, плотными стенами обступившего его леса. Теперь путь ему освещали звезды, и он мчался, обрызганный звездной пылью, пересекая серебристые ручьи, минуя поляны, опутанные серебряной паутиной звездных нитей. Он не поспевал за Воякой. Они бежали, словно две тени, из которых одна по пятам преследует другую, пока Джимс не начал задыхаться и не перешел на шаг. Вояка сбавил скорость, приноравливаясь к поступи хозяина. Они поднялись на холм пониже, и Джимс снова увидел зарево. Высоко под сводом небес оно блекло и превращалось в призрачно-бледные отсветы на фоне широко раскинувшейся арки Млечного Пути.

Они опять побежали. В мозгу Джимса вспыхнула слабая, но постепенно разгоравшаяся искра надежды. Юноша жадно ухватился за луч, светивший из тьмы потрясения, отчаяния, панического ужаса. Этот луч вселял надежду и придавал силу убедительности доводам, которыми он пытался прогнать страшную догадку. Его дом горит. Но, скорее всего, это досадная случайность, и не стоит из-за нее так пугаться. Второй пожар — там, в Заповедной Долине — простое совпадение: лес, наверное, загорелся от трубки какого-нибудь индейца, а то и белого. В лесах такая сушь. Земля покрыта ковром опавших листьев; тут достаточно одной искры, высеченной куском железа, крошки горящего табака или тлеющего ружейного пыжа. Он никогда не боялся лесных пожаров!

Джимс еще раз остановился, чтобы отдышаться; вместе с ним остановился и Вояка. Они стояли на одном из островков лунного света, и, видя поведение собаки, Джимс почувствовал, что оптимизм его заметно тает. Все тело собаки дрожало от сдерживаемого волнения, тревожного ожидания, глухой ярости, которая охватывала Вояку всякий раз, когда его ноздри чуяли в воздухе смертельный яд — запах индейцев. Шерсть у него встала дыбом. В глазах горела злоба. Мощные челюсти слегка приоткрылись. С губ стекала слюна, словно от голода, а не от ненависти. Усилием воли Джимс старался заставить себя не верить собственным глазам, убеждал себя, что если индейцы и оказались случайно около их дома, то это друзья: они помогают хоть что-нибудь спасти от пожара.

Джимс прислушался. В вершинах деревьев шептался слабый ветер. Сухие листья дубов шуршали на ветвях, и чудилось, будто их сотрясает прикосновение невидимых рук. Но вот шуршание и шепот Смолкли, и на землю легли густые тени. Юноше казалось, что тишину ночи нарушает бешеное биение его сердца. Вдруг он услышал какой-то звук. Звук донесся издалека и был так слаб, что шелест листьев почти заглушил его. В кронах дубов, как нарочно, снова

разыгрался ветерок.

Но Джимс все-таки услышал... услышал звук ружейного выстрела; через холмы и леса он долетел со стороны владений Тонтера. Джимс не стал ждать, пока дубовая роща снова погрузится в сон. Теперь только Большой Лес лежал между ним и его домом. На последнем участке пути их безумный бег возглавлял Вояка. Они еще не выбрались из Большого Леса, когда ноги Джимса налились свинцовой тяжестью, дыхание сделалось прерывистым. Он остановился и, сев на землю, привалился к дереву. Вояка прижался к коленям хозяина, и из его горла вырвался леденящий кровь низкий вой. Джимс больше не пытался что-нибудь доказать себе или опровергнуть. Услышав ружейные выстрелы, он понял, что случилась беда. Надежду и страхи сменило безумное желание как можно скорее найти отца и мать.

Когда юноша и собака добежали до опушки леса, силы Джимса иссякли, и он падал через каждые несколько шагов. У их ног вниз сбегал склон холма, устланный блестящим серебряным ковром. Под ним лежало то, что еще утром было их домом.

Зрелище, которое увидел Джимс, — раскаленная докрасна бесформенная, зыбкая руина; груды головешек, из-под которой временами лениво вырывались языки истощившего свою ярость пламени, — не усилило потрясения. Подсознательно он ожидал этого. Коровник превратился в груды пышущего жаром угля; вокруг него, как огарки воткнутых в землю гигантских свечей, дотлевали мелкие постройки. Опустошение было полным. Но самым страшным, доводящим до безумия, — несмотря на невероятные усилия Джимса сохранить рассудок, — было глухое безмолвие, безжизненность, отсутствие малейшего движения или звука. Гнетущая тишина ужасала и мертвящей, властительной силой погружала в бездну отчаяния.

Огонь заливал все вокруг ярким светом. Джимс увидел большую скалу за ручьем. Тропинки в саду. Птичьи клетки на ближайших дубах. Мельницу. Купу подсолнухов, похожих на стройных нимф. Свет падал на каждую деталь, подчеркивал каждую подробность, вплоть до кучки яблок для сидра, которые они с матерью собрали два дня назад. Но Джимс не видел ни отца, ни матери, ни Хепсибы Адамса.

Даже Вояка, казалось, не выдержал. Из его пасти вырвался звук, напоминающий рыдание. Он припал к земле, забыв о ненависти, забыв о мести. Джимс не замечал собаку. Он старался бороться с силами и позвать мать. Губы его пересохли, голос отказывался повиноваться. Стояла зловещая тишина. Было слышно только журчание воды в ручье, перекатываемом через камни у мельницы, да похожий на пистолетные выстрелы треск взрывающихся углей. В лесу за спиной Джимса заухала сова, недовольная слишком ярким светом звезд. Но ни разговора, ни голосов он так и не услышал.

Джимс забыл о страхе и естественном для каждого человека инстинкте самосохранения. В нем жили только мысли об отце и матери, нетерпеливое стремление разгадать причину их непонятого молчания, желание позвать их и услышать в ответ их голоса. Если в нем оставалась хоть малейшая способность мыслить, то именно благодаря ей он все-таки не закричал. Но не потому, что боялся. Нетвердыми шагами спускаясь по склону холма, он не вставил стрелу в лук. Что бы его ни ждало внизу — стрела ни при чем: с ее помощью ничего не изменишь, ничего не исправишь. Он не прятался в тени. Он ничего не искал, ничего не хотел найти. Ничего и никого, кроме отца и матери.

Невдалеке от одного из розовых кустов Катерины Джимс неожиданно наткнулся на отца. Казалось, Анри спит. Но он был мертв. Он лежал на земле, обратив лицо к небу. На нем играли отблески огня; они то разгорались, то бледнели в такт вспыхивающим или умирающим углям, чем-то напоминая судорожную мелодию беззвучного напева.

Бесшумно, как тень, без стопа, без рыданий, Джимс опустился на колени рядом с отцом.

Странно, что именно в этот миг он вновь обрел голос, хотя совсем недавно лишился его при виде зрелища куда менее страшного, чем явление смерти. В голосе молодого человека не было истерики, и сам он не сразу узнал его: ему показалось, что говорит кто-то другой. Джимс произнес имя отца, прекрасно зная, что ответ не слетит с безжизненных губ. Обнимая неподвижное тело, Джимс еще раз позвал отца по имени, и голос его звучал бесстрастно, невозмутимо. Близость смерти усыпляет чувства, целительным бальзамом врачует боль, золотой паутиной призрачных видений притупляет страдания, приносит глубокий покой. И покой этот, подобно смерти, смиряющий и укрощающий дух, снизошел на Джимса. Звездный свет заливал убитого; на его белых губах застыла предсмертная судорога, руки со сжатыми кулаками вытянулись вдоль тела, скальпированную голову покрывала кровь. Джимс медленно склонился к отцу. Еще немного, и он снова позовет его. Еще немного, и он зарыдает. Но невидимая, непобедимая, как сама смерть, сила унесла его на крыльях мрака, и в блаженном забытии он замер возле отца. Вояка ползком подобрался ближе. Постепенно, дюйм за дюймом, он подполз к покойнику и обнюхал его холодеющие руки. Затем облизал лицо Джимса, прижатое к плечу отца, и затих, оглядываясь по сторонам налитыми кровью глазами. Смерть витала в воздухе. Смерть пела в траурном шелесте дубовых листьев. Извивалась в танцующих отсветах пламени. Парила на крыльях ночной птицы, стремящей полет через пожарище. Сам покой, царящий кругом, таил в себе смерть. Наконец, побуждаемый неодолимым порывом бросить вызов вездесущему духу смерти, Вояка сел на задние лапы и громко завыл. Но звук, огласивший долину, не был воем Вояки, равно как и голос, позвавший Анри, не был голосом Джимса. То был глас преисподней, заставивший смолкнуть шепот листьев, неземной, леденящий душу вой, отозвавшийся в лесу горестным эхом.

Этот вой вывел Джимса из бездны забытия. Юноша поднял голову, снова увидел труп отца и, шатаясь, встал на ноги. Он начал поиски. Мать он нашел недалеко от места, где лежал отец, под деревьями, возле груды яблок, которые они вместе собирали. Она тоже лежала лицом к небу. То немногое, что осталось от ее дивных волос, разметалось по земле. От ее изумительной красоты не было и следа. Звездный свет, нежно лаская Катерину, поведал сыну о том, как ужасен был конец матери. И здесь, над ее телом, сердце Джимса не выдержало. Вояка преданно охранял хозяина, внимательно прислушиваясь к горю, которое сжимало и жгло его собачью душу. Наступила полная тишина. Медленно текли ночные часы. Догоревшие бревна обрушились и образовали невысокий настил гаснущих углей. Но вот в вершинах Большого Леса уныло зашумел ветер. Млечный Путь начал меркнуть. Тучи заволокли небо. Звезды погасли. Сгустилась последняя ночная тьма — предвестница дня, и следом за ней пришел рассвет.

Вокруг Джимса лежали развалины его мира. Неопытный юноша постарел на целую вечность — вечность, пережитую им за одну ночь. Вместе с Воякой он отправился искать Хепсибу Адамса, — Вояка шел впереди. Джимс, как полуслепший, полагался скорее на интуицию, чем на зрение. Но от него ничего не укрылось. Он увидел примятую траву, истоптанную мокасинами землю у ручья, томагавк, кем-то потерянный ночью, и на нем английское имя. Дядю он не нашел.

Пасмурным рассветом того же дня, как только среди деревьев захлопали крылья птиц и белки вернулись к прерванным на ночь играм, Джимс пошел в Тонтер-Манор.

Он крепко сжимал найденный томагавк, словно тот был наделен жизнью и мог убежать. Этот томагавк зародил в нем страшное подозрение; оно росло и вкупе с другими деталями постепенно превращалось в одно из звеньев целой цепи последовательных соображений; казалось, что это оружие с короткой потертой рукояткой из пекана и притупившимся стальным лезвием было живым существом, способным испытывать боль или поведать доверенную ему тайну. Джимсу не давало покоя вырезанное на томагавке имя; оно говорило о том, что

англичане либо сами пришли на их землю со своими индейцами, либо послали одних индейцев. Сбылось предсказание Хепсибы. Англичане. Не французы. Англичане.

И Джимс еще крепче сжал томагавк, словно тот был горлом англичанина.

Но думал он совсем о другом. Мысли Джимса вращались в узком замкнутом круге, бились о его каменные стены, с ужасающей монотонностью твердили о постигшем его горе и, непрерывно возвращаясь, набатным гулом звенели в голове. Мать мертва... она там... позади... Отец мертв. Обоих убили индейцы... английскими томагавками. Надо предупредить Тонтера.

Все случившееся походило на игру больного воображения, на зловещий кошмар. Вставшее солнце не рассеяло надежды и сомнения, которые, подобно сражающимся друг с другом духам света и тьмы, роились в мозгу Джимса. Красота теплого осеннего дня, сотни птиц, собирающихся в стаи для перелета в южные края, веселая переключка индюшек, спокойная синева неба усилили это ощущение. Порой Джимс готов был усомниться в том, что видел собственными глазами, и поверить, что ничего не случилось.

Через некоторое время здоровое начало его души стало все громче заявлять о себе в перерывах между приливами безумия и рассудительности, истерического надрыва и отрешенного спокойствия. Наконец галлюцинации отступили.

Дойдя до Беличьей Скалы, Джимс остановился и обвел взглядом Заповедную Долину. Озера приветливо поблескивали на солнце, и долина, расцвеченная осенними красками, еще больше напоминала огромный восточный ковер. Джимс не видел ни дыма, ни других признаков вторжения врагов или их близости. Ветерок донес песнь белок, в небе промелькнули два орла — знакомцы Джимса с детских лет. В голове у него прояснилось, и он почувствовал, что силы постепенно возвращаются к нему. Сказав несколько слов Вояке, Джимс положил руку ему на загривок; пес плотно прижался к колену хозяина и выразительно посмотрел ему в глаза. Вояка решил покамест не подавать голоса, но его взгляд был достаточно красноречив. Человек и собака поняли друг друга. Когда они пошли дальше, глаза Джимса блеснули по-иному.

Мысль, которую он до сих пор пытался отогнать, целиком завладела им. Она опалила его неудержимым, яростным пламенем; но пламя это не согревало плоть, не волновало душу. Отражаясь в глазах, оно превращало их в глаза дикаря — жесткие, как кремь, лишённые глубины и выражения. Лицо Джимса было бледно, бесстрастно, каждая его линия, каждая черта казались высеченными из камня. Он снова посмотрел на томагавк, и Вояка услышал, как с губ его сорвался стон. Томагавк не без злорадства о многом поведал Джимсу, вернул ему способность здраво смотреть на вещи, заставил вспомнить об осторожности. Джимс не сразу внял голосу рассудка, — то, что он оставил позади, сделало заботу о собственной безопасности излишней предосторожностью, но вовсе не потому, что он был так отважен, — нет, просто он стал нечувствителен к страху. Однако чем ближе подходил Джимс к владениям барона, тем громче говорил в нем инстинкт самосохранения. Он не побудил Джимса сойти с открытой тропы или сбавить шаг, но обострил чувства и исподволь подвел к мысли о мщении.

Но для этого было необходимо добраться до Тонтера. В имении барона оставалось несколько мужчин, которые не ушли к Дискау. Джимс вспомнил ружейные выстрелы, и перед его глазами встала отчетливая картина. Убийцы его отца и матери свернули на восток от Заповедной Долины, и, предупрежденный огнем Хепсибы, Тонтер встретил их заряженными мушкетами. Джимс верил в Тонтера и не сомневался, что все произошло именно так. Юношу очень тревожила судьба Хепсибы. Сперва он был почти уверен, что томагавки англичан настигли того где-нибудь в лесу, иначе он обязательно пришел бы на ферму ночью, пока они с Воякой оставались со смертью с глазу на глаз. Но когда Джимс поднимался на Тонтер-Хилл, в груди у него теплилась слабая надежда. Ему пришла в голову безумная мысль, что Хепсиба направился к Ришелье, — подав условный знак, он поспешил в Тонтер-Манор, рассчитывая

найти там своих. Должно быть, отец увидел поданный Хепсибой сигнал, но не поверил и чего-то ждал, а тем временем под покровом ночи смерть подкрадывалась к нему через заливные луга.

Возможно, еще мгновение, и, поднявшись на холм, он увидит Хепсибу... Хепсибу, барона, людей с ружьями...

Вояка и тот, казалось, ожидал того же, что и Джимс, когда, миновав последнюю поляну дубовой рощи, они выбрались на поросший каштанами кряж. С рассвета и до середины утра здесь всегда было много куропаток, и прямо из-под ног Джимса и Вояки, громко хлопая крыльями, в воздух поднялся целый выводок. Обращенный к Ришелье склон холма порос кленами, они по колено усыпали землю опавшими листьями. За кленами виднелся густой бордюр малинового сумаха, бегущая через него тропинка и вершина холма, где Джимс и его родители всегда задерживались, чтобы полюбоваться чудесной землей, подаренной королем Франции своему верному вассалу Тонтеру.

Джимс достиг вершины, и искру окрепшей было надежды поглотила внезапная тьма.

Тонтер-Манор больше не существовал.

Тонкий, стелющийся во все стороны туман окутывал равнину. Его невесомая пелена пала на землю, чтобы скрыть от глаз ужас случившегося. Сам по себе он не вызывал отвращения — паутинообразный многоцветный занавес едкого дыма, колеблющийся в лучах солнца; ткань, причудливо и лениво сплетаемая из белесых спиралей, поднимающихся над местами, где еще недавно стояли строения Тонтера и его фермеров. Из многочисленных построек сохранилась только одна. Не было больше господского дома. Не было церкви с амбразурами. Не было домов фермеров за покосами и полями. Сохранилась лишь мельница с большим ветряным колесом на самом верху. Колесо медленно вращалось, издавая жалобные звуки, и их слабые отголоски долетали до Джимса. Больше ничто не нарушало тишину.

Глядя вниз, Джимс видел, как ветер слабо колышет пелену дыма, погребальным саваном лежащую на земле, принявшей смерть. И, впервые за эти страшные часы забыв об отце и матери, он подумал о той, кого знал и любил очень давно. О Туанетте.

Долго стоял Джимс в краснолистных зарослях сумаха. Как замороженный смотрел он на сцену разорения и смерти, но трагедия минувшей ночи нанесла ему слишком глубокую рану, чтобы он был способен испытать еще одно потрясение. Чудовищность случившегося поразила молодого человека, но не сковала его рассудок, не лишила способности действовать. Здесь не оставалось места надежде: здравый смысл подтверждал горькую истину, о которой свидетельствовал покров над равниной, и безжалостно рассеивал обманчивые видения, туманившие разум призрачной верой в возможность чуда.

Под пеленой дыма не было заметно признаков жизни, никакого движения, кроме мерного вращения мельничного колеса. Просторное пастбище, спускающееся к реке, опустело. Коровы, лошади, овцы пропали. Всюду, насколько хватало глаз, царило полное запустение. Смерть прошла здесь так же стремительно, как и нагрянула, и никто из врагов не задержался, чтобы упиться торжеством победы.

Как несколько часов назад, стоя на опушке Большого Леса, Джимс искал глазами тело, боясь узнать в нем мать, так искал он теперь Туанетту. Только сейчас у него не было ни надежды, ни страха. Их сменила уверенность: Туанетта мертва. Как и у его матери, у нее насильственно отняли жизнь и — красоту. Волна ярости захлестнула Джимса, ее кипение было под стать безудержному, неистовому полыханию красок в малиновых шапках окружавших его кустов. Ярость росла в нем с того момента, когда он опустил на колени перед телом отца; на время она растворилась в безмерности горя, когда он отыскал тело матери; исполнила его безумием, когда на рассвете он закрыл их лица. Но тогда Джимс не мог определить овладевшее им чувство. Теперь же он знал, почему его рука так крепко сжимает английский томагавк. Он хотел убивать. И страшное это желание оставляло его совершенно хладнокровным, не побуждало во весь голос бросить вызов противнику или стремглав броситься в неизвестность. Обуявшая его страсть опаляла душу, но не трогала сердца, звала к отмщению не отдельному человеку и даже не группе людей. Джимс не задумывался над сущностью своего порыва, его не интересовало, имел ли он в основе своей некий глубинный смысл или был попросту нелеп. Он перевел взгляд с клубящейся дымом равнины на берегу Ришелье к югу — туда, где сверкали на солнце воды Шамплена, и рука, державшая томагавк, задрожала от только что проснувшейся жажды крови — крови, текущей в жилах народа, который с этого дня и часа Джимс возненавидел всей душой.

Спускаясь в долину, Джимс почти не замечал жалобного скрипа мельничного колеса. Он забыл страх и не считал нужным прятаться — смерть не станет возвращаться туда, где уже произвела столь полное опустошение. Но когда он подошел ближе, мельничное колесо принялось со странной настойчивостью высекать из тишины одну и ту же ноту. Словно зовя кого-то, она поплыла над обезлюдевшим простором: не столько жалоба изголодавшегося по смазке железа и дерева, сколько голос, обращенный к Джимсу. Ему вдруг показалось, что неожиданно для себя самого он не только услышал голос, но и разобрал слова: «Английский звереньш... Английский звереньш...» Слова эти повторялись с разными интервалами, пока не выработался четкий монотонный ритм, нарушаемый лишь редкими порывами ветра, под которыми мельничное колесо начинало вращаться немного быстрее. Как будто кто-то прочитал мысли Джимса. Все правильно. Он и был тем английским зверем, чей приход предсказывала мадам Тонтер. Туанетта не ошиблась. Белокожие дьяволы одной с ним крови, прислав убийц с томагавками, подтвердили ее правоту. И он, точно одинокий призрак, остался здесь, чтобы увидеть дело их рук. Мельничное колесо знало об этом и даже в минуты полного затишья



повторяло ему, кто он такой.

С упрямой решимостью вступил Джимс в раскрывшийся перед ним ад; он знал, что должен пройти через него, прежде чем отправиться на юг и в рядах армии Дискау искать отмщения. Теперь Туанетта принадлежала ему одному, как и его мать, и он занялся ее поисками.

Во рву, почти под самым карнизом церкви, Джимс наткнулся на мертвое тело, скрытое высокой травой. Пучок волос на бритой голове обличал в нем воина-могавка. Покойник сжимал в окоченевшей руке такой же томагавк, как у Джимса. Увидев привязанный к поясу воина скальп, Джимс почувствовал тошноту: скальп был снят несколько дней назад с головы совсем маленькой девочки.

Пройдя еще несколько метров, Джимс увидел следы короткого сражения. Старик Жан де Лозон, кюре, полуодетый и согнувшись пополам, лежал на сломанном кремневом ружье. На лысой голове старика не было ни единого волоска, и поэтому его не изуродовали. Кюре выстрелил из ружья и в тот момент, когда нуля угодила меж его худых лопаток, бежал к церкви, превращенной в крепость. Джимс довольно долго простоял над ним и разглядел эти подробности. Около тяжелой дубовой двери церкви он заметил на земле несколько темных пятен. Там лежали Жюшро и Луи Эбер, оба уже немолодые люди, а немного поодаль от них — их жены. Пятым был Родо, слабоумный парень; он и теперь был очень похож на клоуна, умершего с дурацкой ухмылкой на губах. Все они жили ближе других к церкви. Остальные находились слишком далеко и не сразу отозвались на сигнал тревоги. Но всех постигла одинаковая участь. Одни сами бросились навстречу смерти, другие ждали ее, не сходя с места.

Между группой убитых и горой дымящихся углей — всего, что осталось от господского дома, — на земле одиноко лежало еще одно тело. Джимс медленно побрел к нему. Пропитанный дымом воздух душил его, словно тончайшее полотно, лишенное дыхания жизни. С сердцем, разрывающимся от боли, узнал он в распростертом на траве труп Тонтера. В отличие от остальных барон был полностью одет. Без сомнения, он выбежал из дома, захватив оружие, но сейчас его руки сжимали комья земли, в которую вцепились в предсмертной агонии. Из груди Джимса вырвалось рыдание. Он любил Тонтера. Барон был единственным звеном, связывающим юношу с мечтами детских лет, и только благодаря ему он никогда не считал Туанетту окончательно потерянной для себя. И тем не менее до этой минуты Джимс не сознавал, насколько глубока его привязанность к Тонтеру, как необходим он ему. Очистив пальцы барона от земли, Джимс сложил его руки крестом на груди. Ему казалось, что Туанетта стоит подле него; еще мгновение, и голова его закружилась: сила духа отступила перед слабостью плоти. Тонтера он уже не видел. Зато слышал рыдания Туанетты.

Чувства Джимса затуманились, но подсознательно, из последних сил, он боролся с новым наваждением: ему чудилось, будто он плывет в пустоте. Вскоре, хотя ему и показалось, что прошло много времени, Джимс снова увидел Тонтера. Сперва очертания барона расплывались у него перед глазами, но постепенно обрели четкость. Джимс поднял томагавк и лук и встал на ноги. Даже тогда, когда рыдания Туанетты звучали совсем рядом, он ни на секунду не переставал слышать голос мельничного колеса. Этот голос звал его, но, прежде чем обернуться, Джимс задержал взгляд на деревянной ноге Тонтера. Она была наполовину обрублена — очевидно, убийца отличался склонностью к мрачному юмору. Мельничное колесо не преминуло обратить внимание Джимса и на это обстоятельство. «Смотри... смотри... смотри...» — проговорило оно и снова принялось за старое, называя его английским зверем.

Джимс повернулся к мельнице, и неожиданно его охватило смятение. Причину смятения юноши следовало искать не только в несправедливых обвинениях, звенящих в воздухе, но и в том, что лежало у его ног и что, по его глубокому убеждению, ожидало его у стен дома. От мельницы к месту, где стоял Джимс, потянуло ветром; дым закружился, смешиваясь с

пронизанным солнечными лучами туманом, и единственное во всем имении уцелевшее строение приобрело невиданные, фантастические очертания. Сквозь дым Джимс с трудом различал колесо, которое вращалось на самом верху большого каменного сооружения в форме пирамиды. Он молчал, стараясь уловить в сонном покое какой-нибудь другой звук, и мысленно посылал проклятия назойливому колесу. Он хотел сказать, что оно лжет. Хотел нарушить повисшее над равниной беспробудное молчание смерти, крикнув, что не имеет ничего общего с кровожадными дьяволами, пославшими сюда убийц. Доказательства там, в долине, которая наконец оправдала свое название. Его мать. Его отец. Его дядя Хепсиба. Ни душой, ни сердцем они не принадлежали к их роду, и все они пали от их руки. Сам он по чистой случайности остался в живых. Вот его доказательства. Колесо ошибается. Оно лжет!

Джимс снова посмотрел на Тонтера, точно собираясь с силами перед тем, как пройти еще немного и\* найти Туанетту. Он знал, как это будет. Увидеть труп Туанетты еще страшнее, еще ужаснее, чем труп матери. Джимс заставил себя повернуться к стене дыма. Туанетта мертва! Могли умереть отец, Тонтер, все! Но не эти двое — мать и Туанетта, навеки неразлучные в его душе, животворящий огонь, согревающий его кровь. Как могли они умереть, пока он жив? Джимс медленно пошел к развалинам, но задержался у трупа одной из рабынь — молодой, почти полностью обнаженной женщины, иссиня-черной, за исключением красной от крови головы, с которой сняли скальп. На руках женщины лежал скальпированный младенец. Белые, черные женщины, маленькие дети, очаровательные в своей невинности, — всех их постигла одна судьба.

Джимс обшаривал взглядом землю за трупом негритянки и там, где дым клубился особенно густо, заметил маленькую тонкую фигурку. Внутренний голос подсказывал ему, что это Туанетта. Так могло лежать и тело любой другой девушки, застыв в той же позе, с вытянутой обнаженной рукой, смутно видневшейся под покрывалом клубящегося дыма. Но Джимс знал, что это Туанетта. Перед его глазами вновь поднялся вызывающий дурноту туман, и он протянул руку, чтобы рассеять его. Туанетта... Всего в нескольких шагах от него... Мертва, как и его мать...

Вояка потрусил впереди хозяина, но на полпути до неподвижного тела остановился. Он учуял то, чего Джимс не мог разглядеть сквозь пелену дыма. Собака заметила опасность и хотела предупредить хозяина. В ту же секунду со стороны мельницы раздался выстрел, и руку Джимса пронзила резкая боль. Юноша отпрянул назад и поймал себя на том, что прислушивается к эху, возвращающемуся от поросшего лесом холма, и к голосам снова заговорившего мельничного колеса.

Еще через мгновение Джимс выронил лук и бросился к мельнице. Вояка последовал за хозяином. Когда они добрались до разбитой двери, пес, опередивший человека на длину прыжка, остановился. Джимс шагнул внутрь. Смерть вполне могла бы встретить его уже на пороге, но в сводчатом помещении, куда они вошли, ничто не кольхнулось, не шелохнулось, не раздалось ни единого звука: глубокую тишину нарушили только бешеное биение сердца и дыхание Джимса. Вояка перешагнул порог и стал принюхиваться к затхлому, пропахшему зерном воздуху, затем подошел к узкой лестнице, ведущей в комнату на башне. Всем своим видом пес показывал хозяину, что искать надо наверху. Держа наготове томагавк, Джимс взлетел по лестнице.

Внезапно ворвавшись в помещение, куда дневной свет с трудом пробивался сквозь пыльные стекла трех круглых окон под самой крышей, Джимс, должно быть, представлял собой незабываемое и устрашающее зрелище. Без сомнения, в его облике было что-то дикое. Часть верхней одежды он снял, чтобы прикрыть тела отца и матери, поэтому его руки и плечи были обнажены. Копоть, дым, засохшая земля до неузнаваемости изменили его лицо. Казалось, оно

специально раскрашено для убийства, а горящие зеленым огнем глаза жадно ищут врага. Из раненой руки на дубовые доски пола капала кровь. Джимс напоминал Франкенштейна<sup>24</sup>, готового совершить убийство: растрепанные волосы и ярость скрывали его юность, а поднятый томагавк и поза, говорившая о нетерпении броситься на жертву, вызывали ужас и содрогание.

Если бы этот томагавк обнаружил цель, то ею стала бы Туанетта. Она встретила Джимса, не отворачиваясь и держа в руках мушкет, из которого стреляла через щель в стене, словно еще надеялась с его помощью защитить себя. В глазах Туанетты светилось безумие. Темные распущенные волосы усиливали ее бледность. Тем не менее она ожидала смерть, выпрямившись во весь рост, и отнюдь не была похожа на человека, не помнящего себя от страха. Ее поддерживала непобедимая сила: в хрупком теле Туанетты обитала душа самого Тонтера, вселив в дочь не только бесстрашие перед лицом смерти, но и презрение к ней. Однако никакое мужество не смогло скрыть ее страдание. Промчавшаяся мимо смерть чудом не задела ее; и теперь, стоя в башне на мельнице, Туанетта испытывала душевную боль, сравнимую лишь с крестными муками.

Ожидая увидеть дикаря, она узнала Джимса. Мушкет с глухим стуком упал на пол, и Туанетта попятилась от того, чье появление вызвало у нее гораздо больший ужас, чем близость могавка. Она отступала до тех пор, пока не прижалась к груди мешков с зерном и не оказалась в положении человека, в буквальном смысле слова припертого к стене. Джимс увидел Туанетту, и клич мести, готовый сорваться с его губ, вылился в судорожный, похожий на рыдание вздох. Он произнес ее имя. Туанетта не ответила и еще плотнее прижалась к мешкам с зерном. Вояка направился к ней, стуча когтями по полу. Даже не взглянув на собаку, Туанетта не отрываясь смотрела на Джимса, и в неверном свете сумерек ее глаза горели ярким огнем. Теплый язык собаки коснулся пальцев девушки, и она резко отдернула руку. За спиной Туанетты громоздились смутные очертания стены из мешков с зерном, и, казалось, она стала выше ростом.

— Английское... чудовище!

Теперь уже не мельничное колесо, а голос Туанетты произнес эти слова — голос, полный того же безумия и ненависти, что сверкали в ее глазах.

Туанетта порывисто подняла с пола мушкет и ударила им Джимса. Если бы мушкет был заряжен, она убила бы своего врага. Туанетта наносила удар за ударом, но молодой человек не чувствовал их. Обрывочные слова, которые вырывались у выбившейся из сил девушки, — вот все, что он слышал, чувствовал, сознавал. Он пришел вместе с преданными англичанам индейцами, чтобы уничтожить ее близких! Он и его мать подготовили это нападение, поэтому они и остались в живых, тогда как все, кто был ей дорог, мертвы! Ствол мушкета ударил Джимса по глазам. Опустился на раненую руку. Оставил рубцы на теле. Рыдая, Туанетта повторяла, что хочет убить его, в исступлении взывала к небесам, моля послать ей силы. Джимс стоял перед ней неподвижно, как каменное изваяние. Английское чудовище... убийца ее близких... дьявол, более жестокий и кровожадный, чем раскрашенные дикари...

Туанетта продолжала наносить Джимсу удар за ударом, пока окончательно не выбилась из сил и не выронила тяжелый мушкет из рук. Тогда она ухватилась за томагавк Джимса, и юноша разжал пальцы на деревянной рукоятке. С торжествующим криком Туанетта вырвала томагавк и подняла его над головой, но, не успев нанести роковой удар, как подкошенная рухнула на пол. Но и тогда ее бесчувственные губы продолжали шептать слова обвинения.

Джимс опустился на колени рядом с Туанеттой и здоровой рукой поддержал ее голову. Мгновение она почти касалась его груди. Глаза Туанетты были закрыты, губы не шевелились. И Джимс, полуживой от ударов, вспомнил Бога своей матери и, с трудом выговаривая слова, вознес ему благодарственную молитву за избавление Туанетты.

Закончив молитву, он наклонился и поцеловал губы, призывавшие на его голову все кары небесные.

Очнувшись от забытья, на время смягчившего муки души и тела, Туанетта увидела, что рядом никого нет. Ей казалось, что она пробуждается ото сна в привычном полумраке своей спальни. Сознание медленно возвращалось к девушке, и вдруг словно вспышка молнии озарила ей страшную истину.

Она села, думая увидеть Джимса. Но Джимса не было, да и сама она находилась совсем не там, где упала к ногам своего врага. Во время ее обморока Джимс аккуратно сложил пустые мешки и, устроив из них более или менее удобное ложе, перенес на него Туанетту. Она посмотрела на пол и, увидев мушкет и пятно крови, задрожала. Она пыталась убить его, а он ушел, оставив ее в живых!

Как незадолго перед тем Джимс, Туанетта почувствовала себя опустошенной. Частица ее души погрузилась в море тьмы, захлестнувшей все ее существо, и она поднялась на ноги, объятая невозмутимым покоем, словно комната, где она находилась, — пыльная, затянутая паутиной, заваленная мешками спелого зерна, — превратилась в монастырскую келью. Страсти улеглись. Если бы мысль могла убивать, Туанетта по-прежнему, не задумываясь, излила бы на Джимса свою месть, но ни за что на свете не прикоснулась бы снова к лежащему на полу мушкету.

Она подошла к лестнице и заглянула вниз. Сын англичанки не оставил после себя никакого знака, кроме кровавого следа, спускавшегося по ступеням и ведущего за порог мельницы. Злобное торжество проснулось в Туанетте при мысли о том, что благодаря ей Булэнгов едва не коснулась та же смерть, на которую они и их соплеменники обрекли ее близких. Но это чувство быстро прошло. Как зачарованная смотрела она на капли крови, горящие на солнце. Джимс Булэн — там, во дворе, с ее мертвыми близкими! Мальчик, против которого мать настраивала ее с самого детства... мужчина, превратившийся в английское чудовище! Изо всех сил старалась она вернуть себе способность ненавидеть, жажду убивать, но усилия ее ни к чему не привели. Она шла по кровавому следу, ничего не слыша, кроме шума мельничного колеса. Внизу была пустота, вокруг — опустошение; само солнце, казалось, утратило свое тепло.

У порога Туанетта остановилась, — куда ни глянь, в воздухе висел волокнистый, неподвижный дым. Вдали сквозь дымную завесу над догорающими развалинами она с трудом различила какую-то фигуру, причудливо согнувшуюся под тяжестью ноши. Это было нечто бесформенное, искаженное солнечными бликами и хлопьями дыма, пляшущими перед глазами Туанетты, но живое, поскольку медленно удалялось от нее. За этим странным предметом двигалось что-то низкое и вытянутое. Туанетта догадалась, что это Джимс и его собака.

Она наблюдала за ними, пока те не скрылись из виду, и, — подождав несколько минут, медленно пошла в том же направлении.

Должно быть, Джимс видел ее, потому что вернулся, а за ним по пятам, словно оборотень, все так же плелась собака. Он где-то нашел куртку и уже меньше походил на дикаря, хотя лицо его было по-прежнему в копоти, земле и кровоточило в тех местах, куда пришли удары мушкета Туанетты; оно хранило то же бесстрастное выражение, что и на мельнице. То было лицо индейца, смягченное безмятежным покоем. Когда, тяжело дыша, он остановился перед ней, она попыталась заговорить. У Туанетты еще оставался запас обвинений и немного свирепости, но это не придало ей сил нарушить молчание. Джимс пристально смотрел на девушку, и глаза его уже не казались глазами убийцы — напротив, в них застыла холодная, мучительная жалость. У Туанетты закружилась голова, и она слегка покачнулась. Но Джимс не протянул руку, чтобы поддержать ее. Он уже не был юношей. Не был и мальчиком, ненавидеть

которого ее учила мать. Не был даже Джимсом Булэном.

Но голос его остался прежним.

— Мне очень жаль, Туанетта.

Джимс почти бессознательно произнес эти слова. Они вернулись из далекого прошлого, словно оживший призрак, память о котором и он, и она давно изгнали из сердца.

— Что ты здесь делаешь? — повелительным тоном спросила Туанетта.

Этот вопрос она могла бы задать и в те давние годы, когда он осмеливался приходить в Тонтер-Манор со своими глупыми подарками. Почему он здесь? Джимс повернулся в ту сторону, откуда пришел, и протянул руку — но не затем, чтобы Туанетта взяла ее в свои; его жест заменял слова. Она все поняла. Слезы? Едва ли. Оба были еще слишком оглушены пережитым потрясением. Неожиданный порыв ветра разметал волосы Туанетты по кружевной накидке из черного шелка. Она повиновалась Джимсу, слегка вскинув подбородок, — горе не укротило гордости, которая горела в ее глазах, сквозила в складке губ. Туанетта знала, что ей предстоит. Как бескрылый ангел, явившийся на землю, чтобы взглянуть на умершего, приближалась она к подготовленному Джимсом месту.

Джимс уже вырыл могилу. Она была неглубокой, и устилавшая ее трава делала ее не такой страшной. Лежа в могиле, Тонтер не выглядел несчастным. Трава прикрывала его голову, и Туанетта не увидела, что отца скальпировали. Она опустилась на колени и стала молиться. Джимс отошел в сторону; он понимал, что преклонить колени рядом с Туанеттой, когда его лицо и тело носят следы ее ненависти, было бы святотатством.

Мельничное колесо не унималось. Оно продолжало завывать и вскрикивать, хотя уже должно было бы многое понять; и вдруг Джимсу пришло в голову, что при жизни Тонтера все обстояло иначе. Должно быть, на крыше мельницы поселился сам дьявол!

Джимс терпеливо ждал, обводя взглядом размытый дымом горизонт. Смерть ушла, но она могла снова вернуться по ею же проторенной скорбной тропе. Джимс подумал об этом, оборачиваясь к склоненной над телом отца Туанетте. Казалось, прошло очень много времени, прежде чем девушка поднялась с колен. Она не плакала. Глаза, как синие звезды, мерцали на ее мраморно-белом лице. В потоке солнечного света волосы излучали неземное сияние. Красота Туанетты ослепила Джимса. И наоборот: устрашающий вид молодого человека испугал Туанетту, и когда Джимс снял с себя куртку, позаимствованную у одного из убитых, и накрыл ею труп Тонтера, у нее вырвался возглас протеста. Но она не проронила ни слова; только мельничное колесо продолжало нарушать тишину своими отравленными злобой стенаниями. Первые комья земли упали на тело барона. Туанетта не мигая смотрела в небо и, когда Джимс закончил свое скорбное занятие, вместе с ним вернулась к мельнице. Она наблюдала, как он идет за луком; поднимая его, Джимс разглядел, что принял за тело Туанетты труп жены Питера-младшего.

Джимс вернулся и во второй раз заговорил с Туанеттой. Его губы, разбитые стволом мушкета, распухли, рубец на лбу потемнел и налился кровью. Тряпка, которой он перевязал раненую руку, покраснела. Глаза болели.

— Я должен увести тебя отсюда, — сказал он. — У нас нет времени, чтобы позаботиться об остальных. Если они вернутся...

— Тебя они не тронут, — возразила она.

Джимс не ответил, а только посмотрел вдаль, за Ришелье, и в сторону Шамплена, где стояла армия Дискау.

— Не тронут ни твоего отца, ни мать и ничего, что принадлежит Булэнам. Напротив: они наградят их за помощь в убийствах и разбое. Разве не так?

И снова Джимс ничего не ответил. Он внимательно прислушивался, не донесется ли

издалека какой-нибудь звук.

Голос Туанетты звучал ровно, спокойно; ее не волновали последствия наказания, которому она подвергла Джимса, не трогал вид кровавых рубцов и ссадин, нанесенных ее рукой. Все это ничто в сравнении с тем, что выпало на долю ее близких, и только из-за ее досадной слабости и недостатка сноровки он избежал их участи. По лицу, по глазам Джимса Туанетта видела, что ему становится все хуже; но жалости не было в ее сердце, равно как и желания жить. Она знала, куда он поведет ее. В свой дом — который убийцы обошли стороной. К своей матери — ласковой красивой женщине, которой ее отец так беспредельно верил. К Анри Булэну — предателю, ради жены-англичанки поступившемуся честью. В Заповедной Долине, за холмом, принадлежавшим ее отцу, ее ждали безопасность и милостивый прием у врагов ее страны.

Уста Туанетты нашли способ еще глубже ранить Джимса.

— Отец и мать заждались тебя, — проговорила она. — Ступай к ним, а меня оставь здесь. Уж лучше я дождусь возвращения твоих друзей-индейцев. Я нисколько не жалею, что пыталась убить тебя.

Джимс отошел от Туанетты туда, где лежали Эбер, Жюршо и бесхитростный Родо. На этот раз он взял куртку слабоумного парня — отличную куртку, сшитую матерью несчастного. Мальчик любил птиц и цветы, и к лацкану его куртки был прикреплен увядший цветок герани. Джимс отцепил его и вложил в ладонь убитого.

Затем он подошел к Туанетте и сказал:

— Нам пора идти. — И, немного помолчав, добавил: — Извини, но прежде мне надо сходить к отцу и матери.

Спотыкаясь от слабости, покидал Джимс дымящиеся развалины, и Тонтер-Хилл то поднимался, то опускался перед его глазами. Голова молодого человека раскалывалась от боли, и, следуя за ним, Туанетта могла видеть последствия ударов, которые, не встречая сопротивления, она наносила ему железным дулом мушкета. И все же она шла за Джимсом, шла из клубов дыма на чистый воздух лугов и дальше по протоптанной дорожке, ведущей к старой индейской тропе и дому Катерины Булэн. Туанетта шла, словно ее вели на цепи, тяжесть которой она вскоре перестала ощущать, и, когда Джимс споткнулся и чуть не упал, она слабо вскрикнула. Лес сомкнулся за Джимсом и Туанеттой. Вокруг них еще более радостно, чем утром, природа наслаждалась теплом и золотисто-багряным буйством алгонкинского бабьего лета, которое предшествует лютым морозам, когда лопаются перезревшие плоды каштанов. Мирный покой осеннего дня, напоенного ароматами плодоносной земли, лазурное небо, звенящее приглушенными птичьими голосами, временами рассеивали горечь Туанетты, испытываемую ею к человеку, шагающему впереди, как ни старалась она сохранить ее. В такие минуты дух отца снова был рядом с ней. Эту тропу, бегущую через холм к вырубке в Заповедной Долине, он любил больше других, и на земле, утрамбованной копытами его коня, виднелись такие четкие, свежие следы, будто он проезжал здесь какой-нибудь час назад. Возле Беличьей Скалы барон всегда останавливался полюбоваться величием долины. Здесь же, на месте, вытоптанном его лошадью, остановились и Джимс с Туанеттой.

— Они там, внизу, — сказал Джимс и показал на долину, обращаясь скорее к Вояке, чем к Туанетте. Вытащив из-за пояса томагавк, он понес его в руке.

Они пересекли поляну, где Джимс мальчиком убил индюка — Поля Таша, и миновали выстроенную феями ограду из кустов. Когда Джимс и Туанетта вступили в величавый покой Большого Леса, Вояка, ковылявший между ними, поравнялся с девушкой и ткнул носом в ее руку. На этот раз она не отдернула ее. Они выбрались на склон, и Джимс забыл, что он не один. Он устремился вниз, как высокий стройный призрак... Туанетта застыла на месте, глядя широко раскрытыми глазами туда, где должен был стоять его дом, и с уст ее наконец сорвались

рыдания.

Джимс не слышал их. Он ничего не видел, кроме кучи розовых кустов, под которыми лежала его мать. Сперва он пошел к ней, забыв на время о втором убитом, не замечая ни солнца, ни продолжающих дымиться развалин. В его душе вновь затеплилась искра безумной надежды. Но Катерина была мертва. Теперь Джимс смотрел на нее более зоркими глазами, хоть и чувствовал дурноту от ран. Некоторое время он тихо стоял на коленях рядом с матерью. Затем нежно коснулся ее лица рукой и пошел к отцу. Вояка трусил за ним. На поле оставалась лопата Анри; они нашли ее и, взяв с собой, вернулись обратно. Джимс решил выкопать могилу под большим деревом — любимым деревом матери.

Когда он вернулся, его мать была не одна. С ней была Туанетта; она сидела на земле и держала голову англичанки на коленях. Сжимая в руках холодное лицо женщины, которую она тщетно старалась возненавидеть, Туанетта смотрела на Джимса с такой болью, такой мукой и сочувствием, словно ждала, чтобы он в наказание ударил ее.

Затем она склонила голову над матерью Джимса и покрыла смерть сверкающей пеленой своих волос,

Под высоким развесистым деревом Джимс начал рыть могилу.



Джимс и Туанетта покинули долину далеко за полдень, в тихий, навевающий сон час, когда солнце готовилось уйти на ранний отдых, оставив за собой яркое зарево заката, подобное причудливым переливам расплавленного стекла.

Они шли, взявшись за руки, как молодые бог и богиня, готовые противопоставить превратностям жестокого мира силу, закаленную в огне испытаний. Слабость и головокружение Джимса прошли. Его раненой руки ласково касались пальцы, такие же нежные, как пальцы его матери. Горячие слезы, капавшие из-под темных ресниц Туанетты, омыли его ссадины и уняли боль. Слова, сказанные голосом, какого он никогда раньше не слышал, и молящие о прощении за многие годы обид и непонимания, вселили в его сердце безмятежный покой. Туанетта пробудила в его истерзанной душе мужество и решимость. Опаленный горем, хотя и не большим, чем горе Туанетты, Джимс снова увидел образы, когда-то являвшиеся ему в мечтах.

Туанетта вновь превратилась в девочку, которой она была, когда мечты эти только зарождались. Джимс без труда мог бы вообразить, что рядом с ним идет прежняя Туанетта с фермы Люссана, с той лишь разницей, что в испачканном, изодранном платье, с прямыми, схваченными лентой волосами вместо шелковистых локонов, она, разумеется, не претендовала на былую неотразимость. За время, проведенное Туанеттой под большим деревом возле матери Джимса, в ней произошла разительная перемена: она утратила большую часть своей силы и мужества, но прежде всего — годами копившуюся гордыню, порожденную порочным воспитанием. Если пережитое горе преобразило Джимса, то и Туанетту оно превратило в ту девочку, которую так мечтала увидеть в своем доме Катерина.

Рядом с Джимсом Туанетта вовсе не казалась высокой. Она уже не была так бесстрастно-холодна, бледна и готова протянуть руки навстречу смерти, случись той оказаться рядом. Ее глаза не были глазами прежней Туанетты — *они потемнели от горя*, и в их бездонных глубинах застыли мука и безысходное страдание. Но было в них и другое. Туанетта снова видела бесконечные стены леса, пустынность окружающего мира, собственную беспомощность и силу того, кто шел рядом с ней. Испитая ею чаша ужаса обратила ее в камень, как Ниобею, но теперь она вновь чувствовала тепло живой плоти, ее хрупкость и слабость, вновь ощущала трепет жизни и страстное желание жить. Туанетта посмотрела на Джимса. Давно, давно, еще ребенком, она могла бы, совсем как сейчас, позволить ему завести себя в глубь леса, где он ничего не боялся и где таинственные тени и загадочные звуки заставляли ее сердце замирать от страха. Пальцы Туанетты крепко сжали пальцы Джимса.

Молодые люди миновали сад Катерины, где ее любимые цветы кивали полными созревших семян головками; прошли краем турнепсового поля, где созревшие плоды ждали, когда звонкий морозец придаст их мякоти хрупкость и аромат; пересекли новую вырубку, где груда выкорчеванных пней с причудливо извивающимися корнями ждала зимы, чтобы принести свет и тепло в дом Булэнов. На участке с разбросанными кругом комьями свежей земли валялись орудия, которыми пользовались накануне: топоры, лопаты, пекановые колья и большая двухлопастная мотыга, сработанная Хепсибой в кузнице Тонтера. На пне, до половины вырытом из земли, лежала одна из трубок Хепсибы, которую он смастерил из части кукурузного початка, приспособив для черенка польй тростник. Испуганно глядя на людей, рядом с пнем, под которым некогда находилось его жилище, сидел суслик.

Джимс остановился и, оглядевшись по сторонам, по привычке чуть не позвал Хепсибу. Сколько раз он слышал, как эхо возвращало его крик из леса, из низины и как отвечает ему голос дяди. Но царившая кругом непривычная тишина удержала Джимса и по-дружески

шепнула, что сейчас на нем лежит священный долг. Джимс перевел глаза на очаровательную головку рядом со своим плечом. Туанетта встретила его взгляд. В ее глазах светилась нежность, какой в них не было даже у могилы матери Джимса.

— Скорее всего, они схватили моего дядю, — сказал Джимс, стараясь говорить твердо и глядя поверх деревьев Заповедной Долины. — Он зажег огонь, чтобы подать нам сигнал, и они убили его. Я бы нашел его, но тебя нельзя оставлять одну.

— Тогда пойдем вместе, — предложила Туанетта.

Но Джимс повернул на запад. Он ни разу не обернулся, чтобы посмотреть на родные места, ничем не выдал чувств, щемивших его грудь. В кленовой роще, где под деревьями еще стояли тополевыя корытца для сбора сока, под ногами весело шуршали опавшие листья. Их шум не беспокоил Джимса. Он разговаривал с Туанеттой, словно та по-прежнему была ребенком, а он уже стал взрослым мужчиной и растолковывал ей что-то новое и не совсем понятное. Джимс сообщил ей, как в то самое время, когда он возвращался с фермы Люссана, нагрянули дикари, и объяснил, почему он пришел к выводу, что индейцы ушли в сильной спешке. Если бы их не вынудили обстоятельства, они прихватили бы с собой многое из того, чего не тронули, — например, собранный урожай зерна и фруктов. Джимс думал, что численность их примерно такова, как предполагала Туанетта: из окна своей спальни она видела сотни дикарей. Кроме того, он был уверен, что индейцы не пошли дальше к Ришелье, а вернулись через Заповедную Долину в земли моговков. Чтобы избежать встречи с индейцами, отставшими от отряда, надо свернуть с тропы на запад, затем снова на восток, к ферме Люссана. Джимс успокоил Туанетту, сказав, что не стоит бояться громкого шороха опавших листьев. Скоро они ступят на хорошо ему знакомые потаенные тропинки, под защиту непроходимых болот и леса, такого густого, что в нем уже темно, хотя на западе еще всюду светит солнце. Через день или два он в целости и сохранности доставит ее в соседние владения, откуда ее переправят к родным в Квебек, а сам присоединится к армии Дискау и будет сражаться против англичан. Джимс объявил о своем решении спокойно, без тени хвастовства, словно ничего другого ему не оставалось, и Туанетта знала об этом так же хорошо, как и он сам. Теперь же самое главное — добраться до фермы Люссана. Индейцы к ней не приблизятся, — по их поверьям, во всех заброшенных местах обитают призраки и злые духи. Если дикари случайно и набредут на ферму, то постараются скорее убраться оттуда. Говоря обо всем этом, Джимс с трудом сдерживался, чтобы не задать несколько вопросов Туанетте. Каким образом она оказалась совершенно невредимой под крышей мельницы? Где ее мать?.. Но он плотно сжал губы, зная, что прежде всего должен хоть немного залечить ее раны, если это вообще возможно.

Начался Большой Лес, и их со всех сторон обступили еще более гнетущая тишина, более глубокий мрак, угрожающий и таинственный. Солнце скрылось. Под ногами лежала не гладкая трона, а рыхлая, неровная почва; она, как губка, впитывала звуки шагов. Было уже совсем темно, и Джимс по-прежнему держал Туанетту за руку.

Во мраке прозвучал шепот девушки:

— У тебя болит рука, Джимс?

— Нет. Я совсем забыл о ней.

— А лицо — там, где я тебя ударила?

— Об этом я тоже забыл.

Что-то слегка коснулось плеча Джимса, но из-за темноты он не мог определить, что именно. Но что бы то ни было — упавший лист, покачнувшаяся ветка, даже сама тень, — едва ощутимое прикосновение наполнило юношу странным блаженством.

Если бы рядом шла мать — и для нее, как и для Туанетты, он был бы единственной защитой и опорой, — Джимс испытал бы то же чувство. Под обломками уничтоженного бичом

ненависти мира уцелела только одна душа, чтобы он заботился о ней и сражался за нее.

В течение следующего часа Вояка дважды становился в стойку и рычал, предупреждая об опасности. Джимс напрягал зрение и слух и всякий раз, останавливаясь и вслушиваясь в молчание леса, чувствовал легкое прикосновение к своему плечу.

Случайно они наткнулись на оленью тропу и, следуя по ней, вышли на равнину между двумя грядами холмов. Два года назад здесь пронесся опустошительный пожар, и они шли через молодую поросль кустов и деревьев, едва достигавших их головы. Яркие звезды светили им с неба. Слабым сиянием они отражались в гладких волосах Туанетты, освещали лицо Джимса и раны, нанесенные ее рукой. Взойдя на вершину северного холма, все трое остановились, чтобы немного передохнуть.

Хозяин и собака превратились в зрение и слух. Джимс напряженно вглядывался в объятую сном безбрежность лежащей внизу пустыни. Он ловил все движения, все звуки: направление ветра, изменчивую игру теней, бесшумные взмахи крыльев совы над головой. Только теперь он узнал, что прикасалось во тьме к его плечу: легко, как пушинка, его коснулась щека Туанетты. Джимс почувствовал, что девушка дрожит. Она подняла на него глаза, и они задержались на рубце, оставленном дулом мушкета, — красной полосе, пересекающей лоб.

Наконец молодые люди вышли на заброшенную дорогу длиной в полмили, которая заканчивалась у фермы Люссана. Казалось, звезды стали больше и ярче. Они освещали ту самую дорогу, где несколько лет назад Джимс наблюдал за прибытием на распродажу к Люссану Тонтера, Поля Таша и гордой маленькой принцессы. Теперь эта принцесса устало брела рядом с ним. В лунном свете она выглядела бледной и хрупкой; силы ее были на исходе. Платье изодралось о сучья валежника и кусты вереска, тонкие подошвы туфель стерлись. Подойдя к старому дереву, из кроны которого Джимс украдкой наблюдал за блестящей кавалькадой, он не удержался и рассказал об этом Туанетте, о чем сразу же пожалел: ему ответили рыдания. Туанетта справилась с волнением, но, когда они вышли на поляну и увидели развалины старого дома, ей стоило немалого труда снова не заплакать. Оба так измучились душой и телом, что мечтали только об одном: поскорее добраться до цели путешествия и дать наконец отдых обессиленной плоти. Их приход на ферму напоминал возвращение к давно забытому родному очагу. Здесь все было полно воспоминаний о надежде, торжестве, горечи, и даже в теперешнем запустении места эти обретали для Джимса и Туанетты неотразимую притягательную силу. Губы Туанетты едва заметно улыбались, будто в дверях дома она видела мадам Люссан, чей громкий голос, перекрывая голоса мужчин и женщин, заглушал веселые приветствия ее отца друзьям и соседям, неумолчный цокот копыт лошади и возгласы аукциониста. Будто все это она видела и слышала только вчера; а сейчас здесь все погружено в сон: одиноко стоит темный, безжизненный призрак дома, в высокой траве стрекочут кузнечики да густая чащоба покрывает некогда ухоженные лужайки.

Джимс и Туанетта снова были детьми и видели призраков, как только дети видят их: широко раскрыв глаза и поначалу дрожа от страха, но постепенно успокаиваясь и обретая утешение в близости вчерашнего дня своей жизни. Казалось, и звезды, и сверчки, и трава, и ветер прислушиваются к их осторожным шагам и незримо следуют за ними. Впереди бежал кролик. С крыши дома взлетела сова. Летучая мышь выписывала у них перед глазами спирали и зигзаги; колючки цеплялись за обувь и платье. Но пришельцы чувствовали себя в безопасности. Приятное тепло проникло им в кровь, напряженные нервы расслабились, глаза и мозг ощутили покой. Они нашли приют... покой... мир. Подходя к дому, оба без слов понимали это. Дверь была распахнута. Лунный свет, подобно золотистому сиянию свечей, заливал пол. Джимс и Туанетта молча остановились, словно прислушиваясь, не разбудил ли их приход спящих в доме. Гостей весело приветствовал сверчок, поющий в звездном луче. Они вступили в пустоту, в

призрачное пространство, но оно не таило в себе смерти, не внушало страха.

Молодые люди стояли немного поодаль друг от друга, и Туанетта была похожа на сломанный, готовый упасть цветок.

— Подожди меня здесь, — сказал Джимс. — Я схожу за травой.

Один из фермеров Тонтера скосил траву на заброшенном лугу Люссана. Накануне Джимс заметил стог и, сбегав к нему, вернулся с целой охапкой сена. В углу комнаты он устроил из сена постель, и Туанетта буквально упала на нее. Джимс укрыл девушку отцовской курткой, которую захватил в долине, и вышел во двор — нести ночной дозор вместе с Воякой.

Джимс слышал, как зарыдала Туанетта; слезы, неся с собой утешение, наконец пришли к ней. Он и сам проглотил подступивший к горлу комок, поборол жжение в глазах, когда проснувшийся в нем мальчик с тоской позвал мать. Как хотелось ему облегчить горе в слезах! Но мужчина одержал в нем верх. Не подавая вида, что он тоже устал, Вояка, не смыкая глаз, вместе с хозяином нес ночную вахту.

Через некоторое время в старом доме все стихло, и Джимс понял, что Туанетта заснула. Он осторожно вошел в комнату и поправил на спящей куртку. Прелестное лицо девушки было бледно, на ресницах и на щеках блестели слезы. Пальцы Джимса нежно коснулись шелковистых волос Туанетты и смахнули с ее лба веточку сена. Губы его бессознательно шевелились. Казалось, в комнате повеяло надеждой, верой, молитвой. Джимс поднес к губам мягкую косу девушки и вернулся во двор, унося в потаенных глубинах души рядом со скорбью чувство, близкое к блаженству.

Джимс сел на землю спиной к дому и положил рядом с собой лук, колчан со стрелами и томагавк. Тишина казалась живым существом, которое в торжественные часы созерцания глушило любой звук, и вскоре Джимс на себе ощутил ее воздействие. Медленно и неодолимо она пробуждала в нем желание закрыть глаза и уснуть. Чтобы прогнать сон, он поднялся на ноги. Вояка щелкнул зубами и его глаза зажглись огнем — в отличие от хозяина он вовсе не хотел спать.

Час шел за часом, а человек и собака по-прежнему несли дозор, не оставляя без внимания малейшее движение теней. Они медленно обошли поляну, производя так же мало шума, как крылья совы, которая время от времени пролетала над ними; внимательно осмотрели луг Люссана. Несколько раз Джимс забирался на высокое дерево, проверить, не зажжен ли где-нибудь костер. В промежутках между обходами он возвращался в дом взглянуть на Туанетту. Уже после полуночи он снова уселся у порога, и вскоре ему почудилось, что звезды подсмеиваются над ним, становясь все больше и больше, словно вышли победительницами из игры, в которую вовлекли и его. Они закрыли ему глаза. Вояка положил тяжелую голову на вытянутые лапы и глубоко вздохнул. Минутное оцепенение — и гон. Даже летучая мышь и та устала и отправилась в свое убежище в хлеву. Звезды померкли, и мир погрузился в непроницаемый мрак. Порой в темноте раздавался писк — это припозднившаяся с охотой сова камнем падала на кролика. Вояка слышал их возню и поскуливал. Но Джимс не просыпался.

Он снова дома, в долине. Сияет солнце, вокруг гнутся под тяжестью плодов ветви яблони, и рядом сидит мать. Они отдыхают под деревом после сбора яблок для сидра, а тем временем отец спускается по склону с возом, доверху груженным фруктами. До Джимса доносится скрип колес. Около дома дядя Хепсиба мастерит пресс для сидра. Голова матери касается плеча Джимса, и он чувствует на лице ее мягкие волосы. Вот они весело смеются над бурундуком, который пришел посмотреть на них: щеки зверька раздулись от зерна, и он очень похож на больного свинкой. Внезапно черная туча закрывает солнце, все погружается во тьму, и Джимсу кажется, что он защищает мать от неведомой силы, которая пытается вырвать ее у него из рук. Тьма рассеивается так же внезапно, как и наступила. Но странно — позы отца и дяди Хепсибы

не изменились: один застыл на полпути к дому, другой замер над подъемным воротом пресса... Любопытный бурундук не сдвинулся с места, и рот его все так же набит зерном.

Джимс с усилием очнулся ото сна. У ног он увидел Вояку, за ним кусты вереска, высокую траву, заросшую поляну и на ней — ни яблонь, ни своего дома, ни Хепсибы, мастеровившего пресс. Бывшая ферма Люссана. Уже наступил день. Вставало солнце. Все это промелькнуло перед Джимсом в первые же секунды после пробуждения, и только потом он почувствовал, что к нему кто-то прижался, и ощутил щекой мягкие волосы матери. Но это была не мать, а Туанетта. Наверное, она пришла еще до рассвета. Ее голова лежала на плече Джимса, и его руки обнимали девушку, как только что обнимали мать. Движение Джимса не разбудило Туанетту, но теперь, от легкого напряжения рук юноши, ее ресницы слегка дрогнули и с губ слетел глубокий вздох. Джимс поцеловал бледное лицо Туанетты, и она открыла глаза. Он поцеловал ее еще раз, и, казалось, этот поцелуй привел ее в такое же волнение, как и его самого.

Туанетта выпрямилась и, сев рядом с Джимсом, посмотрела на встающее над лесом солнце. Она дрожала от холода. Каждый куст, каждая тропинка на поляне сверкали инеем. Куртка, которую Туанетта захватила с собой из дома, соскользнула с ее плеч, и Джимс снова накинул ее на девушку. Они встали, и силы вернулись в их одеревеневшие члены. Издалека доносилась трескотня хвастливой голубой сойки. На лугу собирались коровы. Дятел долбил трухлявый пенек, извлекая из него звуки, похожие на стук молотка. Каждый звук разносился очень далеко в повисшем между небом и землей серебристом тумане, пронизанном лучами солнца.

Отныне Джимс и Туанетта принадлежали друг другу, и истину эту они приняли без усилия и смущения. Туанетта нисколько не стыдилась ни того, что вышла к Джимсу, ни того, что этим поступком обнаружила тайну, которую все эти годы гордыня и ложное предубеждение заставляли ее скрывать от него в своем сердце. Ее глаза излучали свет, и, казалось, он лился из бездонных глубин страдания и горя. Туанетта хотела, чтобы Джимс знал, что от ее нелепой гордости не осталось и следа и она безмерно рада, что именно он находится сейчас рядом с ней. Каждый из них с таким достоинством принял новую для себя роль: он — победителя, она — побежденной, — словно оба были гораздо старше своих лет. Туанетта ничуть не изменилась, разве что в глазах ее появилось то, чего раньше не было, — нежность. Иное дело Джимс. Рядом с Туанеттой он чувствовал себя выше ростом, и душу его переполняло неведомое прежде торжество — торжество победителя. Мир стал иным. Джимс стоял на пороге поразительных открытий. Ради них стоило жить, сражаться и побеждать. И пусть их скрывал покров тайны — от этого они не становились менее реальными. Сердце Джимса радостно билось, и в каждом его ударе звучали уверенность и несокрушимая сила. Вчерашний день, омраченный страданиями, мучениями и болью, отошел в далекое прошлое, и день сегодняшний, день, соединивший его с Туанеттой, стал потрясающим живым настоящим. Пальцы Туанетты коснулись плеча Джимса, и оба посмотрели на восток — на Ришелье и земли на противоположном берегу реки.

С той минуты, как Джимс и Туанетта проснулись, Вояка, точно вырезанный из дерева, застыл в побелевшей от инея траве, повернув голову в сторону луга. Пес явно что-то учуял, и ему не было нужды принюхиваться к ветру. Вдруг, заглушая шорохи леса, в воздухе зазвенел дикий, пронзительный крик голубой сойки, к нему присоединилось карканье встревоженных ворон. Над вершинами деревьев мелькнули черные крылья. Вояка следил, как они скрылись, и его поджарое тело дрожало от волнения. Первую сойку поддержала вторая, третья, и их трескотня не смолкала до тех пор, пока пронзительный клич одной из птиц резко не оборвался на зловещей ноте.

— Это стрела, — сказал Джимс, снимая с плеча лук. — Когда во время охоты я выслеживал дичь, мне не раз приходилось утихомиривать соек.

Джимс втащил Туанетту в дом и позвал Вояку. Через несколько минут они увидели, как со

стороны луга на поляну вышли моговки — проворные, внушающие ужас тени в мире мерцающей белизны.

Зрелище смерти, которая возвращается туда, где она уже сняла обильную жатву, не испугало Джимса. Все это время он высматривал ее, почти ждал, и в какой-то мере ее приход явился ответом на безгласную молитву, обращенную им к Богу, когда, проснувшись, он нашел Туанетту в своих объятиях. Сражаться за нее, с боевым кличем броситься из дома и, защищая ее, быть изрубленным на куски — такая перспектива не только не страшила Джимса, но, напротив, вселяла в него безумную отвагу и восторг. Но какие бы безумства ни зрели в его голове, когда, вставив в лук длинную охотничью стрелу, он стоял у порога дома, Туанетта, ради которой они замыслились, удержала его от них. Тихо вскрикнув, она потянула Джимса от разбитой двери и, пользуясь кратким мигом безопасности, пока дикари выходили на поляну, обняла его за плечи. В эти страшные мгновения на лице Джимса появилось выражение, очень похожее на то, что так напугало Туанетту на мельнице, — выражение жестокое, мстительное. Выражение человека, одержимого манией убийства.

— Джимс, дорогой, нам надо спрятаться, — молила она. — Нам надо спрятаться.

Джимсу не сразу пришло на ум, что тщетно пытаться спрятаться, раз следы их отчетливо видны на покрытой инеем земле. Но голос Туанетты, имя, каким она назвала его, побудили отказаться от намерения, которое неминуемо погубило бы их.

— Я знаю одно место, — говорила Туанетта. — Надо спешить!

Туанетта побежала первой, и Джимс поспешил за ней в соседнюю комнату с разрушающейся лестницей. На полу комнаты играл солнечный зайчик, и через впускившее его окно с выбитыми стеклами они мельком увидели могавков. Краснокожие убийцы задержались на краю поляны. Внимательно прислушиваясь к тишине, они стояли неподвижно, точно каменные изваяния. В ожидании более холодных дней их тела были обнажены до пояса и блестели от жира и краски. Туанетта не дала Джимсу задержаться в комнате, и лестница жалобно закрипела у них под ногами. С верхней ступени Джимс посмотрел вниз и увидел, что их следы четко выделяются на толстом слое пыли, покрывающем пол и лестницу. Если могавки придут в дом, подумал Джимс, то участь Туанетты и его самого можно считать решенной, но поскольку добраться до них индейцы смогут только по этой ветхой узкой лестнице, то все его двадцать стрел непременно попадут в цель.

Приведя Джимса в комнату наверху, Туанетта сразу подошла к похожей на стенную панель доске, и через секунду они заглядывали в пропахший плесенью мрак просторного помещения под самой крышей, которое мадам Люссан использовала вместо чердака. Стоило свету впервые за долгие годы прорезать тьму, как по чердаку забегали мыши.

— Мадам Люссан привела меня сюда после твоей драки с Полем Ташем, — прошептала Туанетта. — Свое перепачканное платье я забросила вон туда, в самый конец.

Даже несмотря на близость индейцев, при этом воспоминании голос Туанетты задрожал от волнения.

Джимс смотрел на узкую щель в стене, оставленную Люссаном в качестве окна и амбразуры для защиты от врагов. Вчера... Поль Таш... Туанетта — маленькая принцесса в платье для верховой езды, с блестящими локонами... И вот теперь они вдвоем в той самой комнате, где она так люто его ненавидела! Джимс подошел к окну, Туанетта встала рядом с ним. Никем не замеченные, они смотрели в прямоугольную щель, затененную навесом крыши. Солнце поднялось еще недостаточно высоко, чтобы согреть белую от инея землю. Духи вод и лесов превратили поляну в рай, который, как драгоценный камень, ограненный морозом, сверкал в окружении золотых и белых деревьев и густых зарослей орешника, объятых языками

желтого пламени. В глубине этой чистой, прекрасной сцены неподвижно стояли могавки, и по их позам Джимс понял, что они случайно вышли на поляну. В дальнем ее конце на фоне зарослей стояла дюжина воинов, и двенадцать пар глаз с напряженным вниманием рассматривали заброшенный дом. Но ни один из безмолвных дикарей не протянул руку к томагавку, луку или ружью.

Заметив это, Джимс с надеждой прошептал:

— Они видят, что усадьба покинута людьми, и если не заметят наших следов, то не подойдут ближе. Туанетта, посмотри! С ними белый человек в ошейнике пленника!

Джимс замолчал. Среди наблюдавших за домом он заметил движение, словно чья-то команда вернула их к жизни. Предводитель, индеец с тремя орлиными перьями в волосах, шагнул на поляну — высокий мрачный великан, по-военному раскрашенный красной, черной и охристо-желтой красками, кроме полного вооружения обремененный лишь скудной поклажей воина. У пояса дикаря висело несколько скальпов, в которых при каждом шаге играли лучи солнца. Среди них был женский скальп с такими длинными волосами, что беглецы не могли не заметить. Туанетта вздрогнула, громко вскрикнула, но все же возблагодарила Бога за то, что волосы были светлы, как день, и совсем не походили на мерцающее черное облако волос Катерины. Туанетте стало дурно, и она закрыла глаза, чтобы не видеть страшных трофеев удачливого воина. Когда она снова открыла их, четыре десятка воинов гуськом шли за предводителем, бросая по сторонам вороватые взгляды. Они прошли в сотне футов от того, что некогда было домом Люссана. У многих за поясом блестели на солнце свежие скальпы. С индейцами шли двое белых мужчин и мальчик со связанными руками и удавкой на шее. Из своего окна Туанетта и Джимс ясно видели на белом инее предательские следы в опасной близости от вереницы врагов; возьми индейцы чуть правее, они обнаружили бы не только пустоту и бестелесных призраков. Лишь после того как последний могавк скрылся за деревьями на противоположной стороне поляны, Туанетта устало взглянула на Джимса. Красная смерть прошествовала безмолвно: ни звука приглушенного голоса, ни стука дерева о сталь, ни хруста примятой травы или валежника под тяжестью восьми десятков обутых в мокасины ног. Индейцы ушли, но мир с их уходом не ожил. Вороны не вернулись на луг. Голубые сойки улетели на безопасное расстояние. Дятел перебрался на пень подальше от поляны. Даже в старом доме не слышалось мышьиной возни и писка — ничего, кроме бешеного стука трех сердец: двух человеческих и одного собачьего.

И тогда Джимс заговорил.

— Готов поклясться, что с ними был белый человек. Свободный белый человек в этой раскрашенной толпе, и у его пояса висели длинные волосы, — сказал он.

— Я заметила светлые волосы и не такую темную, как у индейцев, кожу, но подумала, что меня обманывает зрение, — ответила Туанетта.

— Англичанин, — сказал Джимс, — убийца ради денег. Один из тех, о ком говорил мне дядя Хепсиба.

— Но... он может быть и французом.

Они стояли, глядя друг другу в глаза: она — дочь аристократов Старой Франции, он — сын свободных граждан Нового Мира; и когда ее руки медленно поднялись к его лицу, лук и стрелы Джимса упали на пол. Впервые в жизни Туанетта приблизила свои губы к его губам.

— Поцелуй меня, Джимс, и помолись со мной. Возблагодарим Бога за милосердие, которое он явил нам!

Трепещущие губы Туанетты на мгновение слились с губами Джимса.

— Прости меня за все, — проговорила она.

Туанетта выскользнула из объятий Джимса, и лицо молодого человека осветил отблеск



прежней мальчишеской мягкости и красоты. Джимс стал первым спускаться по лестнице.

Они не сразу вышли из дома, а остановились у низкой двери, прислушиваясь к наружным звукам и стараясь понять, нет ли на поляне какого-нибудь движения. Вояка не сводил глаз со стены леса. Солнце поднялось выше, под его разрушительными лучами исчезли хрупкие создания мороза, и сказочные города и королевства уступили место куда менее красочным покровам осени. Земля вновь ожила. Бойкие компании белок устроились в кустах, и беличьи лапки мягкой дробью застучали по крыше дома. Дятел вернулся на старый пень и забарабанил по нему клювом, отыскивая личинки. Вояка шевельнулся и глубоко вздохнул, словно теперь он снова мог дышать полной грудью. Когда над их головами раздалась гортанная, похожая на приглушенный смех песня белки, Джимс повернулся к Туанетте.

— Они ушли, — сказал он. — Но кто-то мог и остаться. Поэтому не будем спешить.

Теперь им легче было говорить о смерти, разрушениях, как будто с течением времени все пережитое стало менее ужасно. События вторгались в их жизнь с поразительной быстротой, словно прошли дни и недели, а не часы, и Туанетта спокойно, как о далеком прошлом, рассказала Джимсу о трагедии в Тонтер-Манор. Ее мать за два дня до нападения индейцев уехала в Квебек. Туанетта благодарила Бога за избавление матери, но, когда она говорила об этом, в ее голосе не слышалось особенной радости. Подробностей случившегося она не могла припомнить; все было внезапно и ужасно, как огненный поток в черноте ночи. Питер Любек был с армией Дискау, и Элоиза, его молодая жена, перебралась к ней. Когда рано утром напали индейцы, они спали. Послышалась пальба, и на весь дом прогремел голос отца. Они вскочили с кровати. Отец вошел в комнату, велел им одеться и никуда не выходить. Туанетта не знала, что случилось, пока не выглянула в окно и не увидела сотни голых дикарей. Она бросилась за бароном, но его уже не было. Когда она вернулась в комнату, Элоиза исчезла, и с тех пор она ее не видела. Со всех сторон неслись пронзительные вопли, дикие крики. Туанетта поспешно оделась и, несмотря на приказ отца, спустилась вниз, громко зовя его и Элоизу. Парадные комнаты дома были полны огня и дыма, и, когда она прибежала на половину прислуги, путь назад ей отрезала огненная стена. На ее крики никто не ответил. Тогда-то она и вспомнила про мельницу, по словам отца, недоступную для огня и пуль. Она спустилась в погреб, через него пробралась в короткий подземный проход, а оттуда — в выложенный камнем и дерном наземный ледник, где зимой хранились фрукты и овощи. Она спряталась в нем и через некоторое время осмелилась приоткрыть дверь над головой. Везде бушевал огонь, и поблизости было видно всего несколько индейцев — должно быть, худшее уже свершилось. Издалека, оттуда, где дикари нападали на дома фермеров, неслись душераздирающие крики. Она выбралась из погреба и споткнулась о тело мельника, старика Бабэна, который упал с мушкетом в руках. Туанетта подняла мушкет и пошла к мельнице. Индейцев она больше не видела. В башне она почувствовала головокружение и едва не потеряла сознание. Немного придя в себя, она выглянула в узкое окно и увидела, что с юга к мельнице приближаются четверо незнакомцев. Она не сомневалась, что это белые, но боялась обнаружить свое присутствие. Вид их был ужасен. Они походили на чудовищ, пришедших взглянуть на мертвецов. И теперь, увидев среди моговков белого человека, Туанетта окончательно уверовала, что те четверо принадлежали к той же кровожадной банде и она поступила благоразумно, не выйдя из укрытия<sup>25</sup>. Мушкет Бабэна оказался заряжен, и она очень пожалела, что не попыталась застрелить хоть одного убийцу. И в Джимса она стреляла, приняв его за бандита, который отстал от отряда.

Естественно было бы ожидать, что рассказ Туанетты прозвучит взволнованно и страстно, но она говорила спокойно, глядя не на Джимса, а в глубь поляны. Это был пересказ фактов, чуждый пафоса и драматической аффектации. Когда Туанетта закончила, Джимс некоторое

время молчал. Затем он, в свою очередь, рассказал о путешествии на ферму Люссана, о возвращении домой и о том, что он увидел там. Потом он заговорил о Хепсисбе:

— Скорее всего, он обнаружил могавков в глубине долины и зажег костер, как мы уговаривались. Потом он попытался добраться до нас, но его убили.

— Он вполне мог спастись, — с надеждой в голосе предположила Туанетта.

Джимс покачал головой:

— Тогда он пришел бы к нам. Он мертв.

Голос Джимса звучал так же бесстрастно, как голос Туанетты, когда она говорила о своем отце и Элоизе. Джимс повторил, что его дяди нет в живых, и добавил, что и сами-то они чудом спаслись. Теперь же, как он полагал, путь вниз по реке, к друзьям, открыт. Индейцы не могли далеко продвинуться в том направлении и сейчас, вероятнее всего, поспешно отступают под напором барона Дискау, который узнал об их вторжении и послал им навстречу свои войска. Джимсу не пришло в голову, что барон и его люди могли потерпеть поражение, а именно такова была горькая истина.

Джимс достал из висевшей у пояса сумки несколько яблок и пару золотистых реп. Пока фруктовый сок не смочил его губ, Джимс не отдавал себе отчета в том, как давно он ничего не ел. Он уговорил Туанетту последовать его примеру, и та нехотя съела яблоко.

Тем временем Джимс рассказал Туанетте, что они должны предпринять. Прежде всего нужно пройти через сад и мимо хлева. Затем смело повернуть на север, а потом снова на восток. Ночь они проведут в лесу, но Джимс не сомневался, что сумеет устроить Туанетте удобный ночлег. Его беспокоили легкие туфли Туанетты — они почти развалились, и рано или поздно на них придется натянуть его гетры. Туанетта не боялась физических неудобств. Она слушала Джимса, и ее глаза светились новым светом. Ей было приятно, что он взял на себя заботу о ней и с такой уверенностью и знанием дела планирует их действия.

Они вышли из дома. Джимс шел впереди. В конце извилистой тропы их окружили заросли вереска и шиповника, которые за шесть лет буйно разрослись вокруг хлева, и Джимс невольно подумал, вспоминает ли Туанетта тот далекий день, когда они в последний раз были здесь вместе. В опущенной руке Джимс нес лук, из предосторожности держа стрелу наготове. Неожиданно она зацепилась за сухую ветку и упала на землю. Джимс наклонился, чтобы поднять ее, но испуганный крик Туанетты заставил его резко выпрямиться.

Шагах в десяти от них стоял полуголый раскрашенный дикарь, который, по всей видимости, пробирался к заброшенному дому. За несколько секунд, что они смотрели друг на друга, Джимс узнал в нем того самого белокожего охотника за скальпами, которого он и Туанетта заметили среди могавков. Джимс было почувствовал облегчение, но тут же сообразил, что такой противник гораздо опаснее индейца: перед ними стоял один из безжалостных живодеров, которые охотились за человеческими волосами ради платы, назначенной его соплеменниками. Голубоглазый индеец! Как часто слышал Джимс проклятия дяди по адресу этой породы! Звери, более коварные, чем тигры, которых англичане выпустили на свободу и платят им деньги. Вся жизнь их стала непрерывной оргией засад, выслеживания жертв, убийств, насилия, поджогов! Сейчас Джимс видел перед собой одного из них! Его покрывал слой жира и краски, но это был белый человек, светловолосый, с маленькими голубыми глазами, вооруженный ружьем, ножом и томагавком; у его пояса висели женские волосы, а рядом с ними скальп, скорее всего снятый с ребенка.

Джимс сразу увидел все эти подробности и, не успело эхо от крика Туанетты замереть вдали, понял, что они значат. Он не успел вытащить стрелу из колчана: «дикарь», имея на своей стороне преимущество в несколько секунд, вскинул ружье. Джимс метнулся вперед и, бросив во врага бесполезный лук, налетел на дикаря в то самое мгновение, когда тот спустил затвор

кремневого ружья и оно с грохотом выстрелило свинцовой пулей. Охотник за скальпами видел перед собой всего лишь мальчика и девочку — легкую добычу, однако неожиданно столкнулся с на редкость сильным и яростным противником. В первые секунды борьбы ни один из них не мог выхватить нож или томагавк. Словно обуянный долго сдерживаемым безумием души и тела, Джимс напал на врага и, вцепившись в скользкое от жира горло мнимого индейца, вместе с ним рухнул на землю. Кусты ломались под их телами; стремясь не дать противнику возможности пустить в ход смертоносное оружие, задыхаясь, они обвивали друг друга руками и ногами и катались по траве так, что округлившись от ужаса глаза Туанетты почти не различали их, а Вояка, который, оскалив белоснежные клыки, кружил вокруг, не мог принять участия в сражении. Наконец охотник за скальпами огромным усилием освободился от противника и вскочил на ноги, вытаскивая из-за пояса томагавк. Вояка прыгнул, нацелясь зубами ему в горло. Но тупой конец томагавка настиг пса в воздухе и с такой силой ударил по голове, что тот обмякшей, неподвижной массой свалился под ноги «индейца».

С окровавленных губ Франкенштейна сорвался крик: он уже предвкушал близкую победу, видя в юноше с томагавком в руке ничтожное препятствие, отделяющее его от прелестной бледной девушки, которую случай поставил на его пути. В этом крике слышалась давняя привычка подражать индейцам, и все же издать его мог только белый человек. Это был гортанный торжествующий вопль существа, утратившего всякие обязательства, налагаемые рождением и расой: крик, исторгнутый не столько горячностью и страстью, сколько предвкушением того, что глаза этого существа видели в Туанетте.

С разряженным ружьем в руках Туанетта встала рядом с Джимсом, готовая принять участие в схватке. Джимс был так близко, что его рука касалась ее руки, и, когда он сделал резкое движение, Туанетта упала в кусты. Тем же движением Джимс запустил томагавк в медленно приближающегося охотника за скальпами. Пока тот увертывался от летящего в него оружия, Джимс поднял одну из разбросанных по земле стрел и подбежал к луку. Туанетта видела, что произошло потом. Она видела, как красивая худощавая фигура вытянулась в струну. Видела, как раскрашенное чудовище наступает на него. Слышала мелодичный звук натянутой тетивы. Видела серебристую вспышку — вспышку, которая влетела в грудь и вышла из спины голубоглазого «индейца» окровавленной сломанной стрелой, свершившей свое правое дело.

Пока Джимс успокаивал потрясенную спутницу, его ни на секунду не оставляла мысль, что могавки услышали выстрел. Туанетта не сразу поверила, что битва закончена и негодяй, который, как огромный паук, лежал на спине, уже не представляет опасности. Ее вера в Джимса еще больше окрепла, и к чувству облегчения и гордости прибавилась искренняя радость, когда она увидела, что Вояка жив. Пес, шатаясь, поднялся и злобно смотрел на убитого.

Джимс поднял несколько уцелевших в схватке стрел и с сомнением посмотрел на валявшееся на земле ружье.

— Лук надежней, — ответил он на вопрошающий взгляд Туанетты. — Стрела не делает шума, и я ей больше доверяю.

Они прошли мимо убитого, и тот проводил их невидящим взглядом открытых глаз. Туанетта не сдержала подступившего к горлу истерического рыдания и тут же с такой любовью и благоговением взглянула на Джимса, что бешеное биение сердца и стук крови в висках заглушили для него все прочие звуки. Он сражался за нее и победил! И сражался на той самой земле, где шесть лет назад ему не удалось проучить Поля Таша!

— Индейцы слышали выстрел и обязательно вернутся, — сказал молодой человек. — Этот белый наверняка как-то догадался о нашем присутствии в заброшенном доме и пришел, чтобы прикончить нас в одиночку и ни с кем не делиться добычей. Боже мой, стоит подумать...

Джимс посмотрел на волосы Туанетты, рассыпавшиеся по плечам.

— Надо бежать отсюда, — сказал он.

Они уже миновали хлев и шли через запущенное поле.

— Меньше чем в миле отсюда есть каменистый кряж, — подбадривал Джимс Туанетту. — Если нам удастся добраться до него, я знаю десятка два мест, где голые камни помогут сбить их со следа.

— Мы обязательно доберемся туда, — проговорила запыхавшаяся Туанетта.

Джимс показал рукой направление, пропустил Туанетту вперед, а сам пошел за ней, оглядываясь через каждые двенадцать шагов.

Как грациозная нимфа, спешила Туанетта через лес, в котором Люссаны когда-то собирали топливо, и ее длинные волосы струились, сверкая на солнце. Порой их красота заслоняла от Джимса все остальное, и, предаваясь созерцанию этой красоты, он чувствовал на спине холодок страха. Однажды, работая с Хепсикой в поле, он услышал от него о том, какое применение нашли женским волосам и англичане, и французы и что многие дворяне и светские львы носят блестящие локоны вместе с кожей, срезанные убийцей в девственных лесах Америки.

Вскоре усталость Туанетты вынудила их сбавить шаг. Когда они добрались до скалистого подъема к вершине горного кряжа, девушка едва дышала и в течение нескольких минут не могла продолжать путь. Но слабость тела не означала слабости духа. Щеки Туанетты пылали, глаза горели, стройная фигура, казалось, бросала вызов своей хрупкости. Она без страха смотрела туда, откуда они пришли, ее грудь взволнованно вздымалась, руки тянулись к Джимсу.

Прошло несколько минут, и каждая из них казалась Джимсу часом.

Затем они поднялись по гребню кряжа, точнее, плоской горной вершины, оцетинившейся скалами и кое-где поросшей кустарником и карликовыми деревцами. Каждый шаг здесь требовал предельной осторожности и внимания. Теперь Джимс прокладывал путь, стараясь не задевать россыпи камней, траву и землю. Когда от того места, где молодые люди вышли из долины, их отделяло полчаса утомительного пути, кряж сделался шире и с одной стороны перешел в скалистое плато, которому, казалось, не было конца. Идти стало легче: каждый шаг

уже не требовал таких усилий. Но вот к югу от плато, словно длинный узкий сосок материнской груди, отделился другой кряж, уже первого, еще более неровный и неприступный на вид. Джимс предпочел этот, наименее привлекательный, путь.

— Если они доберутся сюда, то решат, что мы выбрали более широкую и удобную дорогу, — объяснил он Туанетте. — Ты можешь продержаться еще немного?

— Мы все время бежали, и я совсем выбилась из сил, — сказала Туанетта. — Но сейчас я такая же сильная, как ты, Джимс. Можно мне остановиться и поправить волосы? Я хочу, чтобы ты мне их обрезал, — с ними слишком много хлопот.

— Лучше я отрежу себе руку, — заявил Джимс. — Потерпи. Скоро мы будем в безопасности, переберемся за эти скалы...

Джимс не закончил. С той стороны, откуда они пришли, послышался крик. Он был негромок и летел издалека, но неподвижный воздух донес его так четко, словно кричавший находился на расстоянии ружейного выстрела. В этом крике не было ни жестокости, ни угрозы, напротив, в нем звучала странная, почти музыкальная, нежность. Джимс слышал, как точно так же кричали во время охоты Большой Кот и Белые Глаза: они сперва раскатывали звук, поднеся ладони ко рту, а потом посылали его на расстояние полумили. Джимс понял, что значит этот крик. На кряже были могавки, и один из них извещал своих рассеявшихся по склону спутников, что обнаружил беглецов.

Джимс объяснил Туанетте, что надо спешить.

— Они напали на наш след, — сказал он. — Может быть, заметили камень с отметинами от когтей Вояки или поцарапанный гвоздями твоих туфель. Как бы то ни было, они знают наш путь. И решат, что мы спустились на равнину.

Туанетта заметила отчаянные усилия Джимса скрыть от нее истинную близость опасности.

— Я видела, как индейцы лазают по скалам. Не хуже кошек. А я такая неуклюжая... — сказала она. — Ты ходишь быстрее любого индейца, Джимс. Спрячь меня где-нибудь здесь, в скалах, и дальше иди один. Они не тронут меня, я уверена, даже если случайно найдут.

Джимс не ответил. Они подошли к скале, которую он заметил несколько мгновений назад. Она напоминала играючи сложенную великанами неолита надгробную пирамиду, выветренную и источенную бесконечной чередой веков, отчего в ее стенах образовалось множество трещин, запутанных лазов и ниш, а вокруг беспорядочно валялись обломки — следы распада и уничтожения, начавшихся в незапамятные времена. Если где и можно было спрятаться, то именно здесь. Внутри пирамиды имелась масса темных и глубоких тайников, и на стыках отдельных валунов образовались карманы, в которых беглецы могли найти надежное укрытие. Туанетта оценила достоинства этого места; у нее отлегло от сердца; страх отступил, проснулась надежда. Она взглянула на Джимса, который задержался, чтобы как следует осмотреться.

В нескольких шагах от места, где остановились молодые люди, в стороне от других лежали три валуна. Они были не очень большими и казались изгоями, съездившимися под сердитыми взглядами могучих соседей. Один из них раскололся, и половина уцелевшей части выдавалась вперед, образуя крышу над широкой щелью между двумя другими валунами. Животное не стало бы искать там убежища. Инстинкт направил бы его к большой пирамиде.

Джимс показал Туанетте на валуны, и глаза его заблестели.

— Вот где мы спрячемся! — воскликнул он. — Быстрее, Туанетта! Камень гладкий, и мы не оставим никаких следов. Спрячься и возьми с собой Вояку!

Джимс принялся разбрасывать камни вокруг валунов, несколько камней перекинул через них и, наконец, три или четыре метнул в долину так, чтобы каждый следующий камень падал дальше предыдущего. Напоследок он выпустил из лука стрелу, и та упала на поляне у подошвы кряжа.

Изумленная Туанетта с тревогой наблюдала за Джимсом, пока тот твердым голосом не велел ей быстрее заползти под камни. Туанетта не стала дожидаться повторения приказа и, подтягиваясь на руках, в три или четыре приема пролезла под валуны. Джимс протолкнул за ней Вояку и с несколько большим трудом сам проделал ту же операцию. Они ерзали и извивались по земле, пока не нашли темную нишу, где могли не только поместиться все вместе, но даже сесть, разогнув спину. Джимс не ожидал такой удачи и с ликованием объяснил Туанетте причину своего загадочного поведения.

— Сперва они найдут раскиданные камни и знаки, которые я оставил, и примутся искать нас в каждой дыре и щели большой скалы, — сказал он. — Обнаружив стрелу, они решат, что мы убежали в лес. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Но даже если они доберутся сюда, то вряд ли станут заглядывать под эти камни; а заглянут — все равно ничего не увидят, разве что кому-нибудь из них придет в голову заползти внутрь.

Они ждали молча, и биение их сердец, как дробь крошечных барабанов, звучало во мраке каменного убежища. Через узкую щель между валунами пробивался слабый свет, но он не доходил до их закутка. Вояка глубоко вздохнул: он лежал неподвижно, как мертвый, не сводя глаз с луча света.

Туанетту слегка познабливало, но она прошептала:

— Я не боюсь.

Она услышала, как Джимс, нащупав томагавк, осторожно положил его рядом с собой.

Вдруг камень издал слабый звук, как если бы кто-то осторожно постучал по нему палкой. Звук нарастал и рассыпался на множество других — легких, дробных. Джимс понял, что их тайник со всех сторон окружили люди, обутые в мокасины. Мягкий топот шагов сливался с низкими голосами. Затем раздался более громкий голос, и все кругом разом наполнилось шумом движения и глухими гортанными выкриками. Очевидно, что-то сильно взволновало индейцев. Туанетта догадалась, что они нашли знаки, оставленные Джимсом, и рыскали среди беспорядочного нагромождения скал. Девушка не сводила глаз с полоски света, которую время от времени заслоняли проходившие мимо индейцы. Шаги то приближались, то удалялись; изредка слышался грохот осыпающихся камней. Но вот голоса смолкли, и наступившая тишина показалась Туанетте еще более страшной, почти невыносимой. Крики и гам говорят о близости людей, а люди подвластны земным законам, тогда как бесшумное движение снаружи пробуждало в воображении видения потустороннего мира. Туанетте мерещились бессловесные существа, которые, как голодные волки, принохиваются к их следу. Ее охватило ощущение невидимой, неотвратимой опасности, и каждое мгновение она ожидала увидеть, как в их убежище крадется страшный призрак с пылающими глазами. На смену страху пришел ужас, а с ним безумное желание закричать и хоть немного снять мучительное напряжение. Джимс что-то шептал ей на ухо, но Туанетта не разбирала слов и изо всех сил старалась побороть то, что искренно считала трусостью.

Джимс и сам едва не оказался во власти неведомых сил, с которыми не мог совладать. В страшном, томительном ожидании прошло не более получаса, но и Туанетте, и Джимсу они показались вечностью. Наконец снова послышались голоса. Теперь их было больше, и звучали они более взволнованно. Но вот, заглушая все прочие звуки, снизу донесся вопль — один из следопытов нашел стрелу Джимса.

Когда Туанетта подняла голову, она не услышала ни единого звука, свидетельствующего о присутствии на вершине холма живых существ, кроме них самих. Вояка глубоко дышал, словно его легкие вот-вот лопнут.

— Слава Богу, они решили, что мы спустились в долину, — сказал Джимс.

Туанетта дотронулась до его руки, давая понять, чтобы он замолчал, и в то же мгновение

Джимс уловил звук, который девушка расслышала раньше него. Кто-то находился около их убежища! И не один, а двое! Их голоса звучали глухо, но достаточно громко. Индейцы стояли так близко, что заслоняли свет. Джимс с удивлением услышал язык, которому обучил его Хепсиба Адамс, а вовсе не язык могавков. Он ни минуты не сомневался, что именно могавки — не считая белых пленников и убитого им охотника за скальпами — оставили следы на вырубке Люссана; но сейчас возле их тайника стояли сенеки. Это открытие неприятно поразило Джимса. Он ненавидел могавков, чьи томагавки держали в страхе жителей южной границы, но сенеков, тоже входивших в состав шести союзных племен, он опасался вдвойне: ведь если убийцы-могавки считались волками лесных просторов, то сенеки были помесью лисы и пантеры. Одни подкрадывались к жертве под покровом тьмы и тайны; другие с быстротой молнии наносили смертельный удар и мгновенно исчезали. Он мог провести могавка, но сенеку — никогда.

Джимс слушал разговор двух индейцев, и кровь стыла у него в жилах. Один настаивал на том, что стрела — всего-навсего военная хитрость и беглецы где-то поблизости, другой упорно говорил об огромной каменной пирамиде, — он был уверен, что ее осмотрели недостаточно внимательно. Наконец один из них отправился проверить справедливость своих подозрений. Второй остался на прежнем месте, и ни Джимс, ни Туанетта не слышали, чтобы он шевельнулся. Туанеттой ненадолго овладела мысль, что дикарь приложил ухо к камню и прислушивается к биению их сердец или смотрит в узкую щель, сверля глазами мрак каменного укрытия. Время, казалось, остановилось. Но вот снаружи раздался слабый звук. Металл царапнул о камень — сенека прислонил к валуну ружье; послышались шаги... отделились, вновь вернулись и замерли около узкой щели, через которую Джимс и Туанетта протиснулись под камни. Джимс затаил дыхание, чтобы в мертвой тишине не пропустить ни одного звука.

Дикарь разглядывал вход в убежище! Джимс отчетливо представил себе индейского воина, его сомнения, колебания; он был уверен в малейших деталях этой картины, словно между ним и индейцем не было никакой преграды. Джимс услышал тихое бормотание. Сенека лежал на животе и, заглядывая в лаз, ворчал на собственную глупость, которая заставила его принять столь неподобающую позу. Секунда, другая — он поднимется и уйдет. Но секунда прошла. Две... три... четыре... двенадцать. Туанетта замерла, боясь дышать. Учув приближение грозной опасности, Вояка, как сфинкс, припал к земле. Тишина сгустилась, обрела почти физическую плотность, тяжестью смерти давила на тело.

Наконец тишину нарушил едва слышный звук — прядь волос, упав с плеч Туанетты на руку Джимса, произвела бы не больше шума. Индеец просунул голову в лаз, прислушался, втянул ноздрями воздух и пополз — проворно и вместе с тем осторожно, как хорек, унюхавший добычу. Сомнения рассеялись: теперь он твердо знал, что под камнями кто-то скрывается, и с мужеством истинного сенеки устремился вперед, не желая упустить возможность стяжать славу, пусть даже ценой жизни. Кроме того, индеец не без основания рассудил, что если он унюхал всего-навсего лису, медвежонка или жирного барсука, то посмеяться над его неудавшейся затеей все равно будет некому.

Очевидно, сенека был крупнее Джимса, поскольку начало пути далось ему с трудом. Он терся о стенки узкого лаза, и всякий раз, когда выбрасывал руку вперед, томагавк с легким звоном ударялся о камни. Дыхание индейца участилось. Видимо, трудности продвижения убеждали сенеку, что если впереди его и ждет опасность, то исходит она от существа, покрытого шерстью и вооруженного когтями.

Напряжение Джимса достигло предела. Опасность приближалась, и через несколько секунд она будет на расстоянии вытянутой руки. Он снял с плеча руки Туанетты и приготовился встретить врага. Их глаза привыкли к полумраку, и Туанетта видела, как Джимс подался вперед

и, припав к земле, собрался в комок перед битвой не на жизнь, а на смерть. И вдруг она поняла, что это будет вовсе не битва. Когда покажется голова сенеки, томагавк Джимса просто-напросто размозжит ее. Туанетта видела этот занесенный для удара томагавк. Не раздастся ни крика, ни стоны — только страшный глухой звук. Она прислушивалась к малейшему шороху, а обреченный на смерть человек медленно приближался.

Теперь индеец полз с меньшим трудом. Лаз расширился, и сенека с удовлетворением крякнул. В гортанном клекоте, с которым он продолжал свое вторжение, слышалась ирония по собственному адресу. Собака и барсук пахнут одинаково. Раскрашенный воин с тремя перьями в волосах ползет за барсуком! Должно быть, именно эта мысль пришла ему в голову.

Сперва показались перья, затем длинный клочок черных волос, бритая голова, плечи. Джимс сосредоточил всю свою силу в руках. Он знал, что в его распоряжении всего один удар — меткий удар в середину черепа. Этот удар все решит. Джимс зажмурился, томагавк пошел вниз, но остановился: беспредельный ужас перед задуманным охватил юношу, и его руки застыли в воздухе. Он понял, что замышляет обыкновенное убийство. Сенека повернул голову и взглянул вверх. Его глаза были приучены к ночному освещению, и в темноте он видел лучше Джимса. Увидев белое лицо и смертоносный томагавк, он окаменел от неожиданности. Индеец не мог не сознавать, что все его лесные божества бессильны помочь ему, но даже в минуту потрясения с его уст не сорвалось ни звука и стиснутое в каменном мешке тело не шелохнулось. Зрачки сенеки светились мрачным блеском. Он не дышал, но, даже понимая, что конец близок, чувствовал скорее изумление, чем испуг. В прекрасном лице индейца не дрогнула ни одна мышца.

Прошла еще секунда, а томагавк так и не опустился. Джимс и дикарь пожирали друг друга глазами. Наконец Джимс бросил томагавк и, охваченный отвращением к едва не содеянному, схватил сенеку за горло. Напрягая мощное тело, индеец пытался освободиться от железной хватки, но положение его было абсолютно безнадежным, и вскоре обмякшей, бесчувственной массой он лежал на камнях.

Для беглецов эскапада сенеки и поединок — если случившееся заслуживает такое название — длились гораздо дольше, чем это было в действительности. Тем временем следопыты убедились, что стрелу пустили в долину с целью задержать отряд, и толпой возвращались на вершину холма. Полдюжины воинов, о чем-то оживленно споря, собралось около убежища Джимса и Туанетты.

Сидя в своем углу, Вояка мучительно старался понять причину строгих приказов хозяина и необходимость подчиняться им. Давняя дружба с Джимсом и годы тренировки приучили пса ценить молчание, и, как ни рвался Вояка сперва напасть на дикаря-захватчика, а потом пособить Джимсу в схватке с ним, он все же не шелохнулся и не покинул свой наблюдательный пункт. И если после возвращения индейцев нервы Туанетты могли в любую минуту не выдержать, то и нервы пса были отнюдь не в лучшем состоянии. В нем громко заявляла о себе кровь сотни поколений плотоядных воителей. В его глазах зажглись зеленые и красные искры; их свет разгорался, и скоро они пылали ярким пламенем. Зубы Вояки обнажились, челюсти время от времени щелкали, как кастаньеты, сердце разрывалось от необходимости соблюдать тишину и от вынужденного бездействия. Он стал свидетелем славной победы. В то самое время, когда индейцы снова столпились около их тайника, его хозяин переживал триумф победителя. В душе Вояки поднялась волна протеста. Он ненавидел запах, льющийся снаружи, ненавидел существа, от которых он исходил. И его ненависть неожиданно излилась в яростном вое обезумевшего зверя. Напрасно Туанетта прижимала голову пса к груди, напрасно Джимс сжимал ему челюсти.

Распростертый на камнях сенека слегка пошевелился.



Снаружи наступила зловещая тишина.

Наконец Вояка понял, что натворил, и замолк. Все трое скорее почувствовали, чем услышали, мягкие бархатные шаги безмолвной цепи, которая медленно окружала их смертельным кольцом.

Воин-индеец открыл глаза. Ухом он почти касался стены и расслышал шаги, едва ли более громкие, чем шорох листьев, падающих с засохшего дерева. Индеец увидел женщину с длинными волосами и душившего его мужчину — белолицых, обнимающих друг друга; они были так близко, что он мог бы дотянуться до них рукой. Он снова закрыл глаза, притворяясь, будто теряет сознание. Но его пальцы с проворством змеи незаметно скользнули по каменному полу и нащупали томагавк, брошенный белым человеком.

Минут через двадцать после того, как Вояка выдал их убежище, Джимс и Туанетта стояли на солнце. Много загадочного случилось за это время. Невидимые руки вытащили индейского воина из каменного мешка, после чего наступила пауза: возбуждение индейцев несколько улеглось, и они не спеша принялись вполголоса обсуждать положение. Затем кто-то на корявом французском окликнул беглецов и приказал им выйти из укрытия. Те повиновались; первым выполз Джимс, за ним Туанетта и, наконец, Вояка — с понурым видом зверя, который знает, что впал в немилость.

Удивительный и неожиданный прием оказали пленникам их увешанные скальпами враги. На кряже собралось около тридцати сенеков — в основном люди молодые, прекрасного телосложения, с живыми глазами и тонкими чеканными лицами. Туанетта рассматривала их с испугом, смешанным с восхищением. Они напоминали бегунов, готовых сорваться с места. Их тела были менее обнажены и не так раскрашены, как у могавков. Во все глаза глядя на юношу с луком за плечами и девушку со спутанными блестящими волосами, индейцы, как и их пленники, не скрывали изумления и даже одобрения. Казалось, они не могли поверить, что эти двое так ловко провели их и в придачу захватили их товарища. Однако им пришлось признать этот факт — что они и сделали, стараясь не выдать свои противоречивые чувства. Причина подобного отношения заключалась прежде всего в стоящем перед ними молодом дикаре. На его шее рдели багровые полосы, как будто его только что вынули из петли, два орлиных пера были сломаны, ободранное о камни плечо кровоточило, глаза были такими же пронзительными, как глаза птицы, чьи перья украшали его прическу. Очевидно, он пользовался большим влиянием в отряде. Рядом с ним стоял индеец гораздо старше его, еще более мощного телосложения и с лицом, покрытым таким количеством шрамов, что с него не сходило свирепое и жестокое выражение.

Старик обращался к молодому человеку на языке сенеков.

— Итак, это и есть мальчик, захвативший моего храброго племянника в плен, из которого его спас вой собаки!

Услыхав насмешливые слова старика, молодой сенека нахмурился.

— Он мог бы убить меня! Он сохранил мне жизнь!

— Этому молодому оленю ты должен отдать одно из своих перьев!

— Я должен отдать ему два пера — одно для него, второе для девушки, чье присутствие, скорее всего, и остановило его руку.

Старший индеец что-то проворчал.

— Он силен на вид и может отправиться с нами. Но девушка похожа на сломанный цветок — вот-вот упадет. С такой обузой наш путь станет намного труднее. А нам надо спешить. Выбора нет — пусть один из них достанется твоему томагавку, а второго мы заберем с собой.

Услышав приказ старика, Джимс неожиданно вскрикнул и, к немалому удивлению дикарей, заговорил на их языке. Лица индейцев вновь смягчились. Благодаря урокам Хепсибы Адамса и дружбе с Большим Котом и Белыми Глазами Джимс встретил этот час во всеоружии. Язык у него заплетался, слова путались, в речи случались пробелы, восполнить которые помогало воображение, — но он рассказал свою историю. Интерес, с каким индейцы слушали его рассказ, окончательно убедил Джимса, что они непричастны к гибели его родителей и близких Туанетты. Он показал рукой на девушку и подробно описал, как могавки убили его отца и мать и всех, кто жил во владениях отца Туанетты; как они вместе бежали; как прятались в старом доме и как он убил из лука белого человека, который стрелял в него из ружья. Он

молил за Туанетту, как когда-то Большой Кот при нем молил своего отца сохранить жизнь сломавшей лапу собаке. Он обнажил грудь, совсем как индейский мальчик в тот далекий день, когда он потребовал от отца лучше отнять у него жизнь, чем любовь его четвероногого друга. Бронзовый от загара, растрепанный, с длинным луком в руке, Джимс являл собой живую картину мужества и красноречия, которая до последнего дня жизни не изгладилась из памяти Туанетты. Понимая, что Джимс сражается за нее, девушка гордо выпрямилась и стояла с высоко поднятой головой, бесстрашно глядя на предводителя индейского военного отряда.

К тому времени в пограничной истории за Тайогой уже утвердилась репутация человека вежливого и обходительного. Он слушал с вниманием; там, где у Джимса иссякал словарный запас, про себя восполнял пропуски, соединяя и логически выстраивая разрозненные фрагменты рассказа. Когда юноша закончил, он произнес несколько слов, и двое его людей бегом бросились вниз по направлению к ферме Люссана. Затем он задал Джимсу несколько вопросов, из которых тот заключил, что сенеки, не дойдя до земель Люссана, услышали выстрел и в поисках стрелявшего напали на их след на лесистом склоне примерно в полумиле от заброшенного дома. Когда юноша говорил о могавках, уродливое лицо Тайоги потемнело, в чем Джимс увидел отражение извечной ненависти и зависти сенеков к могавкам, хотя и те, и другие входили в состав единого мощного союза. То, что Джимс и Туанетта пострадали от руки восточных соперников сенеков, было пусть небольшим, но весомым доводом в их пользу.

Закончив краткий допрос пленника, Тайога снова обратился к молодому индейцу.

— Я думаю, этот мальчик великий лжец, и я послал за подтверждением своей догадки, — сказал он. — Если он не пронзил стрелой друга могавков, как похваляется, — он умрет. Если же он сказал правду, она послужит доказательством его правдивости и в остальном. Тогда ему будет позволено отправиться с нами. Его спутнице тоже, но до тех пор, пока ноги ее не устанут настолько, что только смерть сможет дать им отдых.

Затем он обратился к Туанетте и на ломаном французском, каким он приказал им выйти из убежища, сказал:

— Если ты не сможешь поспеть за нами, мы убьем тебя.

Готовясь к предстоящему испытанию, Туанетта поспешно заплела волосы в косу. К ней подошел Джимс, и она прочла в его глазах мучительное сомнение.

— Я выдержу, Джимс, — ласково сказала она. — Я знаю, что ты говорил им, знаю, что они думают. Но я выдержу. Выдержу! Я буду жить — мы будем жить. Я так люблю тебя, что меня ничто не в силах убить — даже томагавк.

К ним подошел высокий молодой воин. В толпе индейцев он был их единственным другом.

— Я Шиндас, — сказал он. — Мы идем в далекий город — до него очень долгий путь. Это Ченуфсио. Между ним и нами много лиг по лесам, холмам и болотам. Я твой друг, потому что ты был мне братом и позволил жить. Я должен тебе два пера со своей головы. Я забрал твой томагавк из-под камней — я не хотел, чтобы ты употребил его и тебя убили. Ты любишь эту белую девушку. Я тоже люблю одну девушку.

Слова сенеки не только вселили в Джимса надежду, но и потрясли его. Значит, эти дикари из Ченуфсио, Потаенного Города, который даже предприимчивый Хепсиба Адамс считал особым миром: попасть туда было его самой заветной мечтой. Потаенный Город! Душа и сердце племени сенеков, их таинственное Уединенное Место! Город лежал на огромном расстоянии от Ришелье, за землями онейдов, онандагов, каюгов, в стране, омываемой водами Онтарио с одной стороны и Эри — с другой, между которыми, как слышал Джимс, рекут Великие Водопады. Однажды дядя сказал ему: «Ты должен стать очень сильным, прежде чем отправиться туда. Потому-то сенеки, способные совершать такие переходы, и есть самые прекрасные из всех двуногих существ».

Шиндас снова заговорил:

— Тайога, мой дядя, — великий предводитель. Он не такой плохой, каким кажется. Когда он был мальчиком, один моговик изрезал ему лицо. Они поссорились во время игры в мяч. Но он сдержит слово. Он убьет маленькую лань, которая идет с тобой, если ноги изменят ей.

Джимс перевел взгляд со своего нового друга на Туанетту. Подойдя к свирепому старому воину, она, улыбаясь, показывала ему свои разбитые туфли.

Несколько мгновений Тайога выдерживал взгляд Туанетты со стоическим безразличием. Затем он опустил глаза на ее туфли и, не выказав намерения хоть чем-нибудь помочь девушке, повернулся к ней спиной и приказал надеть на Джимса ошейник и отобрать у него лук.

Индейцы и их пленники спустились в долину, и начался долгий, угрюмый переход через лес.

Однако, перед тем как отправиться в путь, Шиндас получил какое-то указание. Когда два гонца, посланные на ферму Люссана, присоединились к отряду и Тайога дал знак остановиться, чтобы выслушать их рассказ, молодой сенека вынул из висевшего у его пояса мешка пару мокасин и протянул их Джимсу. Джимс наклонился и надел на ноги Туанетты эту неуклюжую, но необходимую в путешествии обувь.

Два храбреца вернулись со скальпом белого человека и со сломанной стрелой, которая поразила его. Они взволнованно перебивали друг друга, и по их жестикуляции Туанетта догадалась, о чем именно они рассказывают. Индейцы в лицах изображали отчаянную схватку их пленника с белолицым моговиком. Они измерили разницу в их весе и сложении. Один из них схватил туфлю Туанетты и показал каблук — еще одно доказательство правдивости Джимса. В качестве последнего аргумента сломанную стрелу сравнили с другими стрелами в его колчане. Каменное лицо Тайоги немного смягчилось, и он с новым интересом взглянул на лук Джимса. Не обнаружив в нем ничего необычного, индеец снова засомневался, что белый юноша мог выпустить из него стрелу, пронзившую человеческую плоть. Он проверил тетиву лука и повернулся к Шиндасу.

— Пусть он покажет нам, на что способен, Сломанное Перо, — сказал старик, все еще подтрунивая над племянником из-за того, что тот опозорил свой военный убор. — Ты тоже стреляй вместе с ним: ведь ты так гордишься своей меткостью!

Натянув огромные мокасины на маленькие ножки Туанетты, Джимс поднялся с колен и взял протянутый Шиндасом лук. Затем он повесил на плечо колчан, чтобы иметь стрелы под рукой, и огляделся в поисках мишени. Туанетта видела, как краска проступает на щеках Джимса, и окликнула его, чтобы поддержать и ободрить. Испытания Джимс не боялся — ведь даже Капитанская Трубка не мог с такой скоростью выхватывать стрелы из колчана и одну за другой, словно стаю молниеносных птиц, посылать их в цель. Джимс показал на обугленный пень футов шести в высоту примерно в полутора-два ярдах от них и пустил стрелу. Она упала в двадцати шагах от него. Отмерив таким способом расстояние и обозначив цель, он одну за другой послал еще четыре стрелы с такой быстротой, что едва первая серебристая вспышка подняла над пнем облачко черного угля, как последняя стрела уже сорвалась с тетивы. Две стрелы ударились о пень, третья расщепилась о камень у его основания, четвертая со свистом пролетела немного выше, отклонившись на фут вправо, то есть в том направлении, в каком дул ветер.

Туанетта радостно вскрикнула и посмотрела на невозмутимое лицо предводителя сенек. Тайога обернулся, и взгляд его пронизательных глаз остановился на девушке, а не на том, кого он подверг испытанию. Увидев, что она снова приветливо улыбается ему, словно уже считает его своим другом, старый индеец обратился к Шиндасу с таким выражением лица, которое при других обстоятельствах не предвещало бы ничего хорошего.

— Тебе нет необходимости стрелять, Сломанное Перо! — воскликнул он. — Ты побежден до того, как вступил в единоборство, и я не хочу, чтобы ты покрыл себя еще большим бесчестьем. Из этого юноши выйдет сенека, который превзойдет тебя. Он пойдет с нами. Он станет нам братом, а мы отблагодарим его, взяв с собой эту девушку. Она займет в моем вигваме место Серебряной Тучки. Пусть ему отдадут добытый им скальп. Позаботься об этом, чтобы, когда мы вернемся к себе, он мог бы получить перо в волосы.

Затем он обратился к Джимсу:

— Слушай меня! Собери свои стрелы и побереги их для врага сенеков!

И наконец, к Туанетте:

— С этого часа ты — Серебряная Тучка. Она была моей дочерью. Она умерла.

В лице предводителя не было заметно ни волнения, ни нежности, ни дружеского расположения. Тайога отошел от пленников и встал во главе отряда — гигант среди своих воинов, чудовище свирепостью изуродованного лица, король величием осанки и благородством движений. Индейцы без единого звука бросились по местам. Двое, как собаки, побежали впереди проверять безопасность тропы. Двое отстали, чтобы следить за тылом. С каждого фланга в деревьях скрылось по скороходу. Шиндас побежал подобрать стрелы Джимса, а тем временем один из воинов, ходивших на ферму Люссана, несмотря на отвращение и протесты юноши, прикрепил к его поясу скальп белого человека.

И вновь продолжил прерванный путь на запад индейский отряд. В середине длинной вереницы неслышно ступающих по тропе мужчин шла девушка. Ее длинная темная коса блестела в лучах солнца, щеки разрумьянились от ходьбы, в глазах отражались не только безысходное горе и мука. Погрузившись в мысли о предстоящих испытаниях, она слышала за спиной трусцу собаки и шаги человека, которого любила.

Туанетту нисколько не удивляло, что ее испуг прошел, а боль, вызванная гибелью отца, утихла. В бедах, выпавших ей и Джимсу, девушка видела перст судьбы. Предстоящие лишения и борьба притупили горе, и она не боялась их. Дикари больше не внушали ей ужаса, хотя, по крайней мере, половину из них опоясывали пекановые или ольховые обручи с еще не высохшими трофеями, добытыми на тропе войны. Что-то неуловимое в облике индейцев пробудило в Туанетте надежду и даже уверенность... Гибкая грация тела, сила мускулистых плеч, гордая посадка головы, звериная плавность движений, с какой они скользили по земле... И Джимс был похож на гордых жителей лесов! Эту дикую красоту и внутреннюю свободу она и полюбила в нем с самого начала и их же старалась возненавидеть: с одной стороны, из духа противоречия, с другой — боясь поддаться их обаянию. Теперь ей казалось невероятным, что она приложила к этому немалые усилия. Туанетта поняла, что любит Джимса с того самого дня, когда на ферме Люссана увидела, как он побледнел от оскорбления Поля Таша.

Слишком большие мокасины не мешали Туанетте идти легко и быстро. Она вовсе не была такой хрупкой, как думал Джимс, когда она старалась не отстать от него в своих туфлях на высоких каблуках. Ее стройное тело отличалось силой и гибкостью, глаза — зоркостью, ноги — выносливостью. Пропустив несколько воинов перед собой, чтобы проверить, все ли в порядке, Шиндас увидел, с какой легкостью Туанетта поспевает за идущими впереди, и ею глаза загорелись от удовольствия. Он пристроился к Джимсу, и они стали вполголоса разговаривать. Даже Вояка, казалось, сменил гнев на милость, став в одну колонну с теми, кому он всю жизнь не доверял и кого боялся. Шиндасу нравился хромой пес, и он дважды клал свою бронзовую руку ему на голову. Из разговора с Шиндасом Джимс узнал немало интересного, и ему не терпелось поделиться новостями с Туанеттой.

Даже самый внимательный наблюдатель не обнаружил бы в отряде сенеков признаков дружелюбия и милосердия. Неброская одежда индейцев еще более усиливала это впечатление. Их лица не покрывала синяя, красная и черная краска, как у большинства дикарей, ступивших на тропу войны; кожа испытала только воздействие солнца и ветра. Они не были обнажены, и в ушах у них не висели кольца из медной проволоки. Каждый воин имел при себе два мешка: в меньшем он нес съестные припасы, в большем — одеяло из оленьей шкуры. У некоторых за спиной висел пекановый лук, и все были вооружены ружьями и томагавками. Не вызывало сомнений, что это военный отряд, тщательно сформированный для долгой и опасной миссии, и с той же долей уверенности можно было заключить, что его миссия увенчалась полным успехом. Воины добыли двадцать шесть скальпов, и это по самым строгим меркам являлось внушительным достижением. Восемнадцать скальпов они сняли с мужчин, пять — с женщин и три — с детей.

Во главе зловещей вереницы, словно пантера, выступал Тайога. Всякий раз, когда тропа резко сворачивала, Туанетта мельком видела его лицо, в чертах которого навсегда запечатлелись горе и жестокость. Но вид этого лица не вызывал у нее леденящего страха. За первые мили похода взгляд Тайоги дважды останавливался на девушке, и дважды она отвечала на него улыбкой, а один раз весело помахала рукой. Сама не зная почему, Туанетта не боялась Тайогу; по-своему он даже нравился ей. Она была уверена, что он не убьет ее, и, когда рядом с ней оказался Джимс, поделилась с ним своей уверенностью. Но Шиндас успел предупредить своего нового друга: «Теперь у меня больше надежды, потому что девушка идет легко и быстро. Ей надо поспевать за отрядом. Если она выбьется из сил, Тайога убьет ее, хоть он и выбрал ее на место Серебряной Тучки».

Индейцы шли с самого рассвета и в полдень остановились, чтобы впервые за день поесть. Это была скромная трапеза людей сильной породы, которые, за исключением редких праздников, никогда не ели много и приписывали свою выносливость именно воздержанности в еде. «Те из моих храбрецов, что много едят, мало сражаются», — предупреждал свой народ Корнплантер. Многие века природа приучала индейцев к удовлетворению лишь самых насущных потребностей, к образу жизни, при котором умеренность в пище является первейшим законом выживания<sup>26</sup>. Из мешка с провизией каждый воин высыпал в ладонь зерна маиса, смешанные с горохом и сушеными ягодами, и не спеша съел все до последней крошки. Сколько помнила себя Туанетта, их приграничный дом был всегда полон дарами цивилизации, поэтому ее тронула скудная пища воинов, и она предложила Шиндасу одно из двух яблок, которые Джимс сунул ей в руку. Молодой индеец что-то сказал Джимсу, и тот перевел его слова:

— Шиндас благодарит тебя, Туанетта, но говорит, что, если съест больше положенного, ему будет трудно продолжать путь.

Туанетта скрыла от Джимса, что начала уставать и что боль острыми иглами пронзала ее нагруженные ноги. Она съела яблоки и половинку репы. Из ручья, возле которого остановился отряд, Джимс принес ей воды в берестяной кружке.

Когда Шиндас отошел, Джимс рассказал Туанетте об удивительном приключении, ожидающем их впереди: они идут в Ченуфсио, и, по словам Шиндаса, до него триста миль, если идти напрямик. В разговоре с Туанеттой Джимс не упомянул о своих опасениях. Он объяснил девушке, что Ченуфсио — таинственное место девственных лесов, Потаенный Город, куда сенеки на памяти вот уже нескольких поколений приводят белых пленников. У его дяди была давняя мечта — попасть туда, но он дважды терпел неудачу. Хепсиба Адамс знал много интересного о жизни этого города, и они часами говорили о нем. Многие белые дети вырастали там вместе с дикарями. Когда-нибудь губернаторы Колоний пошлют туда солдат, чтобы освободить их. Джимс и сам очень хотел побывать в этом городе, но сейчас с трудом верил, что его мечта близка к осуществлению. Он заговорил о счастливом стечении обстоятельств, благодаря которому они остались в живых. Когда Шиндас был мальчиком, в Ченуфсио привели белую пленницу. Всю долгую дорогу через леса она несла на руках маленького ребенка; ребенок вырос и превратился в прекрасную девушку — ту самую, которую любит Шиндас. Воодушевленный своей любовью молодой индеец, как только товарищи вытащили его из-под камней, стал горячо защищать Джимса и Туанетту и уговаривать дядю сохранить им жизнь. Дочь Тайоги — девушка одних лет с Туанеттой — шесть месяцев назад утонула, купаясь в глубоком пруду. Его жена давно умерла. Старый воин боготворил Серебряную Тучку и пощадил Туанетту, с тем чтобы она заняла в его вигваме место умершей дочери.

Джимс уверил девушку, что такое решение означает безопасность для них обоих.

Он не рассказал ей страшную новость, которую ему также удалось узнать: французы под командованием барона Дискау наголову разбиты и почти все до единого вырезаны, а южная граница находится во власти сэра Уильяма Джонсона и орд его союзников-дикарей.

Не сказал Джимс и о том, что из-за неприятностей с отрядом могавков, трое из которых пали в схватке, вспыхнувшей в результате личной ссоры, Тайога намерен добратся до цитадели сенеков за шесть дней и ночей.

Отряд возобновил путь, но Джимса по-прежнему одолевали мучительные сомнения: он знал, какая мысль гложет индейских воинов. Хепсиба Адамс открыл племяннику глаза на истинное положение вещей, и тот знал, что эти люди ничем не обязаны народам его расы, кроме утрат и позора. Джимсу не раз приходило на ум, что, если бы судьба отдала его будущность в их руки, он на себе испытал бы всю силу ненависти индейцев. Свободолюбие и гордость — некогда врожденные свойства каждого обитателя бескрайних лесных просторов — уже не были

основой их существования. Их войны перестали быть войнами, которые дают жизнь лесным божествам и порождают легенды о беспримерном героизме. Их звезда закатывалась, белый человек превратил их в обыкновенных убийц. В этом новом призвании им было безразлично, кого убивать: врагов или тех, кто рядится в одежды друзей, — благо кожа у тех и других белого цвета. Таким образом, благородство, увиденное в индейцах, для Джимса было отравлено знанием того, что таилось в их сердцах. Самая сильная и страшная ненависть — это не ненависть человека к человеку, но ненависть расы к расе; и Джимс не сомневался, что по одному слову Тайоги окружающие его люди превратятся в дьяволов. А Тайогу он боялся больше других, зная от Шиндаса, что отца старого воина убил белый человек, а сына — могавак из дружественного англичанам племени.

Какая бы участь ни ждала их, она должна была свершиться в тот день. Силы Туанетты скоро иссякнут, и, зная это, Джимс готовился к минуте, когда предводитель сенеков будет вынужден объявить свое решение. Намерение старого индейца сделать Туанетту приемной дочерью позволяло надеяться на лучшее, но если слабость девушки обречет ее на смерть, то умрет она не одна — это Джимс знал твердо.

Место Шиндаса в строю было первым после его родственника, и он имел достаточно оснований полагать, что Тайога серьезно размышляет над дилеммой, перед которой его поставило присутствие в отряде белолицей девушки. Но как ни старался молодой сенека разгадать замыслы старика, он преуспел в этом не больше Джимса. Когда выпадал случай незаметно для других обратиться к Тайоге, Шиндас осторожно и будто невзначай заговаривал о нежности и красоте пленницы, о ее сходстве с Серебряной Тучкой. Однажды с изощренной хитростью, рисуя картину одинокого вигвама дяди, где вновь царит счастье и звучит смех, он так увлекся, что Тайога велел ему придержать язык. Вскоре воины заметили, что предводитель слегка прихрамывает. Его хромота становилась все заметнее, и наконец в ярости на собственную слабость Тайога вонзил томагавк в дерево и остановился, чтобы жгутом из оленьей кожи перевязать вывихнутое колено. Видя гнев человека, который всегда молча переносил любую боль, любое страдание, Шиндас заподозрил что то неладное, по, не понимая, что именно, помог дяде перевязать злополучное колено.

Индейцы шли все медленнее; казалось, само провидение заботится о Туанетте. Теперь уже никакие ухищрения скрыть ее состояние ни к чему бы не привели. Силы девушки иссякли. Еще миля пути, и она упадет на землю, готовая принять любой конец, лишь бы прекратить эту пытку. Но судьба и нездоровье Тайоги спасли ее. Отряд вышел на лесную поляну, куда на закате слетались на ночлег тысячи голубей. Здесь старый сенека вновь остановился. Воины не сомневались, что он страдает от боли, но то, что он не скрывает своих страданий, немало озадачило их.

Предводитель обратился к Шиндасу:

— Мы долго шли без пищи, Сломанное Перо. Через несколько часов ее будет здесь с избытком. Мы устроим пир, после чего ляжем спать и не двинемся дальше до самого утра.

Шиндас все понял, но не подал вида. Вскоре он нашел возможность поговорить с Джимсом.

— Я впервые обнаружил, что мой дядя — великий лжец, — сказал он. — Его колено так же невинно, как и мое. Он придумал свою болезнь и остановился здесь ради маленькой лани. Она в безопасности. Он не убьет ее.

Когда Джимс перевел слова индейца, Туанетта наклонила голову и тихо заплакала. Тайога это заметил. Сидя на земле рядом с Джимсом, который обнимал ее одной рукой, измученная трудной дорогой девушка была очень похожа на Серебряную Тучку, когда ту несли с пруда и ее длинная черная коса спадала почти до земли. Старый воин медленно подходил к Туанетте, но никто не догадывался, как сжималось в эту минуту его сердце. Широко раскрыв глаза от



изумления, индейцы наблюдали за своим предводителем: он совсем не хромал, и его гордая осанка выражала полнейшее безразличие и даже презрение к тому, что они могут подумать. Тайога остановился около девушки и набросил ей на ноги одеяло из бобровых шкур. Туанетта подняла голову, сквозь слезы взглянула на дикаря и, заметив в его лице необычную нежность, улыбнулась. Она протянула руку, словно перед ней стоял Джимс или отец, но Тайога не заметил ее движения. Он пристально смотрел на девушку, как будто увидел призрак.

— Шиндас прав. Душа Сои Ян Маквун вселилась в тебя!

Сои Ян Маквун — таково было имя Серебряной Тучки.

Тайога пошел прочь. Теперь его воины знали: предводитель принял решение, и с этого часа они уже не будут спешить в Потаенный Город.

Пока индейцы готовились к вечерней трапезе, Туанетта отдыхала на ложе из бобрового одеяла и охапки веток канадского бальзамина, которые Джимс наломал на берегу ручья. Расчесывая и заплетая волосы в косы, она наблюдала за воинами, и, хотя ей казалось, что каждая часть ее тела болит по-особенному, не так, как другие, она чувствовала, как впервые со времени трагедии в Тонтер-Манор физическое напряжение оставляет ее. Спать ей не хотелось, и единственным ее желанием было лежать не шевелясь и всем существом наслаждаться покоем, сменившим нечеловеческую усталость. Что-то неуловимое в движениях молодых воинов успокаивало ее и настраивало на безмятежный лад. Они напоминали Туанетте хозяек за работой. Одни готовились разжечь несколько небольших костров из сухих бездымных дров; другие счищали кору с множества палочек размером со стрелу, чтобы, как на вертел, нанизывать на них голубей. Кто-то мастерил коробочки из коры; кто-то приносил камни, чтобы, раскалив их на огне, печь на них дикие артишоки и корни желтых кувшинок. Все смеялись, негромко переговаривались, и постепенно Туанетта забыла, что это убийцы, чьи руки еще красны от недавно пролитой крови. Благостный, умиротворяющий душу покой, который отдаляет воспоминания, притупляет слух, гасит зрение, принял ее в свои объятия, и она не заметила, как глаза ее закрылись, не в силах бороться с усталостью, уже давно предьявлявшей на нее свои права.

Над местом ночевки голубей поднимался неприятный запах, поэтому индейцы расположились на некотором расстоянии от него. Однако оно находилось недалеко от их лагеря, и Джимс увидел, как еще до заката туда начали слетаться птицы. Сперва голуби прибывали небольшими стаями; с приближением ночи стаи увеличивались, и наконец сплошная туча трепещущих крыльев протянулась по небу на целые полмили. Лишь с наступлением полной темноты дюжина индейцев отправилась на охоту. Некоторые шли, неся в руках незажженные факелы, другие — длинные шесты, чтобы сбивать ими птиц, уснувших на нижних ветвях деревьев. Джимс не получил приказа сопровождать охотников и с облегчением смотрел, как последний из них покинул лагерь. Через некоторое время он увидел сполохи движущихся по лесу языков пламени, и не прошло и получаса, как дикари возвратились с пернатой добычей. Тушки голубей, сбитых с ночных насестов, свалили в центре круга из шести небольших костров.

С той минуты, как их захватили индейцы, Вояка безоговорочно признал своей хозяйкой Туанетту; его преданность Джимсу отныне не только разделилась пополам, но явно склонялась в пользу девушки. Выло бы неправильно заключить, что подобная метаморфоза объяснялась слабостью Туанетты и ее большей зависимостью от врагов, но, как бы то ни было, поразительная преданность собаки новой хозяйке сразу бросалась в глаза. Пока Туанетта спала, Вояка лежал рядом, внимательно наблюдая за действиями дикарей у костров. Он не шелухнулся, даже учуяв аромат жареного мяса, хотя от долгого поста у него подвело живот. И только когда Джимс вернулся от костра с дюжиной жареных голубей, собаку удалось заставить немного сдвинуться с места и поесть.

Джимс не стал будить Туанетту; поев сам, он зажарил еще дюжину голубей, так что они стали коричневыми, как каштаны, и отложил их про запас вместе с жареными корнями кувшинок и несколькими артишоками.

На приготовление пищи ушло два часа. Зажарив всю ночную добычу, воины Тайоги завернулись в одеяла и улеглись спать. Джимса поразило, что люди, подвергающиеся огромным физическим нагрузкам, проявляют такую умеренность в еде. Ему казалось, что Тайога едва прикоснулся к нище, тогда как он сам, обладая желудком, тренированным гурманскими привычками иной культуры, легко разделался с шестью аппетитными птичками из своего запаса.

Лагерь затих, а Джимс еще долго сидел, размышляя над переменами, которые произошли в его жизни за два дня и две ночи. Осторожные индейцы погасили все огни, но Джимс различал во тьме лицо своей спутницы. Он был рад, что Туанетта спит, потому что настали часы, когда время уплотняется и оживляет близкое и далекое прошлое. Мучительное сознание невосполнимой утраты с новой силой охватило Джимса. Прошлое погибло, и прах его развеян ветром; он и Туанетта — единственные оставшиеся в живых из тех, кто совсем недавно составлял их мир. Эта горькая истина не укладывалась в голове, казалась чудовищной нелепостью, порождением больного воображения. Но Туанетта, мирно спящая рядом, подтверждала ее; и, отогнав мучительные видения, Джимс повернулся к девушке со страстным желанием крепко прижать ее к груди. В призрачном мерцании звезд лицо Туанетты было по-детски прелестно. Волосы гагатовой змейкой обрамляли бледный лоб и шею, оттеняя безукоризненную белизну кожи. Туанетта так утомилась, что тревожные сны не омрачали ее забытья. Снизшедший на нее дух умиротворения прокрался в душу Джимса, и юноша почувствовал себя обладателем ни с чем не сравнимого, бесценного сокровища. Когда ночь перевалила за половину, он положил под голову охапку веток бальзамина и, прежде чем уснуть, нежно подтянул к себе руку Туанетты и прижался к ней губами.

Остаток ночи Вояка один смотрел, как в лесу колеблются тени и на небе одна за другой гаснут звезды.

Рассвет, новый день и снова ночь. Отряд Тайоги все шел через девственный лес на запад. Теперь индейцы не спешили. Проснувшись в первое утро в лагере сенеков, Туанетта увидела перед собой высокую темную фигуру. Это был Тайога. Он увидел ее руку рядом с губами спящего юноши. Туанетта ласково посмотрела на старого воина. Тайога что-то проворчал и отвернулся. С той минуты он стал опекать ее, как ястреб опекает своего птенца. Однако он никогда не выставлял эту заботливость напоказ и обычно выражал свои желания и мысли в нескольких словах, обращенных к Шиндасу. Путешествие стало вполне сносным для Туанетты. Когда она уставала, разбивали лагерь, когда просыпалась, продолжали путь. Тайога называл ее Сои Ян Маквун. По мере того как дни шли за днями и индейцы убеждались в мужестве и терпеливости Туанетты, их сердца теплели, а в глазах время от времени загоралось восхищение, чего, однако, никогда не случалось с Тайогой. Дни эти были к тому же мостом, по которому Джимс и Туанетта входили в будущее — их общее будущее. Это новое и чрезвычайно важное для них обстоятельство смягчало боль перенесенных утрат. Их мир рухнул и лежал в развалинах, а на образовавшейся вокруг них пустыне зарождалась новая жизнь, новое существование. Чем дальше уходили они в безлюдные дебри девственного леса, тем крепче становились связывающие их узы. Отныне, где бы они ни оказались, что бы ни случилось, они всегда будут принадлежать друг другу — ибо смерть может их уничтожить, но не разлучить.

На четырнадцатый день пути Тайога выслал вперед гонца. В тот вечер он сидел на земле около Туанетты, и Джимс служил ему переводчиком. Старый индеец курил длинную трубку, набитую высушенным сумахом. Между затылками он обращался к Туанетте, и голос его

временами напоминал рычание дикою зверя. Завтра они придут в Потаенный Город, и его народ выйдет им навстречу. В городе будет большая радость, потому что они добыли много скальпов и не потеряли ни одного человека. Люди воздадут ей почести. Джимсу тоже, приняв как плоть от своей плоти и кость от своей кости. Туанетта станет его дочерью. Сердце Серебряной Тучки будет жить в ее Песне. Она навсегда останется в лесу. Вот какую весть послал он в Ченуфсио. Тайога возвращается с дочерью.

Старый сенека бесшумно скрылся в темноте. Некоторое время Джимс и Туанетта боялись вслух высказать мысль, от которой у обоих сердце замирало в груди.

«Дети ваши и дети ваших детей...»

В ту ночь Туанетта лежала без сна, глядя в небо широко раскрытыми глазами.

Ченуфсио, Потаенный Город сенеков, находился на Литтл-Сенека-Ривер, в семидесяти милях от озера Онтарио. По реке жители города могли спуститься на каноэ к берегам великого озера или подняться вверх по течению на юг, почти до самой реки Огайо, которую выше Форт-Питта называли Аллигейни. От города в густые заросли девственного леса уходили четыре тропы в человеческую ступню шириной: ими пользовались многие поколения индейцев, и местами они были так утоптаны, что отпечатки следов сохранились через столетие после того, как люди, чьи обутые в мокасины ноги их проложили, отошли в мир иной. Одна тропа вела к реке великих водопадов Ниагаре, вторая — в земли Огайо и к свинцовым копьям Пенсильвании, третья — на север, к озеру Онтарио, четвертая уходила на многие сотни миль к востоку через земли каюгов, онандагов и онейдов, туда, где лежали владения белых людей — богатые уголья, влекущие охотников за скальпами, откуда и возвращался теперь Тайога со своим отрядом. Как ни странно, ни одна тропа не вела к озеру Эри, хотя его восточный берег лежал едва ли дальше от города, чем песчаные отмели Онтарио. Охотники и воины отваживались добираться до Большого моря, как называли озеро индейцы, добираться через леса и болота, но по какой-то неведомой причине не проложили к нему общего пути.

Бдительно охраняемый со всех сторон — потаенный город по сути своей, а не только по назначению, — Ченуфсио был одним из крупнейших центров своеобразного общественного устройства индейцев, куда они приводили белых пленников, принятых ими в свою семью. Как в Английских, так и во Французских Колониях совсем недавно поверили в существование таких мест. Только в 1764 году полковник Боке отправился освобождать «белых» в первом из этих таинственных поселений. Как известно, избавление, которое он принес на штыках своих солдат, повлекло за собой куда больше трагедий, чем радости, поскольку жизненный уклад и связи, разрушенные им по требованию Колоний, уходили корнями в прошлое до третьего и четвертого поколений. Разбитыми оказались не только оковы, но сердца и семьи.

В тот период своей истории, когда Тайога привел туда Джимса и Туанетту, Ченуфсио был настоящим Римом обширной территории. В нем жило триста человек и в общей сложности насчитывалось шестьдесят боеспособных мужчин. Город удобно примостился на краю большого луга в излучине реки. В его центре находилась окруженная частоколом цитадель с длинными общими вигвамами, хижинами и семейными вигвамами. В случае опасности там могло укрыться все население города.

На расстоянии полета стрелы от ворот цитадели тянулась граница величественного зеленого леса. Весну, лето и осень люди предпочитали проводить не за частоколом, а прямо под вековыми деревьями леса, чьи суковатые ветви огромным куполом нависали над их жилищем. В основании подковы, образуемой рекой, высился холм, и все пространство между ним и водой занимали сады и поля, возделываемые дикарями. У сенеков были виноградники, прекрасные яблоневые, вишневые и сливовые сады. Обширные участки земли занимали табак и картофель. С трех сторон от Ченуфсио раскинулись поля общей площадью около двухсот акров. Половина этой земли была отведена под несколько разновидностей зерновых, сахарную кукурузу. На полях и по склонам холма росли тыквы, горох, патиссоны, кабачки, повсюду к небу тянулись карликовые подсолнухи, которые выращивались для получения масла из их семян.

Когда выдавался удачный сезон, все долгие зимние месяцы Ченуфсио не знал забот. Амбары были полны, кладовые доверху забиты сушеными фруктами, погреба ломились от яблок, тыкв, картофеля;

Когда сезон был плохим, жители Ченуфсио на пять месяцев туго затягивали пояса; из них

три месяца — голодали.

Тот сезон был плохим. Весенние заморозки убили ранние овощи и сбили цвет яблонь и слив. Зерновые дали настолько скудный урожай, что его едва хватило для весеннего сева. Пришлось перейти на бобы и картофель, но и от этих запасов уже оставалась только треть. Для лесов, болот и равнин год был таким же черным, как и для полей. Орешник почти не плодоносил, дикий рис едва поднялся над землей; с сезона земляники до созревания мелких красноватых слив удалось собрать совсем немного фруктов. Из-за грядущей бескормицы обитатели Ченуфсио готовились к «разделу», который начнется с первыми осенними заморозками.

«Раздел» — трагическое событие в жизни индейского селения. Он означал сокращение ежедневного рациона, а то и — как в случае с Ченуфсио — необходимость трем сотням мужчин, женщин и детей разбрестись по бескрайним просторам девственных лесов группами, как правило, состоящими из членов одной семьи. Такие группы, стараясь дотянуть до весны, в борьбе за выживание целиком зависели от самих себя. Каждая семья искала отдельную территорию для охоты, но это отнюдь не значило, что все ее члены собирались вместе. Если в какой-нибудь семье было двое или больше охотников, то глава селения выделял одного из мужчин сопровождать менее удачливую группу, состоящую из стариков или вдовы с детьми, и тот должен был отвечать за их благополучие, как если бы был одной с ними крови. То было сражение с голодом. Когда приходила весна, битва оставалась позади, все жители селения возвращались к родным очагам и жизнь продолжалась своим чередом.

Обычно «разделу» предшествовали дни тягостного и мрачного ожидания. С его приходом родственники и друзья прощались на долгие месяцы. Не все доживали до дня встречи. Разлучались влюбленные. Отец расставался с сыном. Мать видела, как ее дочь становилась членом семьи, способной лучше позаботиться о пей, чем ее родные. Слабых и больных оставляли в селении, снабдив достаточным запасом пищи, чтобы они могли продержаться до весны.

Но в день, когда Тайога и его доблестные воины должны были вернуться с востока, на лицах жителей Ченуфсио не было ни тени уныния. Они проснулись на рассвете, на время забыв о несчастье и горе. Возвращалась половина мужчин города, возвращалась с победой. Гонец Тайоги сообщил, что в набеге на земли врагов отряд не потерял ни одного воина. Такое случалось нечасто, и радостная весть вселила мужество в сердца людей, которых весь год преследовали неудачи. В том, что Тайога возвращается с богатыми военными трофеями, они видели доброе предзнаменование, и его удача в некоторой степени служила компенсацией за пустые погреба и амбары.

Все знали, что в качестве одного из трофеев Тайога ведет с собой дочь, которая займет место Серебряной Тучки; люди воспряли духом и поверили, что удача обязательно улыбнется им снова. Все обитатели города любили Сои Ян Маквун. С ее смертью пришли плохие времена. Но теперь духи непременно дадут им легкую зиму, и следующий год увидит землю, расцветшую добрыми всходами.

Ченуфсио готовился к празднику. Запас земных плодов еще не подошел к концу, и специально для этого случая было припрятано несколько корзин поздней зеленой кукурузы в початках. Утром в день прибытия Тайоги проверили все барабаны в городе, и жители, как один человек, занимались подготовкой к торжественной встрече. Под огромными дубами разложили костры, и ребятишкам доставляло огромное удовольствие собирать для них топливо. Дети без усталости били в игрушечные тамтамы; повсюду заводились разные игры, звучали добродушные шутки, веселый смех, громкие крики — взрослые тоже превращались в детей. Гораздо сдержаннее вели себя белокожие жители города — как дети, так и взрослые. В Ченуфсио их

было двадцать человек. Они почти не отличались от индейцев, кроме цвета кожи и едва уловимых особенностей в одежде. Они совсем не походили на пленников, и если в поведении их чувствовалось нетерпение, то проявлялось оно не так бурно, как у их смуглолицых соседей. Среди них были женщины с детьми, рожденными от мужей-индейцев, и девушки, с детства живущие в Ченуфсио, чьи глаза загорались при виде покоривших их сердца молодых воинов. К этой группе принадлежало несколько человек с более темной кожей, что говорило о крови белого человека, унаследованной во втором или третьем поколении, и двое или трое — с глазами, все еще затуманенными тоской и горем, — то есть тех, кого до смерти будут преследовать образы любимых и память о далеком доме.

Таковы были город индейцев и люди, которые солнечным осенним днем ожидали прибытия Тайоги и его пленников.

Последний день пути казался Туанетте особенно долгим. Начался он на рассвете и, хотя Тайога несколько раз останавливал своих воинов и давал девушке отдохнуть, не закончился с наступлением сумерек. Темнота опустилась прежде, чем отряд подошел к равнине, за которой высился холм. За холмом лежал Ченуфсио. Зарево от огромного костра освещало небо.

При виде этой приметы конца путешествия Туанетта забыла об усталости. Она заметила, что у Джимса отобрали скальп белого могавка, который он прикрывал от нее куском оленьей шкуры. Затем она увидела, что все добытые сенеками скальпы прикрепили к длинному тонкому шесту. Его несли на плечах двое индейцев: скальпы раскачивались, и волосы одного из них свисали почти до самой земли.

Отряд во главе с воинами, несущими скальпы, поднялся на холм, и все посмотрели вниз, на долину, где лежал Ченуфсио.

В миле от города, в большой дубовой роще около реки, горело несколько десятков костров. Вокруг них царил глубокая тишина. Туанетта стояла, прижавшись к Джимсу; сердце ее сильно билось, но не от утомительного подъема на холм. Казалось, из долины, погруженной в таинственное, благоговейное безмолвие, веяло едва уловимое дыхание. Дыхание жизни... и смерти. За этим безмолвием скрывались бьющиеся сердца, испытующие взгляды притихших живых существ, невидимых на таком расстоянии. Только костры говорили о бьющей ключом жизни. Невидимые руки подбрасывали в них топливо — оно служило нотами огненной симфонии: смолистые хвойные ветки взвивали крещендо искр, а бревна лиственных деревьев, выловленные из реки «, держали ферматы относительно устойчивых островков света. Туанетте не были видны собравшиеся вокруг костров люди. Вместе с Джимсом она стояла у черты, за которой кончался их мир. Она готовилась к этому — часу и ждала всего, но только не угрожающей тишины, походившей на смерть, которая высовывает голову из преисподней.

Внезапно тишина была нарушена. Высокий человек взгромоздился на скалу и закричал. Голос его постепенно разрастался и заполнял всю долину. Туанетта никогда не слышала, чтобы человеческое горло издавало такой крик. Он обладал редкой полетностью, чистотой, глубиной и силой звучания и, казалось, мог преодолеть любое расстояние. В голосе, прорезавшем тишину, обитала душа Бога. Туанетта пыталась сквозь тьму определить, кому принадлежит этот голос. Вдруг у нее занялся дух: на скале стоял Тайога.

Но вот крик смолк, и внизу поднялся невообразимый шум. Все те, кто, сковав уста молчанием, ждали, когда с вершины холма прозвучит голос Тайоги, внезапно пробудились к жизни; и это пробуждение очень напоминало безумие. Мужчины издавали воинственные кличи, дети визжали, женщины кричали от радости. Зажгли смоляные факелы, и все жители города огненным потоком устремились в ночь.

Бой тамтамов и барабанов, удары деревянных гонгов смешивались с человеческими голосами и собачьим лаем. При первых звуках клича Тайоги индейцы, несшие шест со

скальпами, начали спускаться с холма. Предводитель и остальные воины последовали за ними. Шли гуськом. Туанетта и Джимс занимали место в середине цепи. На обоих надели широкие ошейники из оленьей кожи, а у Джимса к тому же отобрали оружие. Воины шли не спеша, чеканя шаг, и никто из чих не нарушал молчания ни словом, ни шепотом. Море факелов приближалось. Его волны заливали ложбины, выплескивались из них и, докатившись до ровной, поверхности, образовали два бурных огненных потока. Воины, несшие факелы, приблизились к ним, опередив Тайогу и остальной отряд ярдов на сто. Туанетта видела, как они вошли в полосу света, и в то же мгновение голоса дикарей взмыли к небу. Тайога остановился и возобновил путь лишь после того, как воины первого отряда со своей ужасной ношей дошли до конца огненного строя.

Туанетту охватила странная слабость; казалось, еще немного, и она лишится чувств. Давно забытые рассказы про индейцев — рассказы, которые она слушала с самого детства и которые заставляли содрогаться сердца тысяч жителей пограничной полосы, — вдруг разом ожили в ее памяти. Леденящие кровь истории о жестоких пытках и мщении, о сожжении заживо и человеческих страданиях. Она слышала их от отца, захожих вояжеров, соседних фермеров. Она помнила название ожидающего ее и Джимса испытания: им предстояло пройти по Le Chemin de Реи — Огненной Дорого. Многие не выдержали ее и умерли. Изжарились в огне смоляных факелов. Слепли. Были убиты дюйм за дюймом. Так ей рассказывали.

Когда их осветил первый всполох факелов, Туанетта взглянула на Джимса. Она боялась только за него. Ее Тайога не убьет, не позволит, чтобы пламя коснулось ее. Она знала это так же твердо, как и то, что Огненная Дорога ожидает их. Джимс повернулся к девушке и ободряюще улыбнулся.

Воины двигались по-прежнему медленно. Они были похожи не на людей из плоти и крови, а на бесчувственных призраков. Высоко подняв голову, расправив плечи, плотно сжав челюсти, выступали они между двумя рядами соплеменников, словно отправляя погребальный обряд. Незаметно для себя Джимс подхватил ритм их шагов, и вскоре разверстая пасть огненного чудовища поглотила отряд.

И вновь все погрузилось в тишину, прерываемую только мерным топотом ног, треском и шипением горячей смолы, дыханием множества людей. Ни слово, ни крик, ни протянутые в нетерпении руки матери, ни взмах руки возлюбленной, ни имя, сорвавшееся с уст жены, не нарушали суровости триумфального шествия воинов Тайоги. Эта живая картина деталь за деталью выжигалась в мозгу Туанетты. Девушка видела пристальные взгляды мужчин, женщин, мальчиков, девочек, младенцев — в их глазах светились не злоба, не желание причинить боль, но нескрываемое любопытство, почти дружелюбие. Вдруг у Туанетты защемило сердце: она увидела обращенное к ней с улыбкой грустного привета на губах белое лицо в обрамлении массы волос, отливающих золотом в факельном свете. В обеих шеренгах стояли белые женщины, и одна из них, такая же молодая девушка, как сама Туанетта, радостно махала ей рукой. Молодой индеец украдкой взглянул на нее, и глаза их на мгновение встретились.

— Опичи! — тихо позвала Туанетта, и девушка чуть не бросилась к ней. — Опичи-Малиновка!

Туанетта произнесла полное имя белокожей возлюбленной Шиндаса, и в этих двух словах излилась ее надежда, почти уверенность в том, что любовь и счастье живут даже там, где она ожидала встретить только мрак и трагедию.

Смоляные факелы громко трещали, языки пламени плясали па ветру, но ни одна искра не упала на пленников. Никто не метнул в них злобного взгляда, никто не сжал кулаков, не поднял руки. Все, что слышала Туанетта на земле своих близких, было ложью. Индейцы убивали врагов на войне, по ни над кем не издевались, никого не подвергали пыткам. Они не вырывали глаза, не

протыкали живых людей острыми прутьями. Они были такими же мужчинами, женщинами и детьми, как все другие мужчины, женщины и дети. Туанетта понимала, что открытие это она сделала с некоторым опозданием.

Но если бы она расслышала приглушенный шепот по обеим сторонам прохода, то могла бы сделать еще одно важное открытие.» Это — дочь Тайоги. Это — дух Сои Ян Маквун, возвращенный нам во плоти. Вместе с ней к нам вернется удача, засияет солнце, придут радость и свет — ведь Сои Ян Маквун вернулась из пруда, из смерти, чтобы снова жить среди нас «.

Однако ни дикий рев голосов после шествия воинов, ни оглушительный бой барабанов, ни подбрасывание в воздух горящих факелов, ни благодарные возгласы индейцев ничего не сказали Туанетте о том, как любил народ Ченуфсио Серебряную Тучку.

Обширное поле вновь погрузилось во тьму. Отряд уже шел между кострами. Рядом с Туанеттой шагал Тайога. Джимс исчез. Девушка не заметила ни как он ушел, ни как на его месте оказался старый сенека, и обнаружила, что Джимса нет среди воинов, — только когда увидела, что вместе с предводителем стоит в центре плотного кольца индейцев. Круг со всех сторон освещало пламя костров, и Туанетта наконец догадалась, что должно произойти нечто такое, в чем ей будет отведена куда более важная роль, чем скальпам, прибытие которых предшествовало торжественному появлению Тайоги. Но где же Джимс? Почему его нет среди тех, кого она обводит внимательным взглядом? Страх просочился в кровь Туанетты и смертельным холодом сковал ее существо. В красноватом свете костров ее глаза казались еще более темными, лицо более бледным, и вся она походила на привидение.

Тайога начал говорить. Звук его голоса ободрил Туанетту, но она продолжала искать глазами Джимса. Поначалу речь старого сенеки лилась спокойно, в ней звучали те же богатые низкие ноты, которые низвергались в долину со скалы. Но вот голос старика дрогнул от волнения. Тайога описывал пруд, где умерла Сои Ян Маквун, коварство злых духов и торжество индейских богов, вернувших Серебряную Тучку ее народу. Рассказ Тайоги был коротким. Старый воин заговорил громче. На его жестоком, покрытом шрамами лице появилось выражение необычайной нежности, и Туанетта поняла, что Джимс вне опасности, хотя по-прежнему не видела его. Наконец Тайога закончил и несколько мгновений стоял, воздев руки к небу. Вокруг все шумело. Затем он произнес одно-единственное имя — Опичи. Малиновка сорвалась с места и подбежала к ним. Тайога снял с Туанетты ошейник, бросил на землю и наступил на него ногой. По кругу прошел шепот. Тайога застыл, скрестив руки на груди, и Туанетта почувствовала, как Малиновка тянет ее за собой.

У края круга девушки задержались. В течение некоторого времени никто не проронил ни слова, не двинулся с места. Кольцо за спиной вождя сенеков разомкнулось, и па площадку вступил Джимс, по бокам которого шли Шиндас и еще один воин. От изумления Туанетта приоткрыла рот и едва не вскрикнула. Джимс изменился до неузнаваемости. Он был обнажен до пояса и раскрашен красными, желтыми и черными полосами. Казалось, его лицо покрывают глубокие Красные надрезы. Густые светлые волосы молодого человека но индейскому военному обычаю были связаны пучком, и из них торчало перо в знак того, что он убил человека. По приказу Тайоги из кольца индейцев вышли седой старик со сморщенным лицом и человек помоложе, согнувшийся почти пополам. За ними шла маленькая девочка. Старика звали Вуско — Облако. Человек помоложе был его сын Токана — Серая Лиса. Когда-то он очень гордился этим именем; до того, как упавшее на его вигвам дерево изуродовало ему спину, он был самым быстрым бегуном племени.

Тайога снова заговорил. Он рассказывал о том времени, когда старый Вуско был славным воином и убил множество врагов; описал, как с годами у него появились соперники; вспомнил о доблести его сына, которого злая судьба превратила в то; чем он стал, и возблагодарил



счастливым случаем, пославший Вуско второго сына, сына с белой кожей, который будет заботиться о нем и станет братом Серой Лисе. Худыми дрожащими руками Вуско снял с Джимса ошейник и с радостью втоптал его в землю, а изувеченный Токана поднял руку в знак братской любви и дружбы. Большие темные глаза маленькой индейской девочки светились нежной грустью; Джимс привлек ее к себе и ласково обнял за плечи. Оставив Малиновку, Туанетта подбежала к Джимсу, и все увидели, что его раскрашенные руки обнимают ее вместе с Ванонат, Лесной Голубкой. Так Туанетта гордо и не без вызова дала понять Чепуфсио, а значит, и всем сенекам, что она принадлежит этому человеку.

Как бурный поток прорывает дамбу, так началась та ночь пира и веселья. Ей предшествовало собачье ристалище, в котором Вояка утвердил свое право па место среди четвероногих обитателей Ченуфсио. Вскоре после этого на утоптанной земле он унюхал след, и знакомый запах привел его к вигваму, приготовленному для Туанетты рядом с жилищем Тайоги. Вигвам был невелик и убран свежими кедровыми ветками, гирляндами паслена и мягкими шкурами. Там же находились очаровательные одежды, когда-то принадлежавшие Серебряной Тучке. В вигваме Вояка нашел Туанетту и Малиновку, которую когда-то звали Мэри Даглен.

Джимсу казалось, что с первых минут пребывания в индейском городе он пользуется полной свободой, словно был одной с ними крови. Серая Лиса отвел его в вигвам отца, который должен был стать домом Джимса. Молодому человеку принесли еду и питье, после чего оставили одного, так как даже обрадованный старик, которому Тайога оказал честь, подарив сына, не мог отказать себе в удовольствии присутствовать на празднике. Джимс подумал, что приди ему в голову скрыться в ночи и исчезнуть, ничто не помешало бы осуществить это намерение. Но сама простота, с какой он мог бы пуститься в такую авантюру, служила доказательством ее полной безнадежности. Как и других белых, его ожидал пожизненный плен. Бежать из Ченуфсио было невозможно:

избавление от неволи могла принести только смерть. Один неверный шаг, минута отчаяния, попытка бежать — и следопыты сенеков, как свора охотничьих собак, пустятся по его следу. Джимс не позволял себе думать о свободе именно потому, что всем сердцем рвался к ней. И он присматривался к новому для себя миру, чтобы приспособиться к налагаемым им ограничениям, с чувствами, отнюдь не безотрадными. С Туанеттой он мог найти среди индейцев все, чего ждал от жизни. Тайога и Шиндас давно знали, что он любит Туанетту. Теперь об этом узнали и жители Ченуфсио. До вигвама долетало пение дикарей. Джимс окончательно воспрял духом. Какое имеет значение то, что они навеки погребены в глуши непроходимых лесов? У него есть Туанетта. Она любит его. Ченуфсио не станет их склепом. Их любовь превратит его в рай!

Молодому человеку не терпелось снова увидеть Туанетту, и он подумал, где бы смыть цветную глину, которой были вымазаны его лицо и тело. Захватив одежду, Джимс отправился к реке. Тщательно вымывшись, он оделся и возвратился в вигвам. Орлиное перо по-прежнему красовалось в его волосах. Оружие Джимсу уже вернули, и, взяв лук и томагавк, он присоединился к индейцам. Яркое пылал триумфальный костер: как только изголодавшийся город насытится, начнется танец скальпов. Военные трофеи уже подвесили к победному шесту, освещенному пламенем костра, и вокруг него играли дети. Им ничего не стоило дотянуться до прекрасных темных волос одного из скальпов, и всякий раз, прикасаясь к ним, мальши вскрикивали от восторга. Вместе с индейскими детьми кричал и смеялся белокожий мальчик лет семи или восьми.

Улучив минуту, Джимс обменялся парой слов с Шиндасом и узнал, что Туанетта ушла с Опичи. Обычай требовал от Шиндаса соблюдать военную дисциплину до тех пор, пока воины не расскажут освоих подвигах языком танца скальпов. Поэтому Джимс один отправился на

поиски вигвама Тайоги. Он быстро нашел его, а рядом с ним другой, поменьше, где скрылись Туанетта и Малиновка. Вигвам освещался светом факела; Джимс отошел на несколько шагов, остановился под темными сводами деревьев и стал ждать.

Ночь была ясной, восходила полная луна, и ее нежное серебристое сияние рассеивало мрак, повисший за пределами огненного круга. Примерно через полчаса Туанетта и Опичи вышли в освещенный луною лес. Некоторое время они стояли в густой тени деревьев. Джимс не покинул своего укрытия, пока Опичи не пошла к кострам и очертания ее фигуры не растворились в перемежающихся островках тьмы и рассвета. Тогда он сделал несколько шагов вперед и окликнул Туанетту по имени.

Облик девушки поразил Джимса. Он даже подумал, что ошибся и перед ним вовсе не Туанетта, а какая-нибудь принцесса индейского племени. Она уже не была той оборванной, растрепанной молодой женщиной, которая пришла в Ченуфсио с воинами Тайоги. Мэри-Малиновка нарядила ее в лучшие одежды Серебряной Тучки. В лунном сиянии туника из оленьей шкуры и короткая юбка из шкуры лани переливались, словно золотистый бархат. Разделенные на пробор и гладко, как птичье крыло, расчесанные волосы двумя тускло мерцающими косами падали на плечи. Узкая алая лента обхватывала лоб, и за нее было заткнуто ярко-желтое перо. При виде этого длинного желтого пера, этой алой ленты, этой одежды, по-мальчишески плотно облегающей тело Туанетты, Джимс не смог сдержать возгласа удивления. Казалось, они вернулись к Туанетте из далекого прекрасного прошлого. Как мечтал он об этой сказочной лесной принцессе! В ребяческих мечтах и грезах он строил вокруг нее и для нее целые миры там он сражался за нее, вместе с ней устремлялся на поиски приключений и подвигов, был ее защитником и ее героем. Он принес ей в дар перья, оленью шкуру и ткань, похожую на ту, из которой сделана алая лента, повязанная у нее на голове!

И в свете луны перед глазами Джимса вспыхнуло пламя драгоценного красного бархата. Джимс протянул руки, и Туанетта бросилась в его объятия.

Около получаса молодые люди оставались наедине друг с другом. Затем вернулась Мэри Даглен<sup>27</sup>. С ней пришел гонец, который отвел Джимса к костру, где начинался танец скальпов. Молодого человека не смущали придиричивые взгляды индейцев. Дикое безумие ночи, ни с чем не сравнимая радость обладания бесценным сокровищем горячили его кровь. Джимс подхватил победную песнь сенеков, но сердце его было полно одной Туанеттой. Слова, сказанные ею в тени дубовой рощи, неумолчно звучали в его душе, приглушили все остальные чувства: кроме них, он ничего не признавал и не слышал. Как только Спаситель поможет им все уладить, она станет его женой! Джимс кружился в ритуальном танце, и голос его сливался с голосами воинов. В доброжелателях молодого человека проснулось любопытство. Глаза, которые совсем недавно хмуро следили за ним, потеплели. Джимс доказал, что Тайога не зря сохранил ему жизнь, и Вуско, надувшись от гордости, объявлял всем и каждому, что теперь у него есть еще один сын, такой же сильный и ловкий, как когда-то Серая Лиса. Увидев неистовство Джимса, Туанетта пришла в ужас. Постепенно до нее начал доходить смысл происходящего. Но лишь когда вслед за другими воинами пришел черед Джимса исполнить танец, нараспев рассказывая свою историю, Туанетта поняла, сколь беспримерна отвага и самоотверженность ее возлюбленного. Джимс начал с ранних воспоминаний о Туанетте. Он рассказал об их домах на земле, через которую текут воды реки Ришелье, о своих мечтах и надеждах, о чаяниях и молитвах, о Поле Таше. Описал битву с ним и свое поражение; рассказал, как шло время, как росла его любовь и как с юга вместе с могавками пришла смерть. Затем он рассказал, как нашел Туанетту, про их побег, про триумф своей любви про схватку с охотником за скальпами и, наконец, про то, как отряд Тайоги захватил их в плен. Он воздал самую высокую хвалу воинам-сенекам. Они не похожи на могавков — грязных ночных воров и убийц. Сенеки благородны, проворны и храбры. Он горд быть их братом и сыном. Его собака ненавидит могавков, но сенеков она признала друзьями. Он хочет, чтобы эти люди уважали его, хочет, чтобы они любили Туанетту, которой Тайога оказал великую честь, назвав своей дочерью. Потому что Туанетта принадлежит ему. Она хочет быть его женой и родить ему детей здесь, среди сенеков.

Наконец Джимс остановился и возблагодарил Бога за то, что стараниями Хепсибы Адамса смог достойно предстать в свете костра перед жителями Ченуфсио и поведать им историю своей жизни. По толпе индейцев пробежал одобрительный шепот. Всколыхнулся и замер, как только следующий воин занял место в круге.

Во время танца Джимс видел бледное лицо Туанетты, видел ее лучистые глаза, но когда стал искать ее, она уже ушла, и вскоре в ее вигваме снова горел факел. Вуско, Серая Лиса и Лесная Голубка не отходили от Джимса. Они гордились им, а в том, как девочка сунула свою смуглую ручку в его ладонь, чувствовалось нечто большее. Вблизи Джимс лучше разглядел худобу и хрупкость этого прелестного создания. Она напоминала цветок, вянувший без тепла и света. На вопрос своего названного брата Токана ответил, что девочке восемь лет и с каждым годом она становится все слабее. Изуродовавшее его дерево убило мать Лесной Голубки. Все были добры к девочке, но что-то по капле высасывало из нее жизнь. Серая Лиса думал, что дух матери зовет ее к себе и Лесная Голубка старается освободиться от своей земной оболочки. Ребенок, конечно, этого не знает, но все происходит именно так. Индейская девочка глубоко тронула Джимса. Она смотрела на него с застенчивым обожанием, и когда, не в силах бороться с усталостью, она наконец легла в свою сиротскую постель, молодой человек опустился рядом с ней на колени. Перед сном он немного поговорил с девочкой и на прощание поцеловал ее. Лесная Голубка не привыкла к такому обращению. Неведомая сила подняла ее руки и обвила их

вокруг шеи Джимса. И вновь он ощутил незнакомое чувство. Тонкие, почти младенческие руки робко заявляли свои права на его любовь и внимание.

Далеко за полночь празднество закончилось, и Ченуфсио погрузился в тишину. Некоторое время через откинутый полог вигвама Вуско Джимс смотрел на звезды, на игру теней в лунном свете. Он погрузился в сон, словно вступил в длинную, мерцающую золотой листвою, аллею. Только счастье, дивным цветком расцветшее из пепла недавних страданий, могло навеять такие сны: Джимсу явился образ матери, и с высоты лазурного небосвода голос ее звучал прекрасной радостной мелодией. В той же золотой аллее он увидел Лесную Голубку, которая, улыбаясь, стояла между его матерью и Туанеттой. Вскоре он забылся более глубоким сном.

Так началась странная жизнь Джимса и Туанетты в Ченуфсио, которую полковник Пуке, впоследствии генерал-майор и главнокомандующий военными силами его величества на юге американских владений французской короны, охарактеризовал как «достоподлинный эпизод каковой, при всей своей невероятности, чрезвычайно важен, ибо, наряду с несколькими ему подобными, заставляет нас совсем по-иному взглянуть на жизнь дикарей».

Для Джимса и Туанетты не было ничего захватывающего ни в их первом дне в Ченуфсио, ни в длинной череде последующих. После ночи триумфа индейский город вернулся к своей обычной размеренной жизни. Мужчины охотились, женщины занимались хозяйством, дети играли. Воины чинно сидели на советах и безостановочно курили, обсуждая дела союза и строя планы на будущее.» Темный» год уже заявил о себе. Зима не сулила ничего хорошего. Требовали решения и другие вопросы. Тайога принес необычные вести. Англичане под командованием генерала по имени Брэддок потерпели поражение и были перерезаны. Французов разбили на озере Георга. Сэр Уильям Джордж — Белый Отец шести союзных племен — одерживал победу за победой, и могавки извлекали из них великую пользу. От таких новостей лица сенеков мрачнели. Восточным землям было суждено покраснеть от крови. Со дня на день между англичанами и французами разразится давно назревающая схватка, и томагавкам не будет покоя, пока страна не избавится от тех или других. Тайога в этом не сомневался. Его воины тоже. За конец октября в Ченуфсио побывало много гонцов из дальних деревень и селений, раскинутых от подножья Аллеганских гор до верховий Литтл-Сенека-Ривер и от Пенсильвании до западных ворот страны каюгов, — иными словами, со всех концов обширных владений сенеков приходили вести о близости жестокой и кровопролитной войны. Грядущие события поставили новую проблему перед Тайогой и его советниками. Они стояли на пороге войны и — голода. Если все воины отправятся на восток, то кто спасет людей от голодной смерти? Было решено, что Тайога ступит на тропу войны с отрядом в тридцать человек, избранных по жребию, и столько же храбрецов останутся сражаться с голодом и смертью в зимние месяцы. Бросили жребий, и Джимс не попал в число уходящих. Шиндасу выпало снова покинуть свою возлюбленную.

В те дни Джимса и Туанетту стали посещать дурные предчувствия, но они ненадолго затягивали темными тучами счастливую картину их будущего. Молодые люди всем сердцем молили Бога направить в Ченуфсио стоны какого-нибудь странствующего священника, чтобы тот, свершив обряд венчания, объявил их мужем и женой. В городе было несколько белых женщин, которые сочетались браком с индейцами по туземному обряду, но Туанетта восстала против этого. Она молилась, и вместе с нею молилась Малиновка, которая за годы, прошедшие после смерти матери, не изменила своему Богу. И обожавший девушку Шиндас с почтением относился к ее вере.

С тех пор как два года назад Ченуфсио один за другим посетили три иезуита, туда не наведалься ни один священник.

Джимс твердо верил, что, когда начнется «раздел», Тайога позволит Туанетте уйти с ним.

Лесная Голубка обрела в приемной дочери предводителя одновременно сестру и мать и поровну делила свою любовь между нею и Джимсом. В присутствии Туанетты «Тайога уже не напускал на себя равнодушный вид и из привязанности к ней сперва терпел Лесную Голубку, а со временем стал уделять и ей чуточку тепла и внимания. Именно на это обстоятельство больше всего рассчитывал Джимс, заведя с Тайогой разговор о том, чтобы на время» раздела» сделать Туанетту пятым членом семьи Вуско. Ни Туанетта, ни сам Джимс никак не ожидали отказа, и решительное осуждение их плана старым сенекой обоих привело в отчаяние. Однако Шиндас несколько не удивился и объяснил своим друзьям поведение Тайоги. Туанетта была ему не просто приемной дочерью: он принял ее целиком — телом и духом, а согласно морали и общественной этике сенеков было немыслимо, чтобы девушка — тем более дочь вождя — поселилась в семье человека, с которым она обручена Единственным утешением в постигшем молодых людей разочаровании было признание Тайогой их помолвки. Туанетта решительно отвергла предложение Шиндаса сломить сопротивление старика, вступив в брак по индейскому обычаю. В глубине души молодой сенека надеялся, что Туанетта примет этот простой способ получить мужа и убедит Малиновку поступить так же. Но Туанетта и Мэри, обретя поддержку друг в друге, еще больше укрепились в намерении дождаться того, кто скрепит их союз святыми узами церкви.

В начале ноября группы людей стали расходиться из города. Из сохранившихся запасов съестного каждая получала свою мизерную долю. Мэри уходила с двумя семьями из восьми человек под защитой индейца по имени Громовой Щит, храброго воина и отличного охотника. Они направлялись к озеру Онтарио. Туанетту отдали А Де Ба — Высокому Человеку, родственнику Тайоги, тощему индейцу с мрачным взглядом. Он был прекрасным охотником, лучшим в Ченуфсио, что и побудило Тайогу доверить ему свое самое дорогое сокровище. Семья А Де Ба состояла из одиннадцати человек, включая стариков родителей и двух мальчиков, уже достаточно взрослых, чтобы помогать ему. В Ченуфсио знали, что, какой бы долгой ни выдалась зима, голоду придется изрядно потрудиться, прежде чем заползти в лагерь Высокого Человека. Он отправлялся к озеру Эри.

С трудом скрывая разочарование, Джимс и Туанетта подбадривали друг друга. Несколько месяцев пройдут быстро, и с первыми весенними днями они вернутся в Ченуфсио. Каждую минуту они будут помнить друг друга, жить в мыслях друг друга, а по ночам их молитвы встретятся над бескрайними лесами В будущем году они обязательно что-нибудь придумают. Судьба больше не разлучит их. В последние мгновения, которые они провели вместе, в глазах Туанетты светились такая вера и любовь, что даже Джимс был не в силах измерить их глубину.

Так они расстались.

Джимс отправился с Вуско на север, затем повернул на запад, к Тианагуранте-Ривер, несущей свои воды в озеро Онтарио. Вояка разрывался между преданностью Джимсу и привязанностью к Туанетте. Какое-то время он трусил за хозяином, но после некоторого колебания повернул назад.

К горлу Джимса подступил комок, и он, точно сквозь туман, смотрел, как его старый товарищ спустился обратно по тропе и вскоре исчез из виду.

Это было пятого ноября. К двенадцатому они добрались до истоков Литтл-Селус в восьмидесяти милях от Ченуфсио. За это время Джимс успел осознать серьезность задачи, возложенной на него Тайогой. Как пи был Вуско дряхл и немощен, он передвигался быстрее и мог пройти за день большее расстояние, чем его искалеченный сын. Токана выдерживал пять-шесть миль в день, но и они подчас давались ему ценой огромного напряжения. Мужество, с каким он влачил бремя своей несчастной жизни, покорило Джимса. Токана глубоко переживал, что не может нести никакой поклажи, и испытывал подлинные душевные страдания, когда — а

это случалось довольно часто — названному брату приходилось помогать ему преодолевать каменистые и неровные места. Иногда он пробовал подшучивать над собой, но Джимс видел, что сердце его изнывает от боли, а душу переполняет мучительный стыд. Несмотря на то что при ходьбе голова Токаны находилась почти на одном уровне с поясницей, нетрудно было догадаться, какой совершенный образчик индейской породы он некогда являл собой. Джимса поражала преданность Серой Лисы старику отцу и маленькой дочери, заставившая его вместе с ними покинуть Ченуфсио, хотя он мог остаться и с относительными удобствами пережить зиму в городе. От Вуско Джимс узнал, что все трое провели бы зиму в Ченуфсио, если бы Тайога не сделал его их сыном и братом. «Теперь в Ченуфсио тремя ртами меньше», — посмеивался старик.

Вера Вуско и твердость духа Серой Лисы воодушевляли Джимса, но подлинным источником его силы стала Лесная Голубка. Девочка боготворила своего нового друга, и ее близость помогала ему легче переносить разлуку с Туанеттой. Джимс начал учить ее французскому языку, и они обменивались признаниями, понятными только им двоим. Он сказал Лесной Голубке, что Туанетта — Сои Ян Маквун и он любят друг друга, и постарался объяснить ей, почему Туанетты нет с ними. В будущем году они обязательно будут вместе. Однажды девочка спросила: не могла бы она пойти с ним и Туанеттой, куда бы они ни отправились? С того дня она еще сильнее привязалась к Джимсу.

Вуско привел их в лесной край, где, как он уверял, всю зиму должна быть хорошая охота. Там водилось множество енотов, а как только озера и устья рек покроются льдом, на незамерзающих протоках соберутся утки-нырки. Из стволов молодых деревьев они построили хижину. Лесная Голубка никогда не жила в таком доме. Джимс сложил в нем очаг, сделал трубу и отдельную комнатку для девочки. При виде такого подарка глаза малышки сияли от восторга. Каждый день Джимс рассказывал ей что-нибудь новое про Туанетту — как Сои Ян Маквун заботится о своих прекрасных волосах, как неукоснительно, словно религиозные заповеди, соблюдает чистоту, как делает то, другое... В конце концов рассказы Джимса запали в голову Лесной Голубки: она стала усердно пользоваться гребнем и расческой, отчего ее гладкие черные волосы всегда блестели чистотой.

В тот год рано наступили холода и выпал глубокий снег. Уже к концу декабря Джимсу пришлось охотиться на снегоступах. По ночам бывали лютые морозы, и даже незамерзающие протоки покрылись льдом. Нырки улетели.

Стояла памятная зима 1755/56 года, рассказы о которой многие поколения сенеквов передавали от отца к сыну, — зима, когда все живое, казалось, исчезло с поверхности Земли, когда лишения и голод убили каждого десятого сенеку, каюгу и онондагу в трех из шести союзных племен, живших на Крайнем Западе. Олени перекочевали на восток и юг. Медведи еще в ноябре залегли на зимнюю спячку. Еноты, основная пища индейцев в неурожайные годы, спрятались в своих норках и заснули беспробудным сном. Нырки улетели в поисках чистой воды. Для кроликов шел «седьмой год», когда их поголовье резко сокращается. Лоси и бизоны остались в низовьях Аллегейни. Мясо бобра и выдры стало дороже их меха. Недостаток мелкого зверя вынудил диких кошек, лис и прочих плотоядных созданий перебраться в дальние охотничьи угодья. Голод — костлявый, безжалостный голод — шагал по землям трех племен.

Первое время Джимсу удавалось кое-как держаться: он убил оленя и с помощью опытного в таких делах Вуско отметил несколько деревьев, в которых зимовали еноты. Но к концу января голод вплотную подступил к хижине на Литтл-Селус. Во время охоты Джимс уходил все глубже в лес и порой не возвращался в течение двух дней. В феврале он совершил четыре таких похода и каждый раз возвращался ни с чем. Стоял страшный мороз. Деревья в лесу трещали, как ружейные выстрелы. Ни днем, ни ночью не унимались ледяные ветры. С каждой неделей глаза

Лесной Голубки становились все больше, кожа прозрачней, тело слабее. Когда Джимс возвращался с охоты, девочка вся светилась счастьем, но он замечал, что силы ее тают на глазах. Он охотился с исступленной, нечеловеческой энергией. Когда голод особенно плотно сжимал свои смертельные объятия, все отдавалось ребенку: пара дроздов, сраженных стрелой, мясо рыжей белки, желуди, найденные в трещинах старого пня, сочные корни кувшинок, сохранившиеся под двухфутовой толщей льда. Затем — дупло дерева, спящий енот, и на несколько часов все сыты. Так одна томительная неделя сменяла другую, и по пятам за ними на расстоянии вытянутой руки неотступно брела смерть.

Мучительный страх начал преследовать Джимса. Туанетта не выходила у него из головы днем и являлась во сне ночью. Она тоже участвовала в этой яростной схватке за жизнь. А ведь на руках А Де Ба было одиннадцать ртов, а не четыре.

Ночью, когда в лесу завывал ветер и деревья стонали под его порывами, страх бросал Джимса в холодный пот, и ему не раз приходила мысль бросить свою семью и отправиться разыскивать Туанетту. Воображение рисовало ему мрачные картины постигшей ее судьбы, и постепенно они превратились в навязчивый кошмар. Вуско подливал масла в огонь: медленное умирание от голода сломило мужественного старика, и его злое пророчество доводило Джимса до исступления. Серая Лиса не падал духом, хотя так похудел, что казалось — скулы вот-вот прорвут кожу. Но больнее всего ранили Джимса глаза Лесной Голубки. Они уже занимали почти половину ее осунувшегося личика; их темные глубины были полны мукой голода, и Джимс боялся, что нежная душа девочки может в любую минуту покинуть свою земную оболочку. Однако Лесная Голубка ни разу не пожаловалась и неизменно встречала его радостной улыбкой. Силы Джимса начали убывать; его охоты стали недолгими, и редко он уходил дальше чем за три или четыре мили от хижины. Убить какую-нибудь случайную птицу — вот все, на что он мог надеяться. И в самый тяжелый час той страшной зимы молитва его была услышана. Однажды в сильную метель, когда, почти ослепнув, Джимс с трудом пробирался к дому, он встретил ослабевшую лань и убил ее. Если бы не этот подарок судьбы, Вуско и Лесная Голубка непременно умерли бы. Все вместе они встретили первую весеннюю оттепель. Из зимних убежищ начали показываться еноты; в ручьях, вскрывшихся ото льда, виднелись мясистые корни водяных растений. В самом начале марта погода повернула на тепло, и Джимс со своими спутниками пустился в обратный путь в Ченуфсио. Пища теперь была в изобилии, и по вечерам все четверо собирали живительный кленовый сок.

Наконец Джимс и его подопечные добрались до Ченуфсио. Оставшиеся в городе пережили зиму, экономя каждую горсть припасов, и, едва клены начали давать первый весенний сок, все принялись варить из него сахар. Только четыре семьи вернулись в город раньше Джимса. Осенью в этих семьях насчитывалось двадцать восемь человек — пятеро из них умерло. От Тайоги не было никаких вестей.

А кленовый сок все тек и тек. В нескольких железных и во множестве берестяных котлов дымился кленовый сахар. Такого количества сахара здесь не видели уже много лет. Но, несмотря на редкую щедрость первых весенних дней, над Ченуфсио вырос злое пророчество, и с каждым днем его оскал делался все страшнее.

Призраком этим была смерть. Едва ли в город вернулась хоть одна семья, которая не принесла бы горестных вестей. Но А Де Ба, самый умелый охотник в Ченуфсио, все не возвращался. Никто ничего не слышал о нем. Никто не знал, где он. Пятьдесят... семьдесят... сто... И наконец, к исходу марта сто пятьдесят человек возвратились и город. Среди них Мэри Даглен. Умерло за зиму тридцать человек. Но А Де Ба, Высокий Человек, все не приходил.

Но вот появился и он. Тайога не узнал бы своего родственника в этом нелепом, обтянутом кожей скелете. За ним устало плелись члены его семьи. Джимс сосчитал их, прежде чем

вглядеться в лица, которые голод и усталость сделали похожими одно на другое. Одиннадцать! Молодой человек бросился к ним, и из вереницы индейцев, во главе которой плелся Высокий Человек, покачиваясь, вышла Туанетта. Если бы она не сделала навстречу Джимсу несколько шагов, он далеко не сразу узнал бы ее; люди, следовавшие за А Де Ба, брели, опустив голову и с трудом передвигая ноги, словно мертвецы на параде смерти. От прежней Туанетты остались только глаза: они смотрели на Джимса с почти чужого, страшно исхудавшего лица. Радость Джимса невольно угасла. Он подхватил Туанетту на руки: весила она не больше ребенка. Девушка спрятала лицо у него на груди и беззвучно заплакала.

Джимс отнес Туанетту в вигвам. Ее одежда превратилась в лохмотья, мокасины изодрались. Легкость, почти невесомость ее тела ужаснула молодого человека, и, когда она поднесла руку к его лицу, горячая влага обожгла ему глаза. Он положил ее на подушки и только после этого увидел рядом с собой Лесную Голубку. Вскоре в вигвам вошла Мэри Даглен. Джимс уступил ей место возле Туанетты и, выйдя наружу, чуть не наступил на какое-то существо, которое вяло бросилось к нему. Это был Вояка, точнее, его скелет с красными водянистыми глазами и отвалившейся челюстью. Вскоре из вигвама вышла Малиновка и сказала, что идет за теплой водой, а Лесная Голубка помогает Туанетте переодеться. Джимс отправился отыскивать спутников Туанетты. Все, кроме А Де Ба, разошлись по своим вигвамам, и близкие помогали им прийти в себя. С трудом держась на ногах, Высокий Человек рассказал Джимсу о своих странствиях. Он живыми привел домой всех одиннадцать членов своей семьи — он и собака. Как истинно благородный и великодушный человек, А Де Ба воздал должное своему меньшему брату. Без собаки он не вышел бы победителем в борьбе за жизнь одиннадцати душ — и Джимс понял, почему Вояку не съели.

Немного спустя Мэри Даглен позвала Джимса в вигвам. Туанетта лежала на постели из шкур. Напугавшее Джимса выражение исчезло из ее глаз, и теперь они светились радостью. Волосы Туанетты были тщательно расчесаны и заплетены в две блестящие косы. Девушка протянула Джимсу обе руки, он опустил перед ней на колени. Лесная Голубка не сводила с них сияющих глаз. На ресницы Мэри Даглен навернулись слезы. После этого Джимс не видел Туанетту целый день и целую ночь. Она спала беспробудно, и Малиновка с Лесной Голубкой не отходили от ее ложа. На следующий день Туанетта и Джимс обошли город.

Мэри Даглен волновали те же чувства, что и Туанетту. Хотя ее мать до конца жизни сохранила верность Богу предков, Малиновка не знала иной жизни, кроме жизни принявших ее в свою семью людей, и с растущей тревогой ждала возвращения Шиндаса. Мэри призналась подруге, что готова уступить обстоятельствам и, если весной или летом в Ченуфсио не появится какой-нибудь священник, стать женой Шиндаса по индейскому обряду. Туанетте эта мысль уже не казалась столь ужасной. Она воочию убедилась в благородстве и мужестве индейской семьи в борьбе со смертью. Она видела, как Высокий Человек грыз горькую кору, чтобы женщинам и детям остались обрезки кожи и мяса; видела, как мать день за днем припрятывала для детей свою порцию пищи; постоянно наблюдала верность и преданность, пробудить которые в душах индейцев мог только Бог. Предубеждения, несмотря на то что за ними стояла ее собственная трагедия, рассеялись, и в душе Туанетты начали просыпаться неведомые прежде чувства. Она полюбила Лесную Голубку любовью матери, и даже родная сестра не могла бы занять в ее сердце место, которое заняла в нем Мэри Даглен. Число ее доброжелателей быстро росло: встречая ее, дети не скрывали радости, взрослые — нежности и симпатии.

Туанетта пока ничего не говорила Джимсу, но в ней крепло убеждение, что даже если священник не придет в Ченуфсио — она не позволит следующей зиме разлучить их.

Но священник пришел — пришел, как только минули голодные месяцы. Это был изможденный человек с бледным как смерть лицом. Он направлялся занять место умершего



брата-миссионера среди индейцев на берегах Огайо. Так объяснил он свое появление на земле сенеков. История говорит иначе: через год его видели с индейцами племени абекани во время резни, учиненной ими в Форте Уильям Генри. Отец Пьер Рубо — так звали священника — был хладнокровным, фанатичным служителем Бога. За все время пребывания в Ченуфсио он ни разу не улыбнулся, ни к кому не обратился со словами утешения; он бродил один по городу, словно зловещая туча, скорее готовая пролиться Божьим гневом, нежели божественной благодатью и радостью. И все же он олицетворял собой святую церковь и принял бы тысячу смертей во имя движения, духовным представителем которого он был. Отстаивая свое дело, он мог бы есть человеческое мясо. И действительно, на глазах отца Рубо его дикая паства ела человечину в Форте Уильям Генри. В Ченуфсио он провел два дня и на второй день обвенчал Джимса и Туанетту по католическому обряду<sup>28</sup>.

Это событие рассеяло уныние, вызванное появлением священника, и несколько часов в Ченуфсио парило веселье в честь дочери Тайоги и сына Вуско.

Но духи радости вскоре покинули город, и смерть занесла над ними свою косу. От Тайоги по-прежнему не было никаких вестей. Там и здесь стали шептаться, что они пали в битве и никогда не вернутся. Беспокойство переросло в опасение, опасение — в уверенность. Тучи, куда более мрачные, чем собольи одежды миссионера, надвигались на Ченуфсио.

В упоении своим счастьем Джимс и Туанетта не замечали вокруг себя едва уловимых изменений. Лесное убежище стало для них домом, и корни, которые удерживали в нем молодых людей, были так прочны, что вырвать их не могла бы и сама смерть. Беспокойство, вызванное сомнениями и неизвестностью, сменила душевная полнота двух слившихся воедино жизней. Трагедия осталась позади; боль утихла; острота скорби притупилась. Они думали о ней, говорили о ней, ее страшный призрак порой будил Туанетту по ночам, и, просыпаясь, она находила ласку и утешение в объятиях Джимса. По воспоминания о прошлом уже не ранили глубоко. Тени Тонтера и Катерины с каждым днем становились ближе, укрепляя незримые цепи любви, которые привязывали молодых людей друг к другу. Как всякая чистая юношеская любовь, их любовь не знала границ. Она обнимала весь мир и превращала в настоящий рай тот дикий уголок, в котором они обитали. Малиновка первая заставила Джимса и Туанетту спуститься на землю и увидеть, что происходит вокруг. В глубине души Мэри была индейской женщиной — недаром ее младенчество, детство, лора расцвета ее девической красоты прошли среди сенеков. Вспыхнувшая любовь окончательно утвердила в ее сердце приверженность индейским нравам и обычаям. Проходили дни, недели. От Тайоги все не было вестей, и страх за Шиндаса ледяным холодом сковал сердце Мэри. Она ушла в себя, сделалась замкнутой, нелюдимой. Туанетта никогда не видела, как плачет индейская женщина. Однажды ей пришлось утешать мать, на руках которой лежал мертвый ребенок, но даже это древнее, как мир, горе не вызвало слезы на глаза несчастной. Не плакала и Малиновка. Ее лицо стало таким же суровым, как у всех жителей индейского селения. Это была уже не Мэри Даглен. Это была Опичи — женщина из племени сенеков.

Резкая перемена в той, к кому она привыкла относиться как к сестре, открыла Туанетте глаза на опасность, грозящую ей и Джимсу, и обнаружила во всей ее дикой жестокости одну из основных черт характера индейцев. Когда их врагом был белый человек, их злоба и мстительность не знали предела. Заметил это и Джимс. Его больше не встречали с прежним радушием. Мужчины стали отчужденными, женщины занимались работой без обычной болтовни. Охотники уходили в леса без энтузиазма и возвращались угрюмыми. Старики собирались на бесконечные советы, юноши затачивали томагавки и с возрастающим беспокойством ждали новостей. Несчастья измучили людей, их нервы были напряжены до предела. Ченуфсио походил на бочонок пороха — не хватало только искры.

И вот блеснула молния.

В последних числах мая, когда день клонился к вечеру, в Ченуфсио появился Шиндас, и Мэри Даглен с несдержанностью белой женщины бросилась в его объятия. Несколько мгновений он прижимал ее к груди, — затем отстранил от себя, следуя нормам поведения индейского воина. Шиндас пришел один. Его руки и плечи были в ранах, некоторые из них едва затянулись. Щеку молодого человека пересекал широкий шрам, в глазах горел свирепый огонь, словно у преследуемого волка. Шиндас даже не пытался смягчить принесенные им новости. Он пришел с границы земли каюгов как посланец Тайоги и на много часов опередил товарищей. Тайога возвращался с девятью из тридцати воинов. Все остальные мертвы.

Даже для самого воинственного из шести союзных племен эта трагедия граничила с катастрофой. История сенеков не знала ничего подобного. Погибло двадцать из тридцати воинов — цвет Ченуфсио, костяк отряда Тайоги!

Шиндас ждал, пока его слова железными шипами вонзятся в сердца стоящих вокруг мужчин и женщин. Ждал, пока из их душ улетучится последняя надежда и на смену ей придет безысходное отчаяние. Затем он медленно перечислил по имени всех, павших от руки врагов. Словно инквизитор, он упивался страданием людей, им же подвергнутых жестокой пытке, и голос его, взмывая к небу, гулким эхом отдавался в лесу. Трех воинов из двадцати убил белый человек. Теперь он пленник и идет с Тайогой. Ему вырвали глаза, и он не видит. Они разожгли костер и собирались предать его смерти, но в последнюю минуту, когда пламя уже опалило пленника, Тайога собственными руками раскидал горящий хворост, чтобы народ Ченуфсио тоже мог видеть, как белый человек корчится в огне.

После рассказа Шиндаса могло показаться, что Ченуфсио полон не убитыми горем мужчинами и женщинами, а толпами лишившихся рассудка людей. Долго не смолкали стенания женщин, но слез Туанетта так и не увидела. Ужас ее усилился, когда все стали готовиться к акту мщения. Она видела, как женщины роют яму и укрепляют в ней высокий столб, как маленькие дети вместе с матерями собирают хворост; как друзья превращаются в кровожадных дьяволов, в чьих глазах при одном взгляде на нее зажигается жгучая ненависть. От этого кошмара она попробовала спрятаться в своей хижине и не отпускать от себя Джимса. Но к ним пришел Шиндас. Он принес Джимсу приказ Тайоги немедленно идти за семьдесят миль — в деревню Канестио — и сообщить ее жителям об участии военного отряда Ченуфсио. Джимс тут же отправился выполнять приказ. Молодой сенека уже не был братом Джимса и Туанетты. Узнав, что они стали мужем и женой, он не выразил радости. Разительная перемена в Шиндасе испугала даже Мэри Даглен.

Туанетта осталась одна. Кроме Лесной Голубки, никто не заходил к ней. На следующий день в полдень девочка с широко раскрытыми глазами вбежала в ее вигвам — сказать, что Тайога уже близко. Туанетта знала, что ей необходимо увидеть белого пленника и одной из первых встретить Тайогу. Она надела любимые одежды Серебряной Тучки, повязала на голову красную ленту и продела в нее длинное перо.

Все жители Ченуфсио собрались па краю равнины. Когда Туанетта присоединилась к ним, толпа загудела от негодования. Шумели только женщины; мужчины угрюмо потупились. Люди отшатывались от нее, словно от чумной. Простодушная Лесная Голубка перевела Туанетте разговоры индейцев, и та все поняла. В селении больше не верили ей. В ней не жил дух Серебряной Тучки. Тайога сделал ошибку, и вместо удачи пришла, беда — голод, смерть, поражение в битвах с врагами. Лесная Голубка слышала, как одна женщина прошептала, едва шевеля тонкими губами, что самозванка, занявшая место Серебряной Тучки, должна умереть на одном костре с белым человеком. Этого девочка не стала повторять, но рука ее дрожала в руке Туанетты.

Когда Тайога с остатками отряда перевалил через гребень холма и вступил на поле, Туанетта и Лесная Голубка стояли во главе длинного ряда индейцев. Шиндас велел товарищам не трогать пленника: его надо было поберечь для пытки на костре. Как отличалось это возвращение Тайоги и его воинов от предыдущего! На сей раз индейцы напоминали тигров, которые с трудом сдерживали ярость, и даже в глазах тех, кто не потерял близких, горела ненависть. Тайога поравнялся с Туанеттой, но лицо его было непроницаемо, как камень; он прошел так близко от нее, что она могла дотронуться до него рукой. За предводителем индейцев шел обнаженный до пояса пленник. Это был человек мощного телосложения, широкоплечий, с огромными руками. С обеих сторон от него шло по воину — пленник был слеп и не мог двигаться без посторонней помощи. Пустые глазницы под полуопущенными веками делали его похожим на человека, бредущего во сне. Однако испытания не сломили его: ничто в нем не выдавало страха. Почувствовав близость людей, он высоко поднял голову, словно стараясь увидеть их. На голове пленника не было ни единого волоска.

У Туанетты потемнело в глазах; она пошатнулась и не упала только благодаря огромному усилию воли.

Пленником был Хепсиба Адамс.

Кроме Лесной Голубки, никто не заметил слабости Туанетты. Туанетте казалось, будто ее окутала удушающая пелена: она мешала видеть, не давала дышать. Очнувшись, она увидела рядом с собой только Лесную Голубку: индейцы обступили Тайогу и его единственного пленника Долго сдерживаемые чувства дикими криками вырывались наружу, и под этот адский вопль Туанетта вернулась в хижину, выстроенную Джимсом рядом с вигвамом Тайоги.

Она послала Лесную Голубку разыскать Шиндаса и, когда молодой сенека перешагнул порог, стала умолять его спасти пленника от смерти. Уговаривая Шиндаса забыть горечь поражения и помочь ей в этот страшный час, Туанетта рассказала, что белый человек — дядя Джимса и старый друг ее отца, он всегда был для индейцев братом, пока моговки не убили его сестру, которую он любил еще сильнее, чем Шиндас любит Мэри Даглен. Мольбы Туанетты не тронули молодого индейца. Он слушал, но сердце его не дрогнуло и в лице не отразилось ни тени сочувствия. Шиндас вышел, ни словом, ни жестом не подав жене своего друга ни малейшей надежды.

Неудачная попытка заручиться поддержкой племянника Тайоги только усложнила положение Туанетты. Но если раньше она жалела, что Джимса нет рядом, то теперь его вынужденное отсутствие скорее радовало ее. Все нарастающий шум, пение песен смерти, крики детей, вой дикарей, которые, собравшись вокруг жертвенного столба, распалили в себе исступленную ярость, увеличивали ужас Туанетты. Она не сомневалась, что спасти Хепсибу невозможно. Если бы Джимс был в селении, он, конечно, не дал бы убить Хепсибу без борьбы, которая неминуемо закончилась бы его собственной гибелью. Эта мысль, равно как и вера в то, что сама судьба удалила Джимса из города, утвердила Туанетту в намерении во что бы то ни стало помочь Хепсиге. Вместе с Лесной Голубкой она не сводила глаз с вигвама Тайоги и наконец, увидев, как старый сенека вошел к себе, поспешила к нему. Лесная Голубка и Вояка последовали за ней.

Прием, оказанный Тайогой названной дочери, не сулил ничего хорошего. На миг Туанетте показалось, будто он смягчился и даже протянул к ней руки. Но это впечатление быстро рассеялось: сенека скрестил руки на груди и, поблагодарив за посещение, устремил на Туанетту неласковый, холодный взгляд. Трагедия, обрушившаяся на его народ, придала еще большее благородство осанке Тайоги. Победенный вождь, вернувшийся в родной дом, опустошенный Смертью, он не утратил истинно королевского величия, но казалось, этим, присущим только человеку, свойством наделен каменный истукан. Известие, что пленник связан с Джимсом тем же родством, что и он с Шиндасом, что обреченный на смерть человек очень дорог Серебряной Тучке, не произвело на старика никакого впечатления. Терпеливо выслушав молодую женщину, он покачал головой и показал на вечерние тени на траве за пологом вигвама. Пленник должен умереть. От слов Тайоги веяло могильным холодом. Его люди требуют, чтобы душа белого человека, убившего трех индейских воинов, погибла в пламени костра. Они дождутся темноты — таков обычай. Затем пленника выведут из вигвама, где он лежит, связанный по рукам и ногам, и разожгут костер.

Вглядываясь в сгущающиеся сумерки, Тайога сказал, что она может поговорить с дядей Джимса. Чем темнее становилось вокруг, тем громче пели мрачную песнь смерти женщины в дальнем «конце селения.

Тайога снова заговорил.

Надо спешить. Уже поздно. Пленник — в вигваме А Де Ба около реки; его охраняют Высокий Человек и Шиндас.

Туанетта ушла вместе с Лесной Голубкой и Воякой. Тайога провожал ее взглядом. Если бы она обернулась, то заметила бы в нем разительную перемену, которая произошла с ним, как только он остался один.

За спиной Туанетты не смолкали стенания женщин и детей: женщин, потерявших мужей или сыновей; детей, оставшихся без отцов. Ярко пылали факелы вокруг сложенного костра. Когда все будет готово для жертвоприношения, перед мрачной сценой разольется амфитеатр огня.

Туанетта заметила шумные приготовления, и ее бил озноб. Она задыхалась, подходя к жилищу А Де Ба, которое охотник поставил в стороне от других. Высокий Человек с ружьем в руке неподвижно стоял у входа. Шиндас сидел на земле рядом с ним. Оба увидели Туанетту еще издали. Объятая сомнениями и страхом, она остановилась в нескольких шагах от них. Что скажет она Хепсибе Адамсу? Как спасет его, если и Тайога, и Шиндас, и А Де Ба жаждут его смерти? Туанетту охватила минутная слабость, она вдруг подумала, что вернуться было бы гораздо проще, чем назвать свое имя Хепсибе. Посмотрев в сторону поблескивающей в лунном свете реки, она увидела тени нескольких каноэ, вытасненных на берег. В одном из них вместе с Лесной Голубкой можно было бы уплыть туда, куда не долетают звуки приготовлений к страшной казни.

К тому времени, когда мужество вернулось к Туанетте, Шиндас поднялся с земли. Он что-то коротко сказал А Де Ба и пошел ей навстречу. Казалось, молодой сенека ждал ее и сразу показал рукой на вигвам. Когда Туанетта входила внутрь, А Де Ба даже не взглянул на нее. Лесную Голубку и Вояку оба стража словно и вовсе не заметили.

Туанетта увидела, что Хепсиба, растянувшись во весь рост, как мертвый, лежит на полу, и опустилась около него на колени. Он не заметил ее присутствия, пока она не дотронулась до него рукой. Туанетта нащупала кожаные жгуты на запястьях пленника, затем коснулась пальцами его горячего лица.

Низко склонившись над обреченным, она прошептала:

— Хепсиба... Хепсиба Адамс... Я Туанетта Тонтер.

Шиндас и А Де Ба терпеливо ждали, а тем временем мрак становился все гуще и плотней. Через некоторое время они увидели Лесную Голубку: девочка направлялась к кольцу огня. Шиндас остановил ее и спросил о Туанетте. Девочка ответила, что она плачет около белого человека, а собака сидит рядом.

Костры за могучими дубами горели все ярче; на небе зажглись звезды. Тайога обращался к людям, собравшимся в залитом ослепительным светом полукруге. Шиндас и А Де Ба знали, что это значит. Скоро им велят привести пленника. А Де Ба смотрел на костры, Шиндас ходил взад и вперед перед вигвамом. Но вот Высокий Человек нарушил молчание: он недоумевал, отчего Тайога так долго не посылает за пленником.

Новый взрыв криков возвестил им, что время наконец настало. А Де Ба подошел к вигваму, откинул полог и позвал Сои Ян Маквун. Никто не ответил. Он снова окликнул ее и вошел внутрь. Через несколько мгновений он позвал Шиндаса, и молодой человек поспешил в вигвам. А Де Ба, как раненый зверь, метался в темноте. Вигвам был пуст. Туанетта и Хепсиба Адамс исчезли.

Шиндас не вымолвил ни слова. В ночной тьме было невозможно разглядеть, какие чувства отразились на его лице, когда, подойдя к самой воде, он увидел, что недостает одного каноэ. А Де Ба застал племянника Тайоги онемевшим от изумления. Каноэ опустили на воду всего в пятидесяти шагах, а они не услышали всплеска. А Де Ба разразился горькими упреками по собственному адресу. Они с Шиндасом не лучше маленьких детей; каждый мужчина и каждая женщина в Ченуфсио будут насмеяться над ними за то, с какой легкостью беглецам удалось

провести их. Но украденное каноэ не могло уплыть далеко. Они быстро перехватят его. И, не теряя времени, Высокий Человек принялся стаскивать в воду второе каноэ. Но Шиндас напомнил А Де Ба, что Сои Ян Маквун — дочь Тайоги, и коль она навлекла на себя смертельную кару за измену племени, то Тайога и должен решать, как им действовать. Беглецы, один из которых слеп, не уйдут от погони. Этой же ночью белый человек будет предан огню, и раз Серебряная Тучка оказалась змеей, обманувшей Тайогу и племя, то и она, скорее всего, умрет вместе с ним.

Пока обманутые стражи бежали к месту, где их ждал Тайога в окружении жителей Ченуфсио, из груди А Де Ба вырывались какие-то странные звуки, но, когда они остановились у костра, Высокий Человек был так же спокоен, как Шиндас, который и объявил о предательстве той, кого они приняли за истинный дух Сои Ян Маквун. Он говорил отчетливо и громко, чтобы все его слышали. Сенеки сдерживали обуявшую их ярость; они понимали, что бегство белой девушки — самый страшный удар, какой только мог обрушиться на Тайогу, отдавшего ей свое священное достояние — душу погибшей дочери. Спокойствие Тайоги было ужасно. Его лицо менялось на глазах: морщины сделались глубже, черты заострились и окаменели. Все ждали, когда вождь справится со своими чувствами и заговорит. И вот раздался голос, в котором звучала смерть. Голос вождя набирал силу, разрастался, и наконец в нем заклокотала страсть, подобно огню, все пожирающему на своем пути. Тайога объявил, что вернет свою честь и честь своего народа. Он призвал Шиндаса и А Де Ба отправиться вместе с ним в погоню за беглецами. Луна не пройдет и половину пути но небу, а пламя костра уже получит добычу. Тайога забыл про слепого пленника — человек без глаз все равно что мертвый. Он отдаст огню белую девушку, которая предала их.

Когда три воина скрылись в лесу, новое волнение овладело жителями Ченуфсио. Белая девушка будет сожжена! Эта весть шепотом перелетала из уст в уста; но изменнице отомстят не живые люди. Нет, то дух Сои Ян Маквун взывает к справедливости, и Тайога не осмелится противиться желанию мертвых. На них смотрит сама Серебряная Тучка, чье тело умерло в пруду. Она бродит среди них, прислушивается к их словам, живет в их душах, притупляя Торе, смиряя безумие вражды и ненависти. Даже Лесная Голубка, любившая Туанетту, не могла плакать. Белые жители индейского селения в ужасе попрятались по своим углам. Костры догорели и синими глазами последних огоньков всматривались во тьму ночи. Час проходил за часом, и сенеки с замиранием сердца прислушивались к тишине.

Наконец они услышали пение. Оно приближалось со скоростью движения лодки. То была песнь смерти, в которой Тайога оплакивал дочь. Она всколыхнула души дикарей, как легкий порыв ветра кольшет листья деревьев. Индейцы очнулись от тягостного оцепенения — в песне смерти звучало торжество, и все догадались, что погоня закончилась удачей. В догорающие угли подбросили дров, и вскоре пламя заиграло с прежним весельем. Тайога и его спутники поднялись от реки, но пленников с ними не было. Огонь костров осветил пылающие яростью лица воинов. Тайога схватил горящую головню и швырнул ее в груды смолистых дров и веток, сложенную вокруг жертвенного столба. Через мгновение взвихрившееся пламя уже лизало столб, и Тайога закружил в танце, под треск смолы заканчивая свою песнь. Все сильнее распаяясь, он поведал людям Ченуфсио о том, как они настигли беглецов у самых Великих Скал, за которыми режут водовороты. Слепой человек сражался томагавком, украденным в вигваме А Де Ба, пока острие другого томагавка не вонзилось ему в мозг и не усмирило его. В своей слепоте он был сущим дьяволом — и Тайога протянул руку к Шиндасу: молодой воин держал рубашку из оленьей кожи, показывая длинный разрез со следами еще не запекшейся крови. Белый человек мертв, и тело его, отягченное тьмой его души, навсегда сгинуло в глубоких водах за скалами.

Но нечистую, которая обманула их, чей злой дух принес им бесчестье и осквернил душу Сои Ян Маквун, они взяли живой. Лицо Тайоги посинело. Он выкрикивал проклятья, в глазах его горело безумие. Разве не привлек он ее к своей груди? Разве не отдал ей сокровища Сои Ян Маквун? Разве сенеки не дали ей места в своих сердцах? А она оказалась змеей! Когда ее схватили, его собственная душа стала такой черной, что он мог видеть только смерть, — ибо слышал, как голос его дочери молит о мщении. И он убил предавшую их. Он убил ее по велению Серебряной Тучки, чей дух пел ему свою песнь. Шиндас слышал эту песнь. А Де Ба слышал. Она была подобна сладкой музыке воды, что по весне журчит, перебегая через камни. Он своей рукой убил белую девушку и бросил тело ее туда, где исчезло тело слепого человека.

Неожиданно он вынул из-за пазухи предмет, при виде которого у толпы вырвался громкий вздох. Люди узнали волосы Туанетты. Они струились с кровоточащего скальпа, поднятого дикарем над головой. Лесная Голубка пронзительно вскрикнула. Десятки раз ее маленькие смуглые пальцы сплетали эти сверкающие пряди для той единственной, в ком она не чаяла души.

Кружась вокруг костра, Тайога все больше походил на дьявола во плоти. Брызги крови с красного скальпа испещрили его лицо. В приступе безумия он швырнул скальп в самую середину костра. Сои Ян Маквун была отомщена, требование народа исполнено.

В полдень второго дня пути Джимс пришел в деревню Канестио, где вождем был Матози, Желтый Медведь. Семьдесят миль молодой человек преодолел за тридцать часов и надеялся так же быстро проделать обратный путь. Он не хотел надолго оставлять Туанетту одну, когда индейцы настроены к ним не слишком доброжелательно. Джимса не на шутку тревожило, что к Желтому Медведю вместо гонца племени послали именно его; незначительность сообщения усиливала его беспокойство. Да и то обстоятельство, что Тайога, которому изменила удача, озаботился выслать вперед Шиндаса с единственной целью передать этот приказ, заронило сомнение в душу Джимса. И сомнения одолели бы его гораздо сильнее, знай он, что гонец из Ченуфсио действительно опередил его. Гонца этого звали На Сва Га, Оперенная Стрела, и он принес Желтому Медведю куда более важное послание от Тайоги.

Не успел Джимс добраться до Канестио, как его отвели к Матози, предварительно отобрав оружие — лук и томагавк. Вождь, которому через год суждено было пасть в сражении при озере Георга и который походил на мальчика, хотя французы и числили его среди храбрейших воинов шести союзных племен, объявил Джимсу, что он его пленник. Матози сказал, что Тайога недоплатил ему за зерно и Джимс покроет собой недостающую часть. Он кратко разъяснил суть договора между вождями. Если Джимс попытается бежать и будет схвачен его воинами, то его убьют; если же он сумеет вернуться в Ченуфсио, то заплатит за побег ту же цену, но уже Тайоге. Вокруг отведенного ему вигвама провели запретную черту. Так Джимс оказался под надзором не менее строгим, чем пленник, ожидающий пыток или казни. В полном смятении Джимс не находил объяснений предательству Тайоги, хотя был уверен, что оно связано с Туанеттой. Он принял объяснения Матози как заведомую ложь и заключил, что у истоков заговора стоял не Тайога, а Шиндас, которого он считал своим лучшим другом среди сенеков. Тревога Джимса росла, на второй день он решил бежать и вернуться в Ченуфсио, пусть даже ценой жизни. Должно быть, излишнее волнение выдало его намерения, поскольку на третий день за ним стали следить пуще прежнего и по ночам вокруг его вигвама спало полдюжины молодых воинов. Они располагались в таких местах, что Джимс не мог покинуть своего убежища, не разбудив одного из них.

На четвертый день невдалеке от своего вигвама Джимс заметил группы взволнованных женщин и детей, но не обратил на них внимания. Угнетаемый страхами, терзаемый опасениями, он твердо решил вырваться на свободу еще до рассвета. Весь день на небе собирались тучи, к вечеру запахло близкой грозой, отчего надежды на успешный побег стали не такими уж несбыточными. Вскоре небо потемнело, и вслед за раскатами грома хлынул дождь. Джимс притворился, будто рано лег спать. Около полуночи он сел и прислушался к шуму ливня. Будучи уверен, что сенеки спрятались от потопа, он уже собирался встать, но услышал легкий шорох намокшего кожаного полога. Кто-то вошел внутрь.

Тонкий голос прошептал его имя. Джимс вытянул руки и наткнулся на холодные ладони.

Еще через мгновение прозвучали сбивчивые, торопливые слова, едва слышные в реве грозы: «Я Лесная Голубка. Три дня назад я убежала из Ченуфсио. Я пришла сказать тебе, что Серебряная Тучка умерла»<sup>29</sup>.

В ту ночь вспышки молний, резвящихся с бурей и громом, освещали одинокого путника, который спешил через бескрайние лесные просторы к Ченуфсио. Сперва он почти бежал, но, выбившись из сил и запыхавшись, сбавил шаг. Ни дождь, хлеставший в лицо, ни ветер, бьющий в грудь, не могли смирить его упорство.

Этим путником был Джимс. Если бы весть о смерти Туанетты ему принесла не Лесная



Голубка, а кто-нибудь другой, он не поверил бы. Но уста ребенка не могли солгать. С детской откровенностью Ванонат рассказала некоторые подробности, о которых взрослый, скорее всего, умолчал бы; теперь каждая вспышка молнии казалась Джимсу столбом пламени, и в его ослепительном свете он видел Тайогу с шелковыми волосами Туанетты в руках.

Лесная Голубка повторила все, что Туанетта поручила ей передать Джимсу за несколько минут перед побегом, и никакая тьма не могла сравниться с той, которая скрыла от него искаженные мукой лица его жены и слепого дяди, взывающих к отмщению.

По необъяснимой случайности, какие всегда берегут лунатиков, Джимс не сбился в спешке с узкой тропы. Его шаги направлял инстинкт, а не знакомые приметы, едва различимые во тьме. Когда плотный мрак, напоенный дождем ночи, сменился хмурым рассветом, Джимс понял, какие препятствия он преодолел.

Свет, хотя его приглушали темные тучи и непрерывный дождь, помог душе Джимса выбраться из поглотившего ее хаоса. Туанетта мертва, и унылый горизонт превратился в стены тюрьмы, о которые стучалась только одна мысль. Ее убили. Так же, как убили его мать. Она ушла вслед за своим отцом, оставив его совсем одного в этом мире.

Даже мщение казалось бесполезным, неравноценным утрате. В груди Джимса не было надежды. Он надеялся, зная, что его мать мертва, надеялся, отыскивая следы жизни в развалинах Тонтер-Манор, надеялся, что Хепсиба жив. Но теперь... теперь он не находил в себе спасительной благодати, даруемой надеждой. Он шел и шел вперед, чувствуя, что постепенно утрачивает способность ненавидеть, хотя все его тело напрягалось в твердой решимости выполнить миссию мщения. Он убьет Тайогу. Убьет Шиндаса. И в этом будет высшая справедливость, а не удовлетворение плоти или духа. Нечто гораздо более значительное и сложное, чем порыв, благодаря которому он освободился из деревни Матози, с болезненной силой захлестнуло Джимса. То было острое, невыносимое сознание одиночества, бескрайности мира, внезапности ухода той единственной и последней, кто оживлял и освещал для него этот мир. Без Туанетты существование мира не имело смысла, как и Джимсу не было смысла и дальше согреваться его теплом, питаться его соками. Туанетта мертва. Он всегда смутно опасался, что именно такая судьба изначально уготована им. Теперь уже ничто не имело значения: убив Тайогу и Шиндаса, он не соединит края разверзшейся бездны отчаяния и безнадежности.

Джимс все шел и шел. В любое другое время силы его давно бы иссякли. Чем дальше он шел, тем яснее понимал, отчего так спешит. Он шел домой. Больше всего его влекла к себе хижина, в которой жили Туанетта и он. Их дом. То, что не ушло, не исчезло с ее телом, хотя и было ее частицей, которую в конце пути он найдет такой, какой оставил, если только Тайога не уничтожил и ее.

Весь день лил дождь. Не перестал он и к вечеру. Земля пропиталась влагой, и следы Джимса мгновенно исчезали. К полуночи небо очистилось. Вышла полная луна. Вскоре Джимс добрался до Ченуфсио. Везде поблескивали лужи. Чуткие собаки признали его, но люди уже спали.

Дверь их дома была закрыта, словно Туанетта находилась внутри и спала. Переступив порог, Джимс всем существом ощутил ее присутствие. Но дом был пуст. Молодой человек осторожно развел огонь и заслонил его, чтобы снаружи никто ничего не заметил. Слабый свет озарил комнату — пол, потолок, стены... Джимс принялся перебирать вещи и раскладывать их на столе — ее вещи. Сложив их в узел, он взял оружие — нож, томагавк, лук, — погасил огонь и вышел, затворив за собой дверь.

Сперва Джимс отправился к Шиндасу, так как решил первым убить его. Тайога будет вторым. Но Шиндаса он не нашел. Вигвам молодого воина был пуст; отсутствие оружия

означало, что хозяин покинул селение. Джимс немного постоял в тени дуба, глядя на жилище Тайоги. Он не испытывал жажды уничтожения. Нежное перешептывание деревьев, плеск воды, капающей с листьев, сливались в мелодию мира и покоя и гнали прочь мысли о смерти. Возможно, они и одержали бы победу, если бы из вигвама, за которым наблюдал Джимс, не вышел высокий человек. Джимс узнал Тайогу. Словно влекомый неумолимым роком, вождь приближался. Вот он остановился. Яркая луна осветила его лицо. Стоя ярдах в тридцати от Джимса, он внимательно вглядывался в таинственную даль. Что привело его сюда? О чем он задумался? Что таит для него ночь? Не задав себе ни одного из этих вопросов, Джимс поднял лук. Затем он позвал Тайогу по имени, дабы тот знал, что пришел час возмездия. Запела тетива, и в лунном свете с легким жужжанием сверкнула тонкая стрела. Джимс слышал, что она попала в цель. Тайога даже не вскрикнул. Схватившись руками за грудь, он упал на землю и остался лежать на ней темным неподвижным пятном.

Джимс спустился к реке. Много дней он прятался на ее берегах, разыскивая тело Туанетты. Он часто видел сенеков, но, передвигаясь только по воде, ни разу не попался им на глаза.

Добравшись до озера Онтарио, Джимс повернул на запад. Он ни на минуту не выпускал из рук свой узелок. По ночам он спал, придвинув его к лицу и вдыхая драгоценный запах вещей Туанетты. Время от времени он подносил к губам кусок красной ткани, которым она повязывала волосы. Со дня побега прошло несколько недель, и чем дальше, тем больше вялость охватывала его. Он утратил способность желать, все делал по инерции, иногда подолгу не выходил из очередного убежища. Тяга к уединению стала скорее привычкой, нежели осознанной нормой поведения, диктуемой необходимостью. Ничто не побуждало его вернуться в Заповедную Долину или на берега Ришелье, и чистая случайность привела его к тому месту на озере Шамплен, которое индейцы называли Тикондерога. Это произошло в конце лета 1756 года. Французы возводили Форт-Водрей и Форт-Карийон. Джимс, не задумываясь, присоединился к ним с горячностью человека, нашедшего наконец способ утолить жажду убивать. Он вступил в войско Монкальма<sup>30</sup> и сменил лук и стрелы на мушкет и лопату.

Строительство фортов шло полным ходом, и Джимсу предстояло овладеть искусством рыть землю и возводить земляные валы. Работа, заботы военного времени, все более частые вести о победах французов приносили облегчение больной душе Джимса, но не пробуждали в нем радостного волнения. Он боролся с апатией, старался вновь разжечь в себе ненависть, настойчиво повторял, что англичане и дружественные им индейцы повинны в трагической гибели тех, кого он любил и любит. Но он не мог подвигнуть себя на мщение. Он хотел сражаться, хотел увидеть англичан и их союзников поверженными, но чувства его были столь же вялыми, сколь безжалостными. Как у всякого фаталиста, они горели ровным огнем, и ни триумф, ни поражение не заставили бы их воспарить к высотам радости или низвергнуться в глубины отчаяния. После того, что он перенес, смерть не трогала его, зрелище людской бойни не вызывало тошноты и отвращения, победа не приносила и тени той радости, которую он излил в песне, спетой при свете костров в Ченуфсио. Когда Освего, цитадель англичан, была превращена в груды угля и пепла и в каждой церкви Новой Франции в знак благодарения и радости пели *Te Deum*, Джимс не испытал особого волнения. Но когда в тот же день прибывший из Квебека ополченец произнес знакомое имя, сердце молодого человека забило, словно его неожиданно пробудили от сна. С тех пор дружба жителя Нижнего Города, чью сестру звали Туанеттой, значила для него гораздо больше, чем победа при Освего и последовавшая за ней концентрация французских войск в Тикондероге.

Блиzkих друзей у Джимса не было; никто не слышал его историю. Один из офицеров обнаружил, что он знает местность, и его назначили в разведку на озеро Георга. В канун рокового 1757 года рейнджеры Роджерса захватили Джимса в плен. В январе он бежал и в

первых числа февраля возвратился в Форт-Кэрийон. Здесь он узнал, что Поль Таш был среди французских офицеров, павших при штурме Освего. Джимс ощутил острую жалость. Совсем недавно он вспоминал о Поле, о матери Туанетты и пытался представить себе, как будет рассказывать им о том, что произошло после резни в Тонтер-Манор.

Мы не располагаем сведениями о военной жизни Джимса с февраля по август 1757 года, когда он участвовал в захвате Форта Уильям Генри и Форт-Георга и был свидетелем резни, учиненной над английским гарнизоном неуправляемыми индейцами — союзниками французов. Должно быть, он пережил тогда своего рода шок: вскоре после кровавой бойни, когда опьяненные резней индейцы жарили на вертелах и варили в котелках мясо погибших англичан, он набрел на священника в черной сутане и узнал в нем отца Пьера Рубо, того самого иезуита, который в Ченуфсио обвенчал его и Туанетту. Отец Рубо даже в те страшные минуты делал записи, которым было суждено стать бесценной частью истории иезуитов, а также истории англо-французских отношений в Америке. Пожелтевшие от времени страницы, написанные главным образом при свете факелов, среди насилия и зверств, желающие могут прочесть в архивах иезуитов в Квебеке. Священник видел Джимса, но был так поглощен трудом, что не узнал его. Да и Джимс сильно изменился за минувшие шестнадцать месяцев. Он ушел, так и не назвав себя<sup>31</sup>.

После событий в Форте Уильям Генри и, несмотря на предшествовавшие им блистательные успехи французского оружия, Джимс стал ощущать признаки близкой катастрофы. Английские Колонии положили конец взаимным обидам и ссорам, и полтора миллиона поднялись против восьмидесятитысячного населения Новой Франции. Эти несметные силы поддерживали мощная английская армия и еще более мощный флот, направленные в Америку по настоянию Питта и Вольфа. В церквах служили торжественные молебны во славу побед Монкальма, но сам полководец знал, что Новая Франция стоит на пороге гибели. Однако никогда исход героической борьбы не представлялся ему более очевидным и неотвратимым, чем Джимсу. Один из них, воодушевляемый верой в Бога и образами матери и жены, продолжал борьбу, стремясь защитить нацию от смертельного удара. Другой упорно сражался плечом к плечу с рядовыми бойцами, но видел конец так же ясно, как его командир. В отличие от Монкальма никакая вера в Бога не могла пробудить в сердце Джимса надежду, если вокруг него был беспросветный мрак. На примере судеб жены, матери, отца, дяди Джимс видел и чувствовал надвигающуюся катастрофу более ясно и остро, чем тот, кто судил о ней по числу кораблей, пушек и солдат.

Когда захваченные в Форте Уильям Генри орудия срочно переправили в Тикондерогу, для Джимса, как и для Монкальма, — хоть и по-разному — открылась последняя глава в книге испытаний. Джимсу нечего было желать, не о чем молиться. Победа Канады — если бы произошло чудо и французы окончательно разгромили противника — утешила бы его не больше, чем огорчило бы ее поражение. Бывало, француз брал в Джимсе верх над англичанином. И тогда мать, Хепсиба Адамс и все, что они олицетворяли собой, обращали на него вопрошающие взгляды, словно подозревая в предательстве, но не осуждая за измену. В такие часы Джимсу являлась тень Туанетты; она протягивала ему руку, и он знал, что сражается за нее, за дом, который был бы их домом, за страну, которую она превратила бы для него в рай. Чем больше крепла уверенность Джимса в неизбежности конца, тем ближе к нему становилась Туанетта, и неведомый прежде покой постепенно нисходил на него. Он черпал утешение в сознании неотвратимости события, которое непосредственно касалось его и Туанетты, и терпеливо ждал его. Так прошел еще год.

И вот грянули события в Тикондероге. Наступило восьмое июля 1758 года — день, когда нельзя было пройти и ста акров, не запачкав сапоги кровью французов или англичан: «красный»

день в истории и летописях героизма, когда три тысячи измученных усталостью и тревогой солдат Новой Франции сошлись с шеститысячным регулярным войском Британии и девятью тысячами американских ополченцев; день, когда Джимс и его товарищи отбросили волны красно-золотых мундиров и тысячу одетых в килты горцев Черной Стражи под командованием Дункана Кемпбелла из Инверави и гнали их перед собой до тех пор, пока — как писал Монкальм жене — даже израненные пулями деревья и те, казалось, не стали сочиться кровью. Час за часом среди хаоса и смерти Джимс заряжал и разряжал ружье, разил противников штыком, но та, кого он так ждал, не приходила. Солнце уже клонилось к западу, вокруг Джимса падали раненые и убитые — десятки, сотни убитых. На его глазах шквал огня косил целые шеренги людей. Но когда сражение закончилось и англичане отступили, потерпев последнее сокрушительное поражение в этой войне, Джимс был цел и невредим, если не считать нескольких синяков и ожогов.

Англичане и колонисты Аберкромби беспорядочно отступали. На следующий день после сражения Монкальм приказал воздвигнуть на поле битвы крест со следующей надписью:

Бессильны командир, и воин, и клинок.

Взгляни на этот Крест! Победу даровал нам Бог.

Джимс помогал воздвигать крест. Его ноги трамбовали землю, и слова, вырезанные на дереве, огненными буквами запечатлелись в его мозгу. Бог! Да, именно Бог помог им отбросить врага, который в пять раз превосходил их численностью. Но за что же Бог преследует его? И почему Он позволил убить Туанетту? Джимс слышал, как молится Монкальм. Потом он слушал, как тот говорил истекающим кровью остаткам войска, что, несмотря на трагическое падение Луисбурга, Новая Франция спасена. И все же Монкальм объявил отступление, чем немало озадачил Джимса. Только когда измученные, со стертymi в кровь ногами солдаты повернули к Квебеку, им приоткрылась правда. Алчность, глупость, интриги, ложь высасывали из Новой Франции все соки и наконец подточили ее основание. Монкальм был ее единственной надеждой. Но вот пришла осень, за ней зима, и Джимсу «стало казаться, что Бог Монкальма отступил от него. Река Святого Лаврентия кишела английскими судами. Урожай минувшей осенью собрали скудный. Даже Монкальм ел конину. Но он не терял веру в Бога. Множество негодяев во главе с Водрейем наживались на крушении нации, а он молился за них.» Что за страна! — восклицал он. — Здесь все проходимцы богатеют, а порядочные люди разоряются или гибнут! «Доблестный воин, человек чести, не раз смотревший смерти в лицо, он до конца не изменил своей вере.» Если нас оттеснят с берегов Святого Лаврентия, — писал он жене, — мы спустимся по Миссисипи и дадим последний бой за Францию в болотах Луизианы «.

Так молился и строил планы на будущее тот человек, чей побелевший череп показывают теперь посетителям монастыря урсулинок в Квебеке. Весну и лето Джимс наблюдал, как все плотнее плетется паутина вокруг Квебека — последней французской цитадели в Америке. В мае 1756 года убили Туанетту; в мае 1759 года Джимс с берега Монморанси впервые увидел величавую каменную твердыню, которая многие десятилетия была жемчужиной Нового Света.

Через четыре месяца, в самый богатый событиями из отмеченных в мировой истории тринадцатый день сентября, — в то незабвенное» Завтра утром «, — Джимс стоял на Равнинах Авраама.

Бог Монкальма собирался завершить безупречную по благородству и стройности звучания скорбную песнь, которая замерла в воздухе, и ее исполнители, подобно мощному хору, ожидали едва заметного знака, чтобы взять финальный аккорд. Джимс Булэн стоял, обратив лицо к солнцу и тонкой красной полоске англичан, выстроившихся на противоположном конце дуга, где когда-то паслись стада Авраама Мартэна. В то утро судьба сулила ему избавление от неопределенности и душевного разлада. Она обошла его в Форте Уильям Генри, в Тикондероге,

на Монморанси, но здесь он чувствовал ее близость. Избавление... освобождение от бремени... нечто более грозное, чем железо или человеческие мускулы... Шеренги красных мундиров приближались. В душе Джимса звучали слова, сказанные на рассвете Монкальмом обреченным на гибель героям:» Я уверен, что взоры Господа нашего обращены сегодня на Равнины Авраама «.

В десять часов утра наступил перелом. На рассвете пал туман, в шесть часов хлынул ливень, его сменила жара — словно стоял июль, а не сентябрь. Под прикрытием ночной темноты двадцать четыре английских волонтера вскарабкались по крутому склону над берегом реки, цепляясь за кусты, впиваясь пальцами в трещины между камнями, уткнув лицо в землю, фут за футом пробираясь вперед.» Боюсь, вам не одолеть подъем «, — глядя в кромешную тьму над головой, усомнился Вольф. Но они одолели его. Не оставив своих имен истории, они уничтожили старую карту мира и заменили ее другой. В тот час двадцать четыре человека нанесли сокрушительный удар Франции, преумножили славу Англии, создали новую нацию.

Наверху французский офицер Верго и его караул крепко спали. Именно этому офицеру могла выпасть честь сохранить в неприкосновенности старую карту Америки. Но его убили, прежде чем он успел протереть глаза ото сна. Англичане, как тонкая вереница красных муравьев, поднимались по пути, проложенному отважным авангардом. Губернатор Водрей, первостатейный негодяй, потерявший для Франции пол континента, лежал совсем рядом в своих апартаментах — прибежище всех пороков, мечтательно вспоминая блаженные дни, проведенные в объятиях неверной мадам де Пеан, и строя планы на близость с любовницей самого короля, маркизой Помпадур. А на противоположном берегу реки Карла Святого, ожидая англичан совсем с другой стороны, стояло измученное бессонницей войско Монкальма, из-за слабости и тупости фаворита королевской любовницы лишенное малейшего шанса на победу.

Джимс находился в батальоне Гиення, который в шесть часов утра снялся с лагеря на берегу реки Карла Святого. Солдаты в белых мундирах столпились на гребне Батт-а-Неве, наблюдая, как английская муха превращается в слона.

Перед Джимсом раскинулись Равнины Авраама. Он смотрел на них, и сердце его щемило при мысли, что земля предков Туанетты, носящая имя ее прапрадеда, вскоре покраснеет от крови. На широких, гладких Равнинах здесь и там зеленели островки кустарника, куны деревьев, желтели поля. Являя глазу панораму мира и благоденствия, они служили своеобразным палисадником Квебека, раскинувшимся между крутым берегом реки Святого Лаврентия и лениво извивающейся рекой Карла Святого.

Лежа с солдатами Гиення и наблюдая за англичанами, Джимс вряд ли догадывался, что эта дивная пастораль скоро превратится в сцену, на которой разыграется одна из величайших эпических трагедий всех времен. Его охватил глубокий покой, словно миновали душевное смятение и горе, преследовавшие его три года, и он ощутил близость невидимых таинственных сил. Джимс принадлежал той эпохе, когда люди свято верили во вмешательство потусторонних сил в земные дела, и он твердо знал, что Туанетта совсем рядом и ее уста шепчут слова, внятные только его душе. Он пришел домой.

Шесть часов... семь... восемь... наконец — девять. Перед Джимсом — выстроенная в боевом порядке армия Англии. Позади Монкальм, обманутый и посрамленный англичанами, превзошедшими его в военном искусстве, миновав мост через реку Карла Святого, мчит к северному валу Квебека, чтобы через дворцовые ворота попасть в город. На краю Равнин Авраама по-юношески восторженный Вольф, поэт и философ, готовится принять венец славы или погибнуть. В узких улочках города собираются орды раскрашенных индейцев с длинной прядью волос на бритой голове; регулярные части голодных, обманутых канадцев, готовых дать последний бой за родные дома; батальоны Старой Франции в белых мундирах и с блестящими штыками — покрытые шрамами ветераны Сарре и Лангедока, Русильона и Беарна. Уже не одну неделю они перебиваются с хлеба на воду и тем не менее рвутся в бой за Монкальма. Впереди,

там, куда смотрит Джимс, — невозмутимое спокойствие, порядок и стоическая твердость боевого духа Британии. У него за спиной — мужество, благородство, стальные мускулы и боевой азарт героев, объятых мучительным нетерпением броситься на врага.

Ничего этого Джимс не видел. Его внимание было приковано к далеким красным шеренгам англичан. Яркое солнце заливало Равнины. В воздухе поблескивали крылья птиц, вороны клевали зерно в полях. Земля лежала, словно окрашенный теплыми красками осени громадный восточный ковер, обрамленный золотисто-желтым лесом. Из Самоса и Силлери с судов, стоящих на реке, доносились глухие, навевающие сон удары орудий, и Джимс, казалось, задремал, убаюканный их монотонным гулом, теплом солнца, синевой неба, покоем Равнин. Он закрыл глаза и окунулся в золотисто-серебряную дымку, которая на закате окутывала Равнины в те дни, куда перенесло его воображение. Равнины вновь ожили: сперва появился Авраам Мартэн со своими коровами, которые паслись здесь сто тридцать лет назад, затем Туанетта, мать, отец, Хепсиба Адамс... и, наконец, он сам. Его окружали знакомые места, хранившие следы его ног, места, где обитала его душа. Обо всем этом шептала Джимсу земля, земля, которую он сжимал в ладонях, словно руки Туанетты.

В городе молились священники и монахини; непрерывно звонили колокола, и их мелодия летела вдаль и ввысь, неся утешение и надежду людям и мольбу о заступничестве Небесам. Новая Франция стояла на коленях. Монкальм был на Равнинах, и его солдаты, задыхаясь, горя нетерпением, через ворота Святого Иоанна и Людовика Святого собирались там, где полоскались на ветру знамена Гиення.

Пока Монкальм напрасно ждал подкрепления, в рядах англичан мелькали в воздухе клетчатые пледы, завывали волынки, им отвечали залпы полутора тысяч ружей канадцев и канадских индейцев, которые рассыпались по зарослям кустарника, буграм и маисовым полям. Куда ни глянь — всюду кипели приготовления к битве, но боевой дух Франции дрогнул.

Пробило десять часов.

Что-то оборвалось в сердце Монкальма. Здравый смысл изменил ему, и он отдал приказ, последствия которого вознесли Англию над всем миром.

Французы — с примкнутыми штыками — встали плотным развернутым строем, разделенным на пять частей — четыре белых и одну голубую. Англичане — вооруженные двуствольными ружьями — выстроились длинной, тонкой шестичастной шеренгой. Между ними лежала плоская, как ладонь, земля. Если бы Англия выступила первой, история Америки могла бы сложиться иначе. Но Англия ждала. Первой выступила Франция.

И Джимс шел с Францией. Его уже ранило. Пуля попала в плечо, и кровь, стекая по руке, капала с пальцев. Не замечая боли, Джимс продолжал, шатаясь, идти вперед. Всем его существом овладела дремота. Он видел, как Монкальм верхом объезжал передовые линии, призывая солдат не — жалеть сил во имя победы; заметил шитый золотом зеленый мундир полководца, блестящую кирасу, белые полотняные манжеты; слышал его вопрос: «Может быть, вы хотите немного отдохнуть перед боем?» — «Перед боем мы никогда не чувствуем усталости!» — грянуло в ответ. Едва шевеля губами, Джимс произносил слова, гулко прокатившиеся по Равнинам. Но солнце стало меркнуть перед его глазами.

Продвижение на сорок-пятьдесят шагов, затем остановка; снова продвижение, и опять остановка, — так всегда сражались в те времена регулярные войска на слабопересеченной местности. При каждой остановке Джимс и его товарищи давали залп, перезаряжали ружья и снова шли вперед. В шеренге красных мундиров появились бреши, но она не шелохнулась и продолжала стоять плотной стеной. Там, где красные пятна оседали на землю, в шеренге образовывались просветы, но остальные не дрогнули и, с ружьями наперевес, ждали приказа. По рядам французов прошел трепет; нервы людей были на пределе, дыхание участилось, сердце

гулко стучало в груди, — а над Равнинами Авраама медленно, торжественно плыл колокольный звон.

Французы снова остановились — шагах в ста от противника; но из редющей на глазах шеренги англичан по-прежнему не раздалось ни единого выстрела. Солдат рядом с Джимсом не выдержал напряжения и нервно рассмеялся. Другой шумно глотнул воздух, словно его ударили. Джимс старался держаться прямо. В его голове мелькнула невероятная мысль, что армии вовсе не собираются вступать в бой.

Вдруг он услышал свое имя. Его звал голос матери. Джимс вскрикнул и бросился бы к ней, если бы чьи-то руки не втянули его обратно в строй. «Сумасшедший!» — послышалось рядом. Выронив ружье, он протер глаза. Окружающие предметы прояснились. Вдали стояла шеренга красных мундиров, солнечные лучи заливали поле, и по нему... что-то двигалось. Оставшиеся в живых до конца дней не забыли этого зрелища. Рассказ о нем англичане увезли на родину, французы уделили ему скромное место в своей истории. На несколько мгновений люди забыли о смерти, и все не сводили глаз с собаки — старой собаки, которая, хромя, трусила через поле, собаки без одной лапы.

Джимс сделал огромное усилие, чтобы позвать:

«Вояка... Вояка...»

И тут прозвучала команда Монкальма:

— Вперед!

Ничего не видя перед собой, с трудом передвигая ноги, Джимс вместе со всеми устремился в пасть смерти, напрягая остатки сил, чтобы пес услышал имя, так и не слетевшее с его уст. Глаза Джимса уже не различали света дня, солнца, красной стены впереди. Но в ушах его еще звучал топот ног, колокольный звон. Вскоре все звуки потонули в грохоте английских ружей. Подпустив противника на расстояние сорока шагов, Англия дала залп, и Франция усеяла землю бесформенными грудями мертвецов.

В первом ряду павших был Джимс.



Прошло немало времени, прежде чем Джимс вновь услышал колокольный звон. Когда он вырвался из тьмы, поглотившей его на Равнинах Авраама, то обнаружил, что находится в городском госпитале на попечении монахинь. Ему казалось, что после первого залпа английских ружей прошло всего несколько минут. Но стояла уже середина октября. Монкальм и Вольф были мертвы, Квебек лежал в развалинах, и, хотя битва при Сен-Фуа еще была впереди, Англия владычествовала в Новом Свете. Со дня возвращения к жизни и до конца ноября, когда он смог воспользоваться свободой передвижения, предоставленной англичанами раненым французским солдатам, Джимс часто думал о трехногой собаке, которая прошла между боевыми рядами англичан и французов. Он не заговаривал об этом случае ни с настоятельницей монастыря Святого Клода, проявлявшей к нему особое внимание, ни с монахинями, которые заботливо ухаживали за ним. Постепенно здоровье возвращалось к Джимсу, и он с каждым днем утверждался в мысли, что увиденное и услышанное им на поле боя — всего лишь игра воображения, обман чувств, вызванный болью и потрясением. Если в глубине души он и верил в реальность увиденного, то веру эту держал про себя.

Когда наконец молодой человек смог выйти за больничные ворота и смешаться с разоруженными горожанами и толпами солдат, бродивших по улицам, он ничем не напоминал прежнего Джимса. Его ранило тяжело, и он понимал, что только благодаря чуду, которое монахини приписывали божественному вмешательству, ему удалось избежать когтей смерти. Джимс был ранен четырьмя пулями, одна из них навывлет прошла плечо. В том, что он остался в живых, Джимс видел отнюдь не руку благого Провидения. Он все больше верил, что был очень близок к матери и Туанетте и только злой рок, не довольствуясь перенесенными им страданиями, не дал ему соединиться с ними. Эта мысль убедила его, что появление Вояки, голос матери и ощущение близости Туанетты имели потусторонний характер.

Но всякий раз, видя на улицах Квебека собаку, Джимс приглядывался: все ли у нее лапы?

Прогулки Джимса были недолгими. Он всегда предпочитал бродить в одиночестве; иногда встречал армейских товарищей, но они не узнавали его, а сам он не имел никакого желания признаваться. Он худел на глазах и наконец стал больше похож на человека, близкого к смерти, чем избежавшего ее. Ходил он опустив плечи и ссутулясь. Его глаза ввалились, а руки — в одной он всегда держал палку — усохли, как у старика. Слабый интерес к жизни, тлеющий в нем, угасал вместе с ним. Англичане, соотечественники матери, вновь зажгли в душе Джимса искру — ту половинку его существа, которую он старался навсегда возненавидеть. Они держали себя отнюдь не как захватчики. Они были — хоть это и казалось невероятным — друзьями. Все они — от доблестного бригадира Мюррея до простого солдата — были обходительны, гуманны, щедро делились своим пайком с голодающими горожанами, снабжали их табаком, бесплатно помогали отстраивать разрушенные дома и с каждым днем завоевывали расположение и благодарность людей, обманутых и разоренных слабостью французского короля и губернатором Водрейем с толпой прихлебателей. Даже монахини и священники, люди Божьи, на протяжении двух столетий неустанно сражавшиеся за Новую Францию, приветствовали приход англичан. Честь и рыцарское благородство покорили Квебек и явили его населению доказательства подлинной дружбы: на городской площади был повешен британский солдат, обокравший местного жителя.

Джимс на себе ощутил дружелюбие врагов. Первое время после выздоровления он держался замкнуто, отчужденно и принимал участие в разговоре, лишь когда не мог избежать этого, не нарушая правил вежливости. Он заметил, что многие смотрят на него с жалостью, отчего к его

душевным страданиям прибавлялось чувство стыда. Когда он с трудом пытался расправить плечи, к нему протягивались услужливые руки. Здоровье Джимса восстанавливалось медленно, но на исходе второй недели его свободы произошел случай, который заставил кровь молодого человека быстрее побежать по жилам. Он услышал на улице разговор двух солдат. Они говорили о собаке — трехногой собаке, которая прошла перед их рядами, когда они собирались дать первый залп по французам.

Джимс вернулся в свою тесную комнатку в городском госпитале, и мать-настоятельница решила, что у него снова разыгралась лихорадка. На следующий день Джимс отправился в надежде отыскать собаку и встретил еще нескольких человек, видевших ее на поле боя. Но он никого не расспрашивал, а если и проявлял любопытство, то с самым безразличным видом, не желая выдавать причину своего интереса. Он знал, что это не мог быть Вояка, — и тем не менее искал именно Вояку. Душевное беспокойство тяготило Джимса, и он стал думать — не повлияла ли болезнь на его рассудок? Вера в то, что Вояка избежал мести Тайоги и, пройдя сотни миль, добрался до Квебека, подтверждала подобные опасения. Джимс продолжал поиски, убеждая себя, что ему полезно отвлечься и что отыскать трехногую собаку его побуждает любопытство, а вовсе не надежда или вера в невозможное. Большинство местных собак обитало в развалинах Нижнего Города; именно там Джимс проводил целые дни. Но безуспешно.

Поиски его совершенно неожиданно закончились на улице Людовика Святого, где жили многие аристократические семьи города. Нэнси Ганьон, знаменитая красавица, до замужества за Питером Ганьоном носившая имя Нэнси Лобиньер, по свежим следам описала это событие в письме к Сен-Дени-Рок. Ре письмо, которое местами уже невозможно разобрать из-за ветхости, бережно хранится в этой семье.

«Я вышла из дома, — писала Нэнси, — и сразу увидела, что какой-то незнакомый человек остановился у железных ворот недалеко от того места, откуда собака наблюдала, как маленький Джимс играет в кубики и палочки. Это был солдат в вылинявшей французской форме с госпитальным значком на рукаве. Скорее всего, он недавно поднялся после тяжелой болезни. Вдруг он пошатнулся и, как-то странно вскрикнув, припал к решетке. Я подумала, что у него обморок, и поспешила на помощь. Но случилось нечто поразительное. Собака бросилась на незнакомца, а я, до смерти перепуганная этим неожиданным нападением, закричала изо всех сил и схватила одну из палочек, с которыми играл Джимс, чтобы отогнать пса от его жертвы, но, к моему несказанному удивлению, увидела, что и человек, и животное просто вне себя от радости, словно они узнали друг друга. Увидев непонятное поведение собаки и услышав мой крик, маленький Джимс громко расплакался. На пороге дома показались испуганные Туанетта и мой отец. Разве смогу я забыть когда-нибудь то, что произошло потом? Туанетта было бросилась к малышу, но увидела мужчину у ворот. Сорвавшийся с ее уст крик я буду помнить до конца дней своих. Через мгновение бедняга солдат держал ее в объятиях... Она целовала его, рыдала, что-то говорила сквозь слезы; собака, выдвывая уморительные прыжки, крутилась вокруг них; малыш кричал пуще прежнего; и если ко всему этому прибавить меня с палкой в руке, то нет ничего удивительного, что скоро мы стали привлекать внимание всей улицы...»<sup>32</sup>

Так Джимс нашел жену и сына. Драматической истории их жизни было суждено сохраниться в памяти поколений, поскольку она являла собой весьма примечательный эпизод переломного для судеб страны, народа и традиций времени, и большая история не могла обойти ее своим вниманием. Она продолжала жить в рукописях и письмах, пока, полузабытая, не стала одним из тысяч преданий о далеких днях и годах, чье эхо с течением времени звучит все глуше и наконец превращается в едва уловимый шепот. Стены старого дома Лобиньеров на улице Людовика Святого, недалеко от жилища прекрасной, но печально знаменитой мадам де Пеан, были свидетелями того, как эта история складывалась из разрозненных фрагментов, и могли бы

еще и сегодня повторить ее, обладай они способностью говорить.

Нэнси и ее отец проводили Джимса с Туанеттой в дом; прислуга-негритянка с малышом на руках замыкала шествие. Первые минуты в доме Лобиньеров показались Джимсу не более реальными, чем последние мгновения перед тем, как он потерял сознание на Равнинах Авраама. Он все еще сжимал в объятиях Туанетту, когда Нэнси протянула ему ребенка, и он неожиданно обнаружил, что у него есть сын. Джимс был настолько ошеломлен этим открытием, что не заметил Хепсибу Адамса, который на ощупь вышел в просторный холл справиться о причине шума и волнения, наполнивших весь дом. Не помня себя от радости, Хепсиба снова и снова ощупывал Джимса огромными неуклюжими руками, постепенно убеждаясь, что его племянник действительно жив; именно он со своим круглым лицом, пустыми глазницами и прерывающимся голосом послужил — как заметила Нэнси в письме к Анне Сен-Дени-Рок — «окончательным доказательством того, что Господь всегда отвечает на обращенные к нему молитвы».

Когда Туанетта рассказала Джимсу о пережитом ею после бегства из Ченуфсио, он всем сердцем поверил, что их судьбы направляла милосердная длань того же Бога, который спокойно взирал на крушение Новой Франции.

Молодые люди сидели вдвоем в комнате Туанетты. Было одиннадцатое декабря, и полуденное солнце сияло на небе, дышащем скорее ласковым осенним теплом, чем зимней стужей. В нескольких сотнях ярдов от них генерал Мюррей проводил смотр полкам, которые вскоре должны были сразиться с Леви, предпринявшим попытку отбить город. В комнату доносились приглушенные звуки военной музыки и звон колокола, призывающего к молитве. Повинуясь его призыву, Туанетта склонила голову и шепотом обратила к Богу слова молитвы, которой ее научили Христовы невесты в белых одеяниях. За три года Туанетта сильно изменилась. Не только время, но и материнство, горе, безнадежное ожидание превратили девушку в женщину. После долгих сомнений она поверила в гибель Джимса, и теперь, когда вновь обрела его, ее лицо сияло дивной красотой, а глаза лучились любовью и счастьем.

Туанетта рассказала Джимсу, как в Заповедной Долине Хепсибу захватили могоавки, как он бежал от них, как вскоре был схвачен сенеками и приведен в Ченуфсио, как она молила за него Шиндаса и Тайогу, но не смогла склонить их к милосердию.

— После этого только Господь направлял меня, — про должала свой рассказ Туанетта. — Я была в таком отчаянии, что просто не знаю, как все вышло. Я боялась, что, вернувшись в Ченуфсио и узнав, что твоего дядю ослепили, а затем сожгли на костре, ты совершишь какой-нибудь безрассудный поступок. Лишь когда я вошла в вигвам А Де Ба, у меня мелькнула мысль, — верно, мои молитвы были услышаны, — что при входе на веревке должен висеть охотничий нож. Этим ножом я освободила Хепсибу и прорезала дыру. Мы выбрались наружу и доползли до каноэ. Но перед этим я сказала Лесной Голубке все, что она должна передать тебе. Когда после недолгого преследования нас настигли, я потеряла всякую надежду. Но мое отчаяние не идет ни в какое сравнение с радостью, которую я испытала, услышав голос Тайоги. Он говорил, чтобы мы не боялись и спокойно вышли на берег: нам не причинят зла. Как только мы ступили на берег, Тайога скрылся в темноте, и Шиндас объяснил их планы. Он рассказал нам, что еще за три дня до возвращения в Ченуфсио они узнали от Хепсибы, что их пленник — уже лишенный глаз — твой дядя и мой близкий друг. Спасти его они не могли: воины были раздражены и требовали принести в жертву на костре человека, убившего нескольких их товарищей. Шиндас отправился в Ченуфсио впереди отряда, собираясь устроить так, чтобы, когда приведут пленника, тебя не было в селении. Слушая Шиндаса, Я поняла, что в груди дикарей бьется такое же великодушное сердце, как у белых: ведь ради нашего спасения эти трое сенеков предали сенеков, предали свое племя. При свете факела Шиндас вынул длинные

волосы, очень похожие на мои, и пропитал скальп свежей кровью из своей груди. Этот скальп Тайога снял с убитого им индейца из племени союзников французов, и, когда я увидела его в ярком свете смоляного факела, мне чуть не стало дурно. Вскоре Хепсиба и я снова плыли по реке. Через несколько часов к нам присоединился Шиндас. Он сказал, что Тайога плясал перед своими людьми со скальпом в руках, и они поверили, что мы убиты. Шиндас был с нами, пока недалеко от Форт-Фронттенака мы не встретили французских солдат. Каждый день я перевязывала ему рану на груди.

Туанетта помолчала, словно вновь увидела все пережитое, затем продолжала:

— Наедине с Тайогой я провела всего несколько секунд — тогда... ночью... на берегу, пока Шиндас собирал кровь из своей раны. Видимо, сам Бог заставил Тайогу полюбить меня почти так же сильно, как ту, чье место я заняла. Я разыскала его в тени деревьев. Он стоял холодный, неподвижный, словно камень. Но он обещал послать тебя ко мне, как только сможет сделать это, не вызывая подозрений соплеменников. На прощание он прикоснулся ко мне с такой нежностью, с какой, наверное, ласкал Серебряную Тучку. Он взял в руки мои волосы и произнес ее имя. Раньше он никогда не произносил его при мне с таким чувством. Я поцеловала его. Обняла за шею и поцеловала. Мне показалось, что мои губы коснулись камня. И все же он любил меня. Поэтому все эти годы я часто думаю, почему он не послал тебя ко мне.

У Джимса не хватило духу ответить: «Потому что я убил его».

Колокольный звон, неся благую весть страждущей земле, — плыл над Равнинами Авраама; завоеватели Новой Франции несли стране мир и счастье. Одним росчерком пера половина континента переменяла хозяев, и со всех амвонов обеих Канад и Английских Колоний к небу вознеслись благодарственные молебны по случаю окончания войны. Радовались даже побежденные. За несколько месяцев предсмертной агонии взяточничество и обман иссушили сердце нации, и в приходе англичан люди видели уже не катастрофу, а гарантию свободы. «Наконец-то на этом континенте наступил мир», — заявил в своей проповеди Томас Фокскрофт, пастор Старой Церкви в Бостоне. Как и миллионы его соотечественников, он не предвидел Войны за независимость Америки, еще более кровопролитной, до которой оставалось меньше пятнадцати лет. Эхо подхватило слова пастора: «Наконец-то наступил мир». Золотые лучи солнца вновь сулили покой и благоденствие. Люди радовались каждому дню. Границы затихли в дремотном покое: даже самые мстительные и кровожадные дикари скрылись в своих лесах. Женщины пели, дети играли, и в глазах их светились надежда и вера в будущее. То были дни рождения нации. Британцы смешались с побежденными и преобразовали Новую Францию в Канаду.

Весной 1761 года Джимс возвратился на берега Ришелье. Мадам Тонтер, чей нрав смягчился, а злоба остыла, передала в руки дочери и ее мужа обширные владения Тонтеров, изъявив желание никогда больше в них не появляться. Возможность строить свое будущее в местах, где они будут постоянно ощущать близость дорогих им людей, обретших там счастье и встретивших смерть, доставляла Туанетте и Джимсу радость, понятную только им. Но Заповедная Долина и обугленные развалины Тонтер-Манор были дороги еще одному человеку — Хепсибе Адамсу.

Когда Джимс добрался до разоренной земли, покинутой им пять лет назад, он написал Туанетте в Квебек, как радуются его возвращению холмы, как зелены заброшенные луга, как пышно разрослись цветы, благословляя уединение дорогих могил. Не теряя времени, Джимс с несколькими молодыми людьми, приехавшими вместе с ним, принялся за работу, а когда сентябрь обрызгал леса веселым золотом осени, отправился в Квебек за Туанеттой и мальчиком.

Над трубами домов в долине вновь заструился прозрачный дым, а с наступлением лета завертелось мельничное колесо, и тишина огласилась мычанием коров и блеяньем овец. Вместе

с Джимсом Туанетта часто ездила верхом к Заповедной Долине; иногда в ее тщательно убранных локонах вилась длинная лента.

Однажды вечером, через два года после возвращения Джимса и Туанетты в родные места, когда каштаны на вершинах холмов покрылись зелеными плодами, с Тонтер-Хилл спустилось четверо незнакомцев — двое мужчин, женщина и девочка. Мужчины были сенеками, и мельник, который первым из местных жителей встретил пришельцев, рассматривал их с нескрываемым любопытством и подозрительностью. Женщина была белой, девочка — на редкость хорошенькой индеанкой; мужчины — высоки ростом и очень свирепы на вид: их лица и тела покрывали следы многочисленных сражений. Индейцы держали себя крайне надменно и, не обратив никакого внимания на требование мельника назвать себя, в сопровождении женщины и девочки прошествовали к двери большого дома. Увидев их, Туанетта громко вскрикнула, и мельник побежал за ружьем.

Так Тайога пришел в Тонтер-Манор, чтобы показать Джимсу шрам, оставленный его стрелой. С Тайогой были Лесная Голубка, Шиндас и Мэри Даглен. С тех пор в течение многих лет Тайога часто приходил в долину на берегу Ришелье, пока его не убили в пограничной стычке накануне Войны за независимость. С каждым годом он приносил все больше мягких шкур и ярких перьев — ведь Туанетта подарила Джимсу еще одного мальчика, потом девочку, — и старый воин, помня о трех малышах, с нетерпением ждущих его, постоянно собирал разные лесные сокровища.

Раз в год Мэри и Шиндас обязательно навещались в Тонтер-Манор. Вскоре с ними стали приходиться их дети — как только подросли немного и могли выдержать долгое путешествие через леса и горы...

Лесная Голубка больше не вернулась в Ченуфсио. Токана, ее калека-отец, отказался от своей героической борьбы и умер минувшей зимой. Она осталась жить у Туанетты и Джимса, а когда ей исполнилось девятнадцать лет, вышла замуж за молодого землевладельца-француза по имени де Понси. Их потомков еще и теперь можно встретить в долине реки Ришелье.

В письме Марии-Антуанетты Тонтер к Нэнси Лобиньер, датированном 17 июня 1767 года, можно прочесть следующие строки:

*«Моя милая Нэнси!*

*Глубокая печаль пришла в Тонтер-Манор. Умер Вояка. Теперь я нисколько не сомневаюсь, что Господь наделил животных душой: куда мы ни посмотрим, все напоминает его. Нам его ужасно не хватает, хоть и прошло уже две недели, как мы похоронили его возле церковной ограды. У нас такое чувство, словно мы потеряли ребенка, который не только любил нас, но был нашим ангелом-хранителем. Вчера вечером маленькая Мария-Антуанетта уснула в слезах, не дозвавшись Вояки. Я не могу без слез думать о нем. Даже Джимс отворачивается от меня, когда мы вместе проходим мимо часовни; ему неловко за те чувства, которые я могу прочесть в его глазах. А ведь он такой сильный. Вояка был всем, что нам осталось от прошлого, — он да Хепсиба. На Хепсибу просто больно смотреть, сердце кровью обливается. Все эти годы Вояка был ею поводырем, и я почти уверена, что они разговаривали друг с другом.*

*Хепсиба сторонится людей, подолгу сидит один и каждый вечер ошупью добирается до ограды часовни, словно надеется кого-то найти там. О, как ужасна смерть, как страшно терять близких, и никому из нас не избежать этого горя! Впрочем, не стоит докучать тебе моей печалью, а то ты захочешь, чтобы я не писала еще месяц-другой.*

*Июнь у нас выдался на диво хорош. Розы...»*

На пожелтевшей странице видны выцветшие белесые пятна. Что это? Следы слез?

---





У североамериканских индейцев не было городов. В применении к Ченуфсио это понятие употребляется чисто условно.



Даньел Джеймс Адамс, отец Катерины, был убит летом 1736 года в Пенсильвании во время стычки между жителями деревень тускароров и делаваров.

В 1749 году население Квебека, столицы Новой Франции, богатство, культура и светская жизнь которого делали его в то время Версалем Нового Света, составляло менее семи тысяч человек.

Мой ангел (фр.).

Конец водосточной трубы в гротескной форме рта, головы или тела человека или животного. Особенно характерен для готической архитектуры.

Моя дорогая (иск. фр. ma cherie).

Вечеринка (иск. фр. soiree).

В середине XVIII века молодые люди обоих полов рано становились взрослыми. По достижении восемнадцати лет мальчик становился мужчиной со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями. У девушки лучшим возрастом для замужества считались пятнадцать-шестнадцать лет, а на десятилетнюю барышню уже не смотрели как на ребенка. Воспитание и быстро приобретаемый жизненный опыт способствовали раннему возмужанию. Так, сын губернатора Уинтропа стал душеприказчиком отца, когда ему было только четырнадцать лет.

Имеются в виду территории Французской Канады и Британской Канады.



Пророчество Хепсибы Адамса полностью подтвердилось. Англия и Франция не объявляли войны друг другу до мая — июня 1756 года, хотя к тому времени уже в течение нескольких лет в колониях имели место многочисленные случаи резни и кровопролитных битв, в том числе поражение Брэдли в битве при озере Георга.

Индейцы всегда бережно относились к природе, но именно в этот период истории Америки началось ужасающее истребление диких зверей белыми. Целая тысяча оленей была убита только за одну кампанию при введении безжалостной системы охоты с обложным огнем. Все туши остались гнить, поскольку животных убили из-за шкур, ценившихся до сорока центов каждая.

Щеголь, фронт (фр.).

Маленький племянник (фр.).

Из строя (фр.).

Старый режим (фр.).

Сатана.

Последний удар, которым добивали смертельно раненных гладиаторов.



Прапрадед Туанетты Авраам Мартэн выпускал свой скот свободно пастись на полях, граничивших с его фермой. Сейчас эти земли входят в территорию Квебека. Позднее участок получил название Равнины Авраама; именно на этом участке состоялось сражение, изменившее ход мировой истории.

Шамплен, Самюэль де (1567 — 1635) — французский путешественник и государственный деятель. Основал старейший город Канады Квебек (1608), первым из европейцев прошел вверх по реке Св. Лаврентия в Великие озера.

Встреча (фр.).

Нетерпимость британцев к жителям Колоний уже тогда начала сеять семена американской независимости, и через пять лет после слов Хепсибы она была исчерпывающе выражена генералом Вольфом, писавшим из Луисбурга:»...американцы — самые грязные, презренные и трусливые псы, каких можно себе представить. Они падают мертвыми в собственные нечистоты и дезертируют целыми батальонами вместе с офицерами и прочим начальством. Этот сброд — балласт, а не сила армии «.

В Новой Англии скальпирование было неизвестно до 1637 года. Благочестивые пуритане начали с того, что стали предлагать звонкую монету за головы своих врагов. Несколько позднее эти богобоязненные люди стали принимать скальпы при условии наличия обеих ушей. За сто пятьдесят лет размер вознаграждения менялся и был неодинаковым в различных частях страны. Французы первыми предложили награду за скальпы белых людей, англичане не замедлили последовать их примеру. Во время описываемых событий англичане платили до пятисот фунтов за скальп воина и от пятидесяти до ста пятидесяти фунтов за скальп женщины или ребенка, в том числе и за скальпы еще не родившихся младенцев, извлеченных из чрева матери. У французов цены были несколько ниже. На протяжении многих лет торговля человеческими волосами приносила больше прибыли, чем торговля мехами. Однажды сенеки выгодно продали партию из тысячи пятидесяти скальпов, снятых на границе с белых мужчин, женщин и детей. Христианские народы, а отнюдь не дикари были вдохновителями этих злодеяний на кровавой заре нашей истории.

Вольф, Джеймс (1727 — 1759) — командующий экспедиционным корпусом британских войск, захвативших в 1759 г. город Квебек. Погиб при его штурме.

Франкенштейн — чудовище в облике человека, убивающее своего создателя (по имени персонажа романа английской писательницы Мэри Шелли «Франкенштейн», 1818).

Скорее всего, Туанетта ошибалась. Это, несомненно, были Черный Охотник, Дэвид Рок, Питер Ганьон и Карбанак, которые совершали героический переход в Крондин-Манор, где находились их близкие. — См.: «Черный охотник».



Индейцы вовсе не были гурманами, как убеждают нас многие романисты и безответственные историки. Внимательное исследование подтверждает, что они были — прежде чем выродились стараниями белого человека — расой, в чьей неприхотливости современная цивилизация могла бы почерпнуть немало полезных уроков. Заслуживает внимания тот факт, что большинство из них были вегетарианцы и в течение длительного времени поддерживали существование исключительно фруктами, орехами, кореньями и плодами своих полей.

Родные Мэри Даглен в 1738 году покинули долину реки Джуниата и направились на запад. Через год Уильям Даглен был убит сенеками, а его жена и маленькая дочь взяты в плен. Мать Мэри умерла в Ченуфсио, едва девочке исполнилось десять лет. Когда сенекам приказали выдать их белых пленников, Мэри Даглен отказалась покинуть своего мужа-индейца и его народ.

Даньел Джеймс Булэн и Мария-Антуанетта Тонтер были обвенчаны отцом Пьером Рубо в двадцать седьмой день апреля 1756 года, как позднее, после резни в Форте Уильям Генри, записал сам отец Рубо.

Ванонат, которой шел тогда девятый год, проделала это семидесятимильное путешествие из Ченуфсио в Канестио в конце мая 1756 года. Десятью годами позже маленькая индейская героиня вышла замуж за француза по имени де Понси и поселилась в долине Ришелье.

Монкальм, Луи-Жозеф де, маркиз (1712 — 1759) — с 1758 г. генерал-лейтенант, главнокомандующий французскими войсками в Канаде.

По имеющимся сведениям, Джимс был одним из нескольких солдат французской армии, выкопавших два рва, в которых были похоронены павшие в бою англичане. Следы этих рвов и даже отпечатки лопаты Джимса еще видны в низине под развалинами старого форта.

Письмо, из которого заимствованы приведенные выше строки, датировано 12 декабря 1759 года и адресовано Анне Сен-Дени-Рок в Труа-Ривьер. Судя по отметке на письме, адресат получил его только в марте 1760 года.